

Военные
Приключения

ШПИОНЫ И СОЛДАТЫ



НИКОЛАЙ
БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ

Вече, Москва, 2022

ISBN: 978-5-4484-3675-8

FB2: "ANSI", 133442426881021122, version 1

UUID: {CF809FC7-3000-4320-A927-C66728A3A23B}

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Николаевич Брешко- Брешковский

Шпионы и солдаты

Первая мировая война. Кровопролитные схватки с неприятелем, отважные кавалеристы, враги и союзники, порой совершенно неожиданные. И вопросы, на которые приходится искать ответы: кто, например, пытается укрыться под личиной скромного немецкого унтер-офицера, дойдет ли до цели вооруженный до зубов отряд альпийских стрелков?..

Книги Николая Брешко-Брешковского были невероятно популярны в начале прошлого столетия, их автора называли «русским Дюма», но после революции он покинул Россию и решительно примкнул к лагерю врагов Советского государства. Произведения из цикла «Шпионы и солдаты» не переиздавались с 1915 года, роман «Дикая дивизия» написан в эмиграции.

Знак информационной продукции **16+**

Содержание

#1	0004
ШПИОНЫ И СОЛДАТЫ	0005
ТАИНСТВЕННЫЙ УНТЕР-ОФИЦЕР	0005
ОРЛЕНОК С ЧЕРНОЙ ГОРЫ	0050
ЛЬВЫ ФЛАНДРИИ	0073
ТАТУИРОВАННЫМ БОРЕЦ	0097
ГУСАР СМЕРТИ	0113
СТАРЫЙ АФРИКАНСКИЙ СОЛДАТ	0130
"САМЫЙ АРИСТОКРАТИЧЕСКИМ ПОЛК"	0158
ДИКАЯ ДИВИЗИЯ	0209
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	0209
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0352
#4	0512

«Военные приключения» является зарегистрированным товарным знаком, владельцем которого выступает ООО «Издательский дом „Вече“».

Согласно действующему законодательству без согласования с издательством использование данного товарного знака третьими лицами категорически запрещается.

Составитель серии В. И. Пищенко

© ООО „Издательство „Вече“, оформление,
2022

ШПИОНЫ И СОЛДАТЫ

ТАИНСТВЕННЫЙ УНТЕР-ОФИЦЕР

1

Минуло всего пять-шесть лет, как Петр Цвиркун вышел в запас. А уже успел забыть свою солдатчину. Смутно-смутно рисовалась она ему из этой глухой полесской деревушки.

Такой глухой, — не приведи Бог! И от чунки — двести восемнадцать верст, и нет вблизи ни шоссеиной дороги, никаких других трактов. Одни проселочные, да и те в весеннюю распутицу и в осеннее ненастье — ни пешком пройти, ни конем проехать. Деревня, в которой жил Петро Цвиркун и где выращивались и умирали поколения за поколениями таких же, как и он, Цвиркунов, называлась Паричи.

Одним боком уткнулись Паричи в сосновый лес, дремучий-дремучий, водились в нем и медведь, и лось, и коза дикая, другим — в болото. И не какое-нибудь поганое болото, а

можно было выкроить из него добрых два немецких герцогства. Если какой-нибудь новый, дивным случаем забредший сюда человек спрашивал, указывая на болото, что там дальше за ним? — пари-чане разводили руками:

— А Господь его святой знает!

И, действительно, никто не знал. Для пари-чан весь внешний мир кончался на рубеже этого непроходимого болота. В буквальном смысле слова — непроходимого.

Приезжали как-то раз неведомые люди и говорили не по-здешнему, не по-русски, и, видно, важные. Становой уж на что раз-другой всего за целюсенький год заглянет в Паричи, а и то при них вьюном вертелся и всяческое содействие оказывал. Были с ними какие-то дорогие диковинные приборы. Что-то они вымеряли, высчитывали, пытались на лодке пробраться через болото, но ничего у них не вышло, плюнули, рукой махнув, и скорей давай бог ноги — уехали!..

И деревенька — под стать своему захолустному уезду — ледащая. Двадцать дворов, да и дворы одно только слово! Хатенки замшив-

шимися срубамы покрывились и в землю по самые оконца повростали. В оконца — ничего не увидишь. Стекла всеми цветами радуги переливались. И стекол уцелело немного. Все больше тряпьем позапихано. Старое, глядишь, разбилось, а новое достать — штука нелегкая. До ближнего местечка пятьдесят верст немереных. Значит, и всех шестьдесят пять будет.

И если деревня Паричи — бедная, то Петро Цвиркун — мужик наибеднейший. Хата его — самая неказистая. Крыша, когда-то соломенная, теперь одна сплошная плесень зеленая и провалилась каким-то седлом, точно втянуло ее сердечную от голода. И внутри хаты было голодно. А детей Цвиркун со своею жинкою имел четверо. Такое уж благословение Божье! Чем бедней отец с матерью, тем больше у них деток.

Глянуть на Цвиркуна — никто не признал бы в нем бывшего солдата. Такой шаршавый и неказистый мужичонка. И ростом не вышел, и с лица неказист, все оно скуластое с плоским профилем и носом пуговкою. Рябинами, как наперсток, утыкано. И волосы беле-

сые, жиденькие. Вместо усов и бороды — так поросль какая-то реденькая, не разберешь даже, что это такое...

Петро Цвиркун был типичный белорусский мужик, или, как дразнят их, "лопацон", скуп и нехотя взрощенный этой хмурой болотистой природою, сырой, туманной, без тепла и солнца.

Мережились иногда Цвиркуну керосиновые фонари, мокрые деревянные тротуары, а по бокам улицы — низенькие одноэтажные дома. Это уездный город, в котором стоял его полк. И казались ему в забытых богом и людьми Паричах, что краше и богаче нет города на всем белом свете. И как сквозь сон вспоминались дальше: казарма, винтовки, запах свежего хлеба и краснолицый фельдфебель Пономарчук, с жесткими подстриженными усами, важно учивший солдат "словесности" и всяким ружейным мудростям. Пономарчук был педант и не доверял унтер-офицерам.

Солдатчина тускло прошла для Цвиркуна. Без особенного горя и особенных радостей. Прошла и сгинула. И он все реже и реже вспо-

минал об ней, занятый своими двумя художочными десятинами и четырьмя голодными ртами своих ребятишек, ненасытных, как галчата. Сколько ни пихали в них сырой невываренной картошки и мякинного хлеба, — все мало. И животы у детей вздувались большие и твердые, как барабаны...

Цвиркун на свое житье-бытье не роптал, потому что все кругом так живут... И уходили день за днем — серые, голодные, рабочие и трудные. И думал Цвиркун, что будет так веки вечные, пока не накроют его глинистым бугром с белым деревянным крестиком.

Но оказалось, что где-то далеко там, — этого далекого и загадочного "там" Цвиркун не мог даже себе представить, — вспомнили о Паричах. Нагрязнул становой с урядником, озабоченные, спешные, и сказали, что объявлена "билизация", берут запасных, будет война с немцами. О тех далеких немцах, с которыми придется воевать, Петро Цвиркун ничего не знал. Но знал Цвиркун других немцев. И в своем мужицком сердце сложил к ним немало тупой злобы. Не мог простить им Цвиркун чистеньких каменных домиков под

железной крышей, высоких заборов, таких добротных и крепких, — на целую хату хватило бы, — не мог простить им кованных железом телег и сытых раскормленных лошадей. И все эти немцы, как сами, так и жены их и дети, были одеты порядочно. Словом, когда Цвиркун узнал, что надо идти колотить немцев, он вспомнил тотчас же немецкие колонии, разбросанные там и сям по уезду. И даже не там и сям, а именно в тех местах, где лучшее поле, лучший лес и сочные, изумрудные луга. Вот почему без особенного сожаления расставался Цвиркун со своей женою и ребятишками. Лукерья, без времени увядшая баба в линючем платке, туго стягивавшем голову, с плоской грудью и большим животом, плакала, вытирая слезы косточками худых рабочих и жилистых рук. Ревела детвора. Но не плакал отец. В его немудреной голове шевелились робко и неуверенно тяжелые мысли. Тяжелые, не потому, что они были мрачного свойства, а потому, что тяжело было с непривычки думать о новом, не входившем в обычный круг скудного мужицкого мышления.

И Цвиркун топнул ногою. Жена таким его

еще никогда не видела. И сказал:

— Годи плакать, будет! От, я накладу им по первое число и вернусь — тогда увидишь!..

Что именно увидит Лукерья, он и сам не знал хорошенько, но ему искренне хотелось "наложить немцам по первое число". Этим он отомстит разом за все: и за железные крыши, и за высокие заборы, и за крепкие телеги, в которых колонисты возят много всякого добра.

2

Поезд вытянулся бесконечной вереницею вагонов. Всякие вагоны. И товарные, и третьего класса, и открытые платформы. И все они битком набиты десятками и сотнями Цвиркунов. И среди них — настоящий Петро Цвиркун из Паричей. На нем шинель с красными погонями и с цифрой триста с чем-то. Сапоги вместо лаптей, а вместо высокой войлочной шапки — "лопацоны", их называют магерками — защитная фуражка с кокардой. Но Цвиркун — все тот же. И лицо-наперсток, рябинами истыканное, и нос пуговкой, и чахлая бороденка. В вагонах шумно и как-то по буйному весело. На станциях более проворные

Цвиркуны бегают за кипятком. В вагонах, швыряемых из стороны в сторону с резким грохотом, солдаты пьют горячий, жиденский чай из глиняных кружек и обжигающих пальцы жестянок. Пахнет людьми, сукном и махоркой, сизым туманом застилающей вагон. Тепло; погода хорошая, и в двери, и в окна врывается свежей струей солнечный воздух. Разговоры такие же, без конца-краю, как и этот путь, с долгими остановками и тихим плетущимся ходом, ибо то и дело приходится мимо себя пропускать такие же самые военные поезда, переполненные такими же Цвиркунами.

Среди солдат и пожилые ветераны маньчжурской войны. Их медали и кресты вызывают почтение в тех, кто помоложе. Вспоминают японцев. По-хорошему вспоминают, безо всякой злобы.

— Маленький, желтый, глаза, что щелки твои, а драться горазд!.. Герой!

И выходит, что ни раньше, ни потом японцы никому вот на самый малый ноготок худого не сделали ничего. А против немцев — злоба. И Цвиркун Петро, настоящий Цвиркун,

вспоминал сытых, раскормленных лошадей, высокие заборы. Его маленькие безобидные глазки вспыхивали. Сжимая дуло своей винтовки, он грозился:

— Накладем по первое число!..

И у остальных Цвиркунов была своя обида против немца. Бойкого, смышленного парня, служившего на табачной фабрике — папиросы раскладывал по коробкам, — немец, заведовавший отделением, штрафами душил. И чуть что, сейчас "русской свиньей" облает. Были запасные батраки с сахарных заводов. И там жали их всласть немцы. В имениях, в экономиях — то же самое. От немцев ни житья, ни проходу! Сами жиреют, каналы, на русских хлебах! Хлещут пиво, вот такие аршинные сигары курят, а нет горшего измывательства, что претерпевает от них русский мужик. За человека не считают! Словно русский мужик только затем и сотворен мать-природою, чтобы немец поедом его жрал да как отъевшийся клоп вздувался от чужих пота-крови...

Эшелон прибыл в Варшаву. Полк Цвиркуна выгрузили. Двинулся он через весь город колонною в походном порядке. Петро Цвир-

кун только глаза себе кругом таращил. И убедился он, что есть на свете города куда богаче и краше, чем тот уездный, с керосиновыми фонарями и деревянными тротуарами, где он отбывал свою службу.

Погода была удивительная. Конец лета мотовски расточал свою ласку и теплом, и солнцем, и воздухом, и ярким, прозрачным светом. Таким прозрачным, словно все кругом — и дома, и люди, и бело-железные кружева перекинувшихся через реку мостов, — все это умылось, приделось, почистилось, как перед суровым смотром надвигающейся осени.

Петро Цвиркун ростом не вышел и поэтому угодил в шестнадцатую роту. Идет в хвосте колонны, и, хотя всего снаряжения на нем около двух пудов, — идет бодро. И все шагают бодро и в ногу. И молодежато и четко отбивают шаг по асфальту. С обеих сторон улицы — народ густится. Из магазинов с громадными окнами выбегают улыбающиеся молодые люди, барышни. И все что-то говорят, не разобрать толком что, но чует душа — приветливое и радостное. И суют солдатам цветы, папиросы, сахар в бумаге, чай. И Цвиркуну по-

пало. Какая-то важная барыня, вся в черном, с бледным прекрасным лицом, протянула ему коробочку с папиросами. И хотя Цвиркун был некурящий, но по военному времени пригодится, — сунул в карман. Папиросы отдаст кому-нибудь из товарищей, а коробочку себе. Уж очень нарядная, с картинкою.

Неказистому, шаршавому Цвиркуну повезло. А может быть, потому и повезло, что очень уж он некрасивый да невзрачный. Жалеючи, всегда к таким особенно внимательны люди — обидеть боятся. И сахару, глядишь, перепало!.. Как развернул бумажку торопливо, на ходу, ведь одна рука лишь свободна, так и заискрился на солнце рубленый крупными кусками, белый, как снег, сахар. Какие-то барыни кричат офицерам:

— До свидания!.. До свидания в губернском городе Берлине!..

— Бейте немцев, пся крев, бейте проклятых! — бубнит задорный уличный мальчишка, семеня босыми ногами.

Цвиркун совсем близко увидел розовое личико девочки, такой светловолосой и хорошенькой — ну совсем кукла, лежащая при-

манкой в окне магазина. Девочка протянула ему алый цветочек. И хотя Цвиркун решительно не понимал, что это значит и зачем ему этот цветок, — бросить его, однако, не решился. И держал осторожно, боясь измять корявыми пальцами. Вспомнил своих детей, оставшихся в далеких Паричах с матерью. И хотя девочка с цветком была красивенькая, чистая и нарядная, а его дети ходили в одних грубых, домотканых рубашонках и от сырой картошки пучило им животы, он вспомнил их с незнакомой до сих пор его немудреному сердцу нежностью. Когда он вернется с войны, встреча будет любовная. И если этот сахар он выпьет вместе с чаем, то будет еще. И тот другой сахар он принесет домой, как редкое лакомство.

3

Полк движется по немецкой земле.

Здесь все уже совсем другое, чем там, позади, дома. Особенно дивились немецким полям солдаты:

— Что ни скажи, а сурьезный он человек, немец, — деловито говорил угрюмый, бородастый костромич, товарищ Цвиркуна по взво-

ду. — На что кусочек земли махонькой, а и тот, глядишь, как возделан! — И костромич, оглядываясь для порядка, нет ли вблизи начальства, выбегал из колонны в сторону, рвал наспех колос еще несжатой пшеницы и, вернувшись, наладив движение в ногу, с хозяйственными видом перетирал колос между пальцами, рассматривал зерна и нюхал.

— Ну что?

— Важнеюшая пшеница. Знатно земля родить. А потому — уход!..

Солдаты диву давались, проходя через неприятельские деревни. Какие же это, в сущности, деревни? Улицы ровные, мощеные, дома двухэтажные, каменные. А над крышами видимо-невидимо по всем направлениям и телеграфных, и телефонных проволок. Иные уже попорчены, — казаки здесь побывали раньше, — и висят, через дорогу беспорядочно стелются.

Полк еще, как говорится, не нюхал пороху, но скоро быть делу.

Полк движется по следам передовых кавалерийских стычек. В одной вымершей — все бежало из нее — деревне поперек улицы ло-

шадиные трупы. Поменьше — казацкая и другая побольше — немецкая. Обеих уравнила смерть. Оскалив зубы, застеклила глаза, вытянула деревяшками ноги, вздула горою брюхо и так выпятила ребра, — пересчитать можно. Немного дальше — труп без головы, грудью вниз в синем мундире. И так руки раскинуты, словно человек хотел всю землю обхватить в предсмертном объятии. И тут же, как круглый шар, отхваченная голова, со светлыми усами и в каске с орлом...

Цвиркун сначала крестился. Не по себе ему было. И лицо делал такое, как если б мимо похорон шел. Но это было вначале, а потом привык. Ко всему человек привыкает. В особенности к смерти и крови с их ужасами.

Не стало батальонного. А славный был и бравый такой подполковник. За японскую войну "Анну" с мечами и "Георгия" имел. Солдатам веселей становилось, когда объезжал он фронт, румяный, дородный, с приветливой шуткою и каштановой бородою, золотившейся на солнце. И хоть бы в бою погиб — не так жаль... Конец, геройский. А то пропал человек зря...

Ночевал полк на пути в небольшом городке. Жителей — полтора человека. Разбежались. Все дома пустые. Батальонному приглянулся, как фонарик светленький, домик с башенками. Он в нем и расположился. Тихая старушка в белом чепчике.

Спрашивает ее батальонный по-ихнему:

— А вы что же, сударыня, одна-одинешенька?

Потупилась, в глаза не смотрит.

— Молодежь моя на войне, а я старая вдова, куда мне деваться. Убьете — к тому готова. Век свой прожила, будет!

Как расхохочется батальонный — борода затряслась.

— Что вы, матушка, и взаправду нас зверями считаете. Мы с мирными жителями не воюем. А вот вы бы меня лучше кофеем угостили. У вас ведь, у немцев, кофей хороший. Путешествовал, знаю! И не бойтесь, за все будет уплачено.

Она и сварила кофе, старуха. Чистенько так, все блестит. Чашка тяжелая, толстая, добротная, ложечки, салфеточки. Масло завитушечками.

Напился батальонный этого кофе и Богу душу отдал. Поминай, как звали. Отравила тихая ведьма. Расстреляли ведьму, как полагается. Да толку из этого никакого. Разве вот другим острастка. А батальонного не воскресишь. И такой он был плотный да крепкий. Жить да жить! Судьба... Похоронили его под городом. Солдаты рыли могилу и плакали. Грозилась:

— Ужо дорваться бы только — отплатим!
Дорвались... Ждать пришлось недолго.

Полдня окопы рыли. Под огнем приходилось работать. Черт знает, с какой дали немецкая артиллерия жарила. И все "чемоданы". Чемоданами прозвали солдатики громадные снаряды, с диким, устрашающим визгом пронесившиеся мимо. Хорошо еще, если мимо... Но пока что благополучно. Либо недолет, либо перелет. Но как зароется, такой фонтан земли подымет, что твой ураган! И выворотит вокруг себя глубокую яму — десять человек спрячется. Поднимали осколки, оттягивало руку, такой вес. Вначале жутко и боязно было. Солдаты кланялись, в сторону шараялись, молитвы шептали. Еще бы — не снаряд,

а какой-то дьявол чугунный проносится над головою. А потом обстрелялись. Привыкли. И не больше было страху, как если б шмель гудел вокруг да около.

Так и Цвиркун. Обтерпелся! И спокойно, с деловитой мужицкой серьезностью, на немецкой земле и под немецким солнцем, снявши мундир, копал траншеи, точно в собственном огороде добывал из-под сырой болотистой рыхлятины водянистую картошку. И так же, как дома, прилипала у него к худым костлявым лопаткам вспотевшая цветная рубаха.

Казачи пленных проводили. Несколько чубатых станичников, сидя на своих поджарых лошадках, гнали впереди себя пруссаков словно стадо баранов. Цвиркун впервые видел живого немецкого солдата. И сам Цвиркун, и остальные Цвиркуны дивились бессмысленной машинной выправке немцев. В плену, чего уж тут задавать форсу, а как на параде маршируют. По-журавлиному, в три приема. И с таким священнодействующим видом... Народ белокурый, видный. И так потешно щеки трясутся. Мундиры на них ловко

пригнаны, один к одному, и каски под серыми чехлами.

Молодой ротный из гвардейцев беседовал с пленными по-ихнему. И тут выправка. Тянутся, честь отдают. И по-своему это у них выходит. Дрыгнет правой ногою, каблуками щелкнет и, проглотивши добрый аршин, рукою, словно завели ее — раз-раз под козырек и обалдел, глаза выпучивши...

Спрашивал ротный казаков:

— Где вы их, братцы, добыли?..

— А так, значит, ваше благородие, делали мы разведку. Сам двенадцатый. Заскочили в деревню. А там полурота. Выстраивается... Мы и налетели. Кого порубили, а этих вот гоним!..

Немцы, с опаскою и недоверием, не понимая ни слова, переводили глаза с казаков на капитана. Упитанный, кольни его в красную рожу, так пивом и брызнет, унтер-офицер выступил и, проделав все, как полагается у них, и аршин проглотив, и каблуками щелкнув, обратился с каким-то вопросом к капитану.

Капитан ответил и засмеялся. Потом объяснил солдатам:

— Напугали их, что мы не берем в плен. Спрашивал, когда их расстреляют? Дурачье, верят всяким небылицам!..

4

Штаб одиннадцатого корпуса германской армии квартировал в Познани, в богатом и крупном имении польского графа Пшембицкого, и, во-первых, потому, что Пшембицкий был поляк, а, во-вторых, потому, что немцы вообще народ бесцеремонный, особенно если на их стороне грубая сила, — с графом штаб одиннадцатого корпуса не особенно стеснялся. Ему дали довольно прозрачно понять: "Благодари Бога, только бы целым остаться". Граф, гордый, величественный старик, во дни своей молодости танцевавший в Тюильрийском дворце мазурку с императрицей Евгенией, сидел безвыходно у себя в дальних комнатах большого двухэтажного палаццо. Вместе с ним и его немногочисленная семья.

А немцы хозяйничали вовсю. Графский повар готовил всему штабу и завтраки, и обеды, и ужины. Графский погреб — хочешь не хочешь — поставлял вина, а графский управляющей должен был отпускать овес и сено не

только для штабных лошадей, но и для трех эскадронов, расположенных в усадьбе и охранявших особу корпусного командира.

Обедали в громадной, в два света и с хорами столовой. Здесь, под звуки собственного оркестра, в былое время банкетовали предки графа Пшембицкого. А теперь вокруг стола сидели пруссаки в синих мундирах. Обед подходил к концу. Много было съедено и еще больше выпито. В сигарном дыму пылали красные, возбужденные лица с мутными глазами. Громкий, беспорядочный говор. Кто-нибудь, со стороны войдя, отказался бы верить, что все это люди с внешним воспитанием и лоском, и вдобавок половина из них — титулованные. Пустые бутылки бросались прямо на пол. Белая скатерть вся была залита вином, липкими ликерами и в нескольких местах прожжена сигарами. Офицеры не давали себе труда подвинуть тарелку или пепельницу, и непогашенные окурки бросались прямо на скатерть. Теперь военное время, да еще в польском доме, и можно ни с чем не считаться, распоясавшись такими свиньями, каких еще свет не производил... и, действительно,

свинячили вволю.

Самое почетное место занимал не корпусный командир, седой и сухощавый старик с баками, идущими от висков к углам рта а la Вильгельм I, а совсем, совсем молодой полковник. Он был бледен, худ и белобрыс, как только может быть белобрысым немец. Тон чуть розоватой кожи лица был темнее тона волос, жиденьких, напомаженных, расчесанных сквозным английским пробором. Взгляд светлых глаз молодого полковника был непроницаемый, верней, совсем ничего не выражавший. Ни одной самой коротенькой человеческой мысли. И вдобавок еще какая-то холодная стеклянность была в этом раз навсегда застывшем взгляде. По прусской моде, заимствованной опять-таки у англичан, полковник начисто брил и бороду, и усы. Его обнаженный "голый" рот заметно выдавался, а большие длинные, как клавиши, зубы выпирали из-под коротких губ — им было тесно.

Полковник не был бы прусским офицером, если бы не носил монокль. Носил. И это давалось ему с большим трудом. Застеклившиеся глаза не сидели глубоко в орбитах, а наобо-

рот, вылезали вместе со своими короткими жиденькими ресницами. При таких условиях втиснуть в глаз монокль являлось почти невозможной вещью. Монокль выпрыгивал, падал, разбивался. Но терпеливый полковник возил их за собою дюжинами.

И корпусный командир, и остальные офицеры штаба относились к молодому полковнику с чрезмерной почтительностью и, обращаясь к нему, всякий раз величали "вашей светлостью".

Это был герцог Карл-Август-Людовик Ашенбруннерский, приходившийся двоюродным племянником императору Вильгельму.

Подобно своему воинственному дядюшке, племянник изо всех сил жаждал боевых лавров. И если Вильгельм пытался неудачно и жалко до смешного держать экзамен на Великого Наполеона, племянник метил, по крайней мере, в Мюраты, хотя кавалерист был из рук вон плохой. И хотя служил в гвардейском кирасирском полку, но лошадей боялся до смерти, чувствуя себя гораздо лучше в "пешем строю", чем верхом.

Сбирался на войну герцог торжественно, с

помпою. Добрый католик, он от души жалел, что не может съездить за благословением к папе. А это было бы шикарно! Великий герцог так и подумал: шикарно. Теперь, когда молниеносная мобилизация производится с помощью телефонов, телеграфов, бешено режущих воздух автомобилей и экспрессов, — экспрессов по быстроте — в такое время, когда каждый день и час дорог, не до паломничества в Рим. Это было хорошо в далекие века Фридриха Барбароссы. Итак, вместо святейшего отца благословила своего сына вдовствующая герцогиня-мать.

Карл-Август-Людовик преклонил свое тонкое, будто сломанная спичка, колено пред чопорной и скучной, с прилизанными, как у гувернантки, волосами старухой. И это не где-нибудь, а в родном шестисотлетнем замке, в длинном и неуютном зале с фамильными портретами вдоль стен. Высохшей рукою мать указывала на этих доблестных предков, желая сыну так же храбро и победно сражаться за германские идеалы и германскую культуру, как это делали его знаменитые прадеды и пращурь.

Хотя, говоря по правде, все высокие культуртрегерские идеалы предков сводились к тому, что они грабили караваны купцов, а когда этот промысел стал "неудобным", торговали солдатами, доставляя наемное пушечное мясо тем государям, которые за это хорошо платили.

Герцогиня славилась подвиги предков-крестоносцев, вздумавших "обращать" огнем и мечом языческую Литву.

— Жертвою этих святых походов пал великий герцог Август-Рудольф-Отто Сильный, — прошептала, закатывая глаза, герцогиня-мать.

Она с удовольствием указала бы на стене портрет этого славного героя. Но, увы, Отто Сильный не был увековечен в фамильной галерее по какому-то непростительному недоразумению. Смерть принял он, действительно, в крестовом походе, но смерть довольно-таки прозаичную. Косматый в звериной шкуре гигант-литовец своей утыканной гвоздями дубиной так хватил конного рыцаря, что шлем свернулся в лепешку, и у Отто Сильного оказался проломленным череп.

Обещаний и клятв надавал сын матери без конца. Он либо совсем не вернется, либо вернется в сиянии славы. Он будет беспощадно бить этих русских свиней, грязных и грубых, для которых самый факт сопротивления лучшей в мире германской армии — это уже сама по себе великая, недосягаемая честь.

То же самое повторял великий герцог и здесь, в столовой польского графа. Графские лакеи с мрачными лицами и потупленными взглядами, хоронившими ненависть и презрение к этим "завоевателям", наливали в бокалы шампанское. Герцог кричал "гох", и вслед за ним пьяными голосами повторяли собутыльники: "Гох"!

— Да здравствует кайзер Вильгельм!

— Да будет жив император Европы!

— Великий император!..

— Да будет!..

Искрящиеся золотистым вином бокалы тянулись отовсюду к бокалу герцога...

Какая-то внезапная мысль осенила его. Он вытянулся во всю свою длину и постучал плоским золотым портсигаром с брильянтовой герцогской короной. Все смолкло, и все

установились на герцога в ожидании, чем он готовится их подарить. А подарил он их следующим:

— Господа, я задумал сыграть с этими русскими дикарями знатную штуку. Я буду драться в рядах нашей доблестной армии как простой солдат. Все мы — германские солдаты, начиная от кайзера и кончая последним рядовым. Но я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что я в буквальном смысле слова надену солдатскую форму. Я превращусь из герцога в унтер-офицера. Да! Да!.. Как вам это понравится? — обвел он стеклянными глазами пылавшие в табачном дыму лица своих сотрапезников.

— О да... Это мысль!.. Это гениальная мысль! — высказался первым по старшинству корпусный командир, а за ним и остальные.

Два-три скептика с непростительным для немецкого офицера вольнодумством решили, что его высочество просто-напросто втирает очки. Малый не из особенно храбрых, ну и трусит, заранее хочет слиться с общей солдатской массой. Меньше шансов получить пулю,

так как эти русские, по общим отзывам, стреляют весьма недурно и на выбор бьют командный состав.

Герцог, выждав паузу, продолжал, готовя новое откровение:

— Но в обозе следовать будет моя полная парадная форма, и я торжественно даю вам мое честное слово надеть ее не раньше, как только мы вступим в Варшаву. В польской столице произойдет мое превращение из унтер-офицера в герцога Ашенбруннерского. Что вы на это скажете? Ловко придумано?..

Разумеется, все выразили самый живейший восторг, и оратор к своему удовольствию сорвал шумные аплодисменты. Новые бокалы шампанского, новое чоканье, новые тосты. Пили за здоровье изобретательного герцога, опять вернулись к Вильгельму, перешли на кронпринца и так далее. Пили до изнеможения, до потери человеческого облика...

Под утро, кое-как добравшись до постели, герцог уснул. Приятные сны грезилась ему.

Варшава сдалась без боя на милость доблестных победителей. Бесконечные колонны

германской армии одна за другою вливаются в столицу Польши. И впереди всех на коне он, герцог. Осеннее солнце сияет золотом на шитые красного мундира, на орденах, крестах, звездах, пышных вздрагивающих эполетах. Кругом — одно сплошное ликование. Освобожденный мудрым императором польский народ приветствует победителей. Красавицы забрасывают герцога Карла цветами. И все бледно-алые розы, громадные, как в сказке. Весь путь устлан ими. И мягко, неслышно тонут в них копыта герцогского коня...

На этом герцогский сон оборвался, продолжению нево время помешал почтительный стук в дверь. Герцог потянулся, зевнул и недовольно сказал: "Herein!"

У порога обалдевающе замер высокий бранденбургский гусар.

— Ваша светлость приказали разбудить, и я осмелился... Пора выступать.

— Который час?

— Тридцать две минуты десятого.

— Ого, подними шторы...

Гусар поднял шторы. В окна дерзко и жадно, потоками хлынул яркий солнечный день.

Герцог сначала зажмурился, потом открыл глаза и чуть не обмолвился:

— Это взойшло солнце Аустерлица!

Молодой двадцатилетний полковник уже тяготился второстепенной ролью славного Мюрата. Он с удовольствием, так бочком-бочком, обогнав кайзера, сам проскочил бы в Наполеоны...

Его светлость украсил своим присутствием легкий ранний завтрак и вместе со штабом корпуса уехал вперед к позициям.

5

Армейский пехотный полк с цифрой триста с чем-то на погонах окопался. Равнинная позиция не представляла особенных выгод. Но в силу стратегических соображений велено окопаться именно здесь. Полковой командир получил приказание не только удерживать позицию ценою каких угодно потерь, но и самому, в конце концов, перейти в наступление и овладеть буграми, что раскинулись ломаной линией по горизонту, впереди, верстах в двух. Наблюдаемые простым глазом, бугры эти производили самое невинное впечатление. Бугры как бугры. Но с помощью

цейсовского бинокля можно было разглядеть то прямые, то зигзагообразные линии германских траншей. И видна была аккуратная немецкая работа. Хоть по линейке проверяй насыпи — так все математически точно. Иногда, опять-таки если смотреть в бинокль, показывалась над окопами голова в каске и тотчас же пряталась.

Чем черт не шутит, надо беречься. Шальных пуль мало ли, — свистят по всем направлениям.

Погода испортилась. С утра шел дождь и мутной сеткою заволакивал дали. В наших окопах было какое-то грязное, глинистое тесто. Утомленные, промокшие до нитки солдаты лежали хмурые, озлобленные. Это хорошо в виду предстоящей атаки. Чем солдат озлобленней, тем пуще он свирепеет, и тогда уже сам дьявол ему не брат, он лезет напролом и творит чудеса.

— Ну, что, братцы? — спрашивали нижних чинов офицеры в таких же, как и они, солдатских шинелях.

— Ничего, ваше благородие. Мокро вот... обсушиться бы...

— Бой будет горячий, живо обсушитесь!..

Словно в доказательство, что бой, действительно, будет горячий, шагах в пятистах, над окопами с тягучим и противным металлическим визгом разорвалась шрапнель. Ее облачко в хорошую солнечную погоду могло бы показаться красивым. А теперь это были какие-то беспорядочные клочки грязной, расплзающейся во все стороны ваты.

Новое облачко, третье, четвертое...

— Недолет, — резонно отмечал костромич, перетиравший и нюхавший колосья пшеницы.

Немцы нащупывали нашу пехоту.

Немного погодя снаряды стали разрываться уже позади окопов. Наша артиллерия, стоявшая в тылу пехотных линий, отвечала. И теперь уже наши разрывы тучками реяли в воздухе над буграми окопавшихся немцев.

За артиллерийским начался поединок пехоты. Мы обстреливали бугры, бугры обстреливали нас. Серьезных потерь наши еще не имели. У одного солдата пробило пулею фуражку и содрало с головы кусок кожи. Хозяйственный костромич был легко ранен в ле-

вую руку. Еще у кого-то пуля застряла в плече. И только один солдат, смертельно раненный в лоб, вместе со своей винтовкой упал, откинувшись на сырое глинистое дно траншеи. Все чаще и чаще свистят пули.

Солдаты, видя раненых товарищей, начинают звереть. Здесь и страх за себя, и злоба против "тех" в остроконечных касках, что засели там в буграх и посылают сюда увечье и смерть. Кажется, весь воздух насыщен сухой несмолкаемой ружейной трескотней. Тысячи, десятки тысяч выстрелов, каждый сам по себе нестрашный и негромкий, сливаясь вместе, вырастают в нечто внушительное, грозное, стихийное. И ухающими протяжными басовыми нотами врываются в этот трескающийся шум выстрелы орудий.

Цвиркун работает безостановочно, едва поспевая вставлять и выбрасывать обоймы. Мокрый от дождя ствол его винтовки обжигающе горяч, Цвиркун стреляет с обезумевшими глазами. Зубы стиснуты. Страха нет и в помине. Улетучился, сгинул в этом огне, свисте и грохоте. Одним желанием полон Цвиркун: отомстить немцам, за все отомстить! И за ко-

стромича, к которому он успел привязаться, и за самого себя, Цвиркуна, которому мокро, холодно и который со вчерашнего дня маковой росинки не имел во рту, и за кованые телеги, железные крыши и высокие заборы немецких колоний. За все разом...

6

Приказано было наступать.

Солдаты, покинув траншеи, бросились вперед к буграм. Офицеры перебрасывали их по частям. Бегут, бегут и все ложатся на землю. Залп... Вскакивают, перепачканные грязью, и... дальше. Опять падают. Опять залп. Некоторые остаются лежать, кто раненный, кто убитый. Уцелевшие счастливцы бегут, устилая свой путь товарищами...

Бугры сплошь дымятся ружейным огнем. И чем ближе атакующий неприятель в серых шинелях, тем отчаянней обстреливают его немцы. Вот уже передняя часть русских в трехстах шагах от первых германских траншей. Уже смолкает огонь, и обе стороны готовятся к штыковому бою.

Правильный академический штыковой бой оставался и навсегда останется лишь в

четырёх стенах фехтовального зала. На поле же, которое называется полем брани, осата-невшие, охваченные временным помешательством солдаты дерутся как попало и чем попало, смотря по вдохновению, ибо в таком кошмарном и кровавом деле, как рукопашный бой, тоже бывает своеобразное вдохновение.

Так и здесь.

Свои и чужие скучились в какое-то невообразимое человеческое месиво. Били друг друга прикладами, кулаками, схватывались в объятия, падали вместе тесно переплетенные, и вставал тот, кто успел задушить врага.

Цвиркун вошел в раж и медведем лез напролом в этой сумятице, выискивая себе жертву. Он не помнил даже, что уронил свою винтовку, и пер с голыми руками. Ага, вот и он увидел близко солдата с бритым лицом и оскаленными зубами, крупными и длинными, как клавиши. Увидел револьвер, не сообщая сгоряча даже, что тонкое граненое дуло парабеллума уставилось прямо на него. Это дуло зарделось вдруг струйкою пламени — и что-то обжигающее жаром пахнуло

Цвиркуну в лицо. И вслед за этим Цвиркун размахнулся и увесистым кулаком своим со всего размаху, по-мужицки, хватил бритого солдата по назойливо торчавшим зубам. Немец вскрикнул и, выпустив револьвер, обеими руками схватился за свой окровавленный рот. Цвиркун, не давая ему опомниться, весь полный тупой и животной злобы, осыпал его новыми ударами, сбил с головы каску, подставил под глазом синяк и что-то такое еще хотел с ним сделать, что и сам не знал. Высокий худой немец даже не пробовал отбиться, да и не мог, весь жестоко избитый маленьким, приземистым, широколицым, оспой изрытым солдатом. Цвиркун сгреб свою жертву за шиворот и поволок...

Бугры остались за нами.

Пруссаков отсюда выбили. Часть их бежала, часть осталась в окопах, чтобы никогда больше не подняться. Трупы немцев и русских лежали там и сям вперемежку, а иногда и совсем близко, обхвативши друг друга в предсмертном объятии, как братья. Появились из тыла санитары с носилками. Сестры милосердия своим и чужим раненым оказы-

вали первую помощь. Вот дышит, дышит тяжело, со свистом, громадный, запрокинувшийся навзничь немец-пруссак с глубоко, до самых лопаток проколотою грудью. Над ним заботливо наклоняется тоненькая, с детским личиком сестра, в коричневом, промокшем насквозь жакете и с крестом на рукаве. Немец что-то мычит, а его перепачканная кровью рука силится что-то нащупать возле себя. Уж не револьвер ли? Чтоб самого себя прикончить, либо выпустить пулю в сестру милосердия. Внушал же командный состав германцев своим солдатам:

— Сохрани вас Бог очутиться в русском плену! Эти дикари подвергают пленных пыткам, морят их жаждой и голодом!..

Эти небылицы распространялись в германских войсках, конечно, с единственной целью, чтобы солдаты, напуганные страшными перспективами русского плена, мужественно и стойко дрались до последней капли крови.

— Испить бы водицы... ой, печет... огнем печет, водицы бы, Христа ради, — слышится стон мрачного хозяйственного костромича.

Бедняга получил штыковую рану в живот и мечется весь в жару, быстро охватившем его. Раненный еще в окопе, он остался в строю, пошел в атаку, заколол двух немцев — и вот сам свалился.

— Испить бы водицы. Ой, смерть подходит... братцы...

Худенькая, в коричневом жакете сестра милосердия, отвинтив крышку висевшей у нее через плечо фляги, дает костромичу пить.

— Спасибо, родная, — шепчет он запекшимися губами. — Ничего бы... а только нутро все горит...

К нему подходят два санитаря с носилками.

Взято в плен было человек восемьдесят. Едва ли не первая партия пленных германцев. И поэтому интерес, проявленный к ней, был особенно повышенный.

Впечатление новизны создавало какую-то праздничность. Немцы, те самые немцы, которые так высокомерно и хвастливо держали себя, крича на весь мир о своей непобедимости... И вот, мы одних берем в плен, остальных гоним, а третьи легли между теми и дру-

гими. Ни каски с "громоотводами", ни спеси-во подкрученные усы, ни механическая дисциплина и муштра — ничто не спасло их.

А тут еще прошел слух, что по соседству, на фронте, в происходивших одновременно боях, взято еще много пленных...

Из штаба дивизии прискакал офицер-кавалерист с требованием возможно скорее доставить генералу всех пленных. Штаб находился верстах в семи. Вести пленных походным порядком — займет два часа времени. Поэтому для скорости было решено доставить их на обозных телегах. Пошла погрузка. По десяти человек на телегу. И вместе с погрузкой началось что-то необъяснимое, смешавшее все понятия о военном чинопочитании и субординации.

Среди пленных было три офицера — капитан, пожилой, с брюшком, и два лейтенанта. И вот русские диву даются, глядячи, как все трое тянутся и обалдевают перед высоким, бритым унтер-офицером, которого не отпускает от себя ни на шаг рядовой Цвиркун, считающий белобрысого немца своей законной добычей.

Белобрысый унтер-офицер приведен был Цвиркуном в весьма плачевное состояние. Губы распухли, один из передних зубов выбит, и под глазом светился фонарь, из синего успевший сделаться фиолетовым. Напомаженные волосы липкими прядями торчали во все стороны, а по сохранившейся кое-где дорожке пробора угадывалось, что расчесаны они были самым тщательным образом.

И если сопоставить, что, с одной стороны, унтер-офицер был слишком нежен, хрупок и щеголеват, а с другой — тянулись перед ним в струнку и оба лейтенанта, и капитан, — получилось нечто загадочное, и, как на беду, пленные офицеры проявляли по отношению к этому солдату не только искательность и внимание, но и самое грубое подобоострашие.

И напрасно кусал он с досады свои распухшие, посиневшие губы и "сигнализировал" офицерам своими белыми навывкате и без ресниц глазами.

Вся эта комедия не ускользнула от ротного. Громадный атлетического сложения капитан, рыжеусый, в темных очках и в солдатской шинели без пуговиц, подошел к таинственно-

му унтер-офицеру и спросил по-немецки:

— Кто вы такой?

Белобрысый немец надменно мотнул головой и, пожав плечами, ответил:

— Я солдат, простой солдат Ганс Шмидт, чего же вам более?..

Усы капитана дрогнули в усмешке. Он обратился к солдатам:

— Братцы, этого гуся берегите пуще глаз. Шесть человек с винтовками с ним на телегу. Кстати, кто его "пленил"?

— Я, ваше высокоблагородие! — метнулся к ротному Цвиркун. И одним глазом "ест" начальство, другого не спускает с немца. Еще удерет, чего доброго.

Улыбка расплзлась по широкому лицу капитана. Уж очень неказист был этот оспую изрытый солдатик.

— Как же ты его взял?

— А так, ваше высокоблагородие. Ен хотел в мене с леворвера стрелить, а я его по зубам, по зубам. Наложил по первое число! Ну, и в смирение привел. Так и взял...

— По зубам!.. Ах ты дурья голова, — смеялся капитан.

Когда телеги с пленными тронулись в штаб дивизии, капитан еще раз в напутствие крикнул:

— Ребята, беречь мне этого длинного, как собственный глаз!

Капитан поманил к себе юного, румяного подпоручика Селиванова.

— Вот что, милый, поезжайте в штаб. Возьмите мою лошадь. Необходимо предупредить генерала об этой загадочной птице. Он такой же унтер-офицер, как и мы с вами. Видели, какой аршин глотали в его присутствии настоящие офицеры? И хотя у этих немцев разных там принцев да герцогов как собак нерезаных, а все же заполучить в самом начале войны в плен одного из этих господ — что ни говорите, приятно.

7

Подпоручик Селиванов, верхом обогнав вереницу телег, на полчаса раньше прибыл в штаб и отрапортовал дивизионному, что среди пленников имеется таинственный унтер-офицер, к которому прусский капитан относится, как к высочайшей особе. Штаб дивизии помещался в немецкой деревне, если

только можно было называть деревней чистенький, освещаемый электричеством городок, весь в каменных домах и с мощеными улицами, среди которых одна была даже асфальтовая.

Дождь перестал, прояснились небеса, вот и пленные. Генерал, высокий и стройный, с поручичьей фигурой, вышел из дому взглянуть на подозрительного унтер-офицера.

Генерал — бывший гвардеец и светский человек — опытным глазом с первого же впечатления определил какую-то печать особенной, вырожденческой породы в этом белесом унтер-офицере, с так хорошо пригнанной формой из тонкого сукна и в сапогах, обошедшихся, по крайней мере, в сто марок. Желая сразу поймать пленника, генерал спросил нарочно по-французски:

— Кто вы такой?

Унтер-офицер пошел на эту удочку и на порядочном французском языке ответил:

— Я простой солдат, Ганс Шмидт!..

Генерал подозвал к себе пленных офицеров.

— Кто он такой? — спросил дивизионный

капитана, державшего руку у своей еще с мокрым чехлом каски.

Унтер-офицер отчаянно "телеграфировал" глазами, и капитан мямлил какую-то чушь. Дивизионный, оборвав его, махнул рукою.

— Все это хорошо в оперетке, а здесь не оперетка, а война, — обратился с досадой генерал к адъютанту.

Ему пришла какая-то мысль, и он коротко велел:

— Обыскать!

Таинственный унтер-офицер вздумал было противиться, но два-три добрых тумака привели его в христианскую веру. Ревниво обыскивал свою законную добычу Петро Цвиркун, не давая этого делать другим солдатам. Из внутреннего кармана мундира он вытащил дорогой крокодиловой кожи бумажник, весь в золотых монограммах. Генерал, качая головой, повертел бумажник, вынул оттуда несколько визитных карточек. А вслед за этим уже адъютант протягивал ему перехваченный у Цвиркуна плоский золотой портсигар с брильянтовой герцогской короной.

И бумажник, и портсигар были тотчас же возвращены унтер-офицеру. А генерал, повеселевший и радостный, молвил адъютанту:

— Эта белобрысая жердь — герцог Ашенбруннерский. Такой пленник для начала — конфетка!..

И меня улыбающееся лицо на строгое, начальническое, генерал обратился к солдатам:

— Кто взял его в плен?

— Так что я, ваше превосходительство...

Генерал с необидной, отражавшей скорей любопытство улыбкой, смерил неказистую фигуру Цwirкуна.

— Как же ты его взял?

— А так, ваше превосходительство, ен хотел в мене с леворвела стрелить, а я его по зубам, по зубам, наложил по первое число, ну и в смирение привел. Так и взял...

— Молодец, поздравляю с Георгием! Граф, дайте ему двадцать пять рублей, — обратился дивизионный к адъютанту и продолжал по-французски: — Вот наш типичный солдат, невзрачный, непоказной, тихо и скромно делающий большие дела. Этот шут гороховый с выпученными глазами — как-никак короно-

ванная особа. А он ему набил морду, сгреб за шиворот и приволок. Просто!..

Герцога отправили сначала в Петроград, а потом в глубь России. Отправили с почетом, в отдельном купе. Бедный герцог! Так беспощадно разбились все его гордые завоевательные мечтания. Торжественное вступление в Варшаву, путь, усыпанный розами, улыбки очаровательных полек? Где все эти триумфы?

Стоило получать коленопреклоненному от герцогини-матери благословение в зале с фамильными портретами великих предков, стоило говорить такие огненные речи в штабе корпуса, чтобы, в конце концов, какой-то шаршавый и немытый русский солдат совсем уже не по-рыцарски расцветил благородную герцогскую физиономию фонарями?.. А всему виною этот глупейший маскарад.

Бедный герцог...

А Цвиркун?

Грудь Цвиркуна украсилась Георгиевским крестом, и он подвигается все дальше вместе со своим полком в глубь неприятельской земли. В письме на родину Цвиркун тяжелыми, испарину вызывавшими у него каракулями

описал свой подвиг в тех же самых выражениях, как он докладывал ротному и дивизионному.

И к письму были приложены деньги — двадцать пять рублей.

"У мене здеся на войне усе есть... А табе, Лукия, на хозяйстве стодица", — заканчивал Цвиркун свое послание в далекие белорусские Паричи.

Где ты сейчас, Цвиркун?.. Жив ли?..

ОРЛЕНОК С ЧЕРНОЙ ГОРЫ

1

— Сегодня ночью выступают, а может, и выступили...

— И много?..

— Батальон альпийских стрелков. В боевом составе — это с хвостиком тысяча штыков. С ним еще несколько митральез Шнейдера и горные пушки на магарцах[1]...

— И прямо на Ловчен?..

— Прямо на Ловчен. Сказывают, гора укреплена сербской артиллерией, когда они были под Скадром... Только вряд ли...

— Так-то оно так, а овладеть такой позици-

ей — шутка нелегкая!..

— Чудак-человек. Важно — добраться. А раз там — ни одного взвода — какая же трудность? Только б укрепиться. Потом извольте выбивать австрийцев. Как начнут громить Цетинье, в полчаса не останется камня на камне...

— Посмотрим, не за горами. Хотя именно за горами...

— Ну, лягка ночь!..

— Лягка ночь!..

Говорили оба солдата по-хорватски. Янко Павлович слышал все из своего каземата, благо не было стекол в оконце и вечер дышал прохладой с моря сквозь чугунную в кольцах решетку...

Один солдат ушел, остался часовой у этой, птичьим гнездом примостившейся к горному скату, тюрьмы. Здание с массивными стенами помнило еще расцвет венецианской республики, когда пышная царица Адриатики владела всем Далматинским побережьем.

Назад много веков тому был здесь торговый двор купцов из Дубровника, а теперь австрийцы гноят "политических". Этим швабам

весь Божий мир хотелось бы превратить в одну сплошную тюрьму!..

Янко похолодел весь. Лучше бы не подслушивал!.. Все равно сам узник и помочь решительно ничем не может... Крылья связаны...

Надо быть черногорцем и пылким пятнадцатилетним юношей, как Янко, чтоб понять весь ужас его охвативший!

Проклятые швабы до объявления войны желают овладеть предательски, врасплох святынею Черногории Ловчен-Планиною, этим ключом к столице короля Николая и к австрийской бухте Каттаро... Ловчен-Планиной с ее дорогими могилами легендарных юнаков, словно серебряной парчою покрытыми вечным розовеющим на солнце снегом...

— Эх, если б свобода!.. Если бы... Козьими тропами, — в горах каждая морщинка знака — бросился бы Янко туда наверх, в свой родной Негуш, оповестить кого следует вовремя. А так — пропадет все пропадом!

И кто знает, быть может, швабская колонна поднимается уже из Каттаро вверх по шоссе, чтоб из Чертовой Петли двинуться на Ловчен. Тирольцы умеют лазить в горах. Доберут-

ся или нет — другой вопрос, но самое посягательство швабов на эту дорожную всякому черногорскому сердцу, всякому от мала до велика, высоченную — выше нет во всей стране — скалу уже само по себе казалось юноше дерзким кощунством.

И словно орленок в клетке, — да он и был орленком с Черной горы, — заметался Янко в четырех каменных стенах своего каземата. Уйти, убежать? Но как убежишь от этого гранитного мешка с тяжелой дверью, обитой гвоздями и ржавым шестисотлетним железом?

Янко бросился к окну — квадратной отдушине, схватился за чугунные полосы и, приподнявшись на мускулах, глянул: там, далеко над морем, вечерний дремотный туман, а здесь, близко у самой стены, часовой в своем твердом кивере шагает взад и вперед спокойно и мерно, как маятник.

А время уходит... Заволакиваются вечерней дымкою дали. Прозрачным туманом подернулись высокие островерхие кипарисы кладбища.

Янко упругим, цепким движением соско-

чил на каменный, жиденко-устланый соломою пол. Заметался в бессильном бешенстве! И столько клокотало в нем гасящей рассудок злобы, кажется, так и разбил бы череп сослепу об эту стену, с громадными ввинченными кольцами, — здесь швабы на цепях держали "важных" политических.

Но какая такая политика числилась за Янко Павловичем? А вот какая. Жил у него родственник в Каттаро. Янко бегал часто к нему в гости, благо из Негуша, напрямик через горы, пути — рукой подать. И ничего, сходило... Никогда никаких паспортов и пропусков не пытали. Но вчера вот у мола, — только что из Ругузы пароход пришел, — видит Янко австрийский жандарм бьет старую черногорку: "Не смей говорить по-сербски!" Янко, хоть и пятнадцатилетний, — на полголовы ростом был выше жандарма, приземистого немца из Граца... Жандарм кубарем отлетел от старухи на несколько шагов, а Янко схватили другие жандармы. Он — упираться, они — прикладами! Орленок, сверкая глазами, сыпал ударами направо и налево. Но, в конце концов, окровавленный, избитый весь, обезоруженный, —

револьвер отняли, — доставлен был к коменданту, гримировавшемуся под Франца-Иосифа, генералу Брюллеру. Дорогою жандармы поносили пленника!..

— Попался, нагорит же тебе, черногорский щенок!..

— Этот черногорский щенок под Тарабощем воевал, — огрызался Янко, — и турок укладывал из винтовки... Отец мой — четный знаменщик, лёг под Скадром, а вот вы, швабы, пятеро на одного, да еще с карабинами, — тут вы храбрые!..

Генерал — вылитый Франц-Иосиф, такой же голый череп тыквою, такая же грязная седина бакенов, — с места затопал ногами:

— Что? Оскорбить жандарма, жандарма его апостольского величества, при исполнении служебных обязанностей! Мерзавец! Мальчишка! Все вы, черногорское отродье, бунтовщики, всем вам на виселице место!.. Давно пора, ваше гнездо разбойничье... Как ты смел, отвечай, как ты смел поднять руку?..

— Я не знал, что цесарские жандармы воюют с беззащитными старухами! — смело, глядя прямо в генеральскую переносицу своими

круглыми глазами орленка, ответил высокий стройный мальчик, с гордой линией профиля и, как у взрослого, обозначившимся рисунком губ.

Генерал Брюллер забрызгал целым фонтаном слюны.

— Молчать!.. Все вы разбойники, все головорезы!.. Мы из вас выколотим этот проклятый мятежный дух!.. Отвечай, кто ты и что ты?.. Из чьей кучи[2]?

— Янко Павлович, из Негуша...

— Божо Павлович кто тебе?..

— Дед мой!..

— Так ты из этой змеиной породы! Твой дед — вор и грабитель!

— Неправда!.. Вором и грабителем Божо Павлович никогда не был. Что в Боснии, как было восстание, дед мой немало швабских носов порезал — это верно!.. И теперь ходят — меченые!..

— Убрать его, — "туда"! — затопал побагровевший комендант.

Мальчика "убрали".

2

Еще не успел прийти в себя комендант Бо-

ки-Которской, доложили ему о батальонном командире альпийских стрелков, бароне Троппау. Типичный офицер из австрийских немцев. Тоненький, выхоленный, бесцветно-изящный, выбритый, в светлых усах.

На коленях лежала мягкая шляпа с пером — головной убор альпийских стрелков.

— Эта операция должна производиться в глубочайшей тайне... Офицеры, не говоря уже об нижних чинах, — никто не должен знать, куда и зачем?.. Слышите, полковник...

Барон Троппау молча склонил голову.

— Будет удача, — я первый поздравлю вас с "Золотым Руном". У нас есть точные сведения, Ловчен — беззащитна. Ни артиллерии, ни пехоты. Ничего!.. Внимание черногорцев отвлечено албанцами. Малиссоры и миридиты — мы им послали пятьсот тысяч крон золотом — перешли черногорскую границу... Идиоты, грубые мужики, пастухи!.. Мы предлагали им за Ловчен двадцать миллионов. Не захотели — силой отберем!.. Это будет прекрасный подарок его величеству... В случае успеха — а в успехе я не сомневаюсь — легко будет оккупировать всю Черногорию... Мы

двинем из Сараева боснийский корпус. Ах, Сараево!.. Без слез не могу вспомнить... Бедный эрцгерцог!.. Мученический конец его. Но — близка расплата!.. Итак, дорогой полковник, благословляю вас обеими руками!. Жаль, что у меня только две... Трудна будет часть пути в гору, когда вы свернете с шоссе. Но ведь ваши альпийские стрелки...

— Они лазают по горам, как серны, — подхватил барон.

— Вот видите, чего же лучше!.. Сколько у вас ослов под артиллерию и вьюки?..

— Шестьдесят...

— Прекрасно!.. Завтра, к ночи выступив, к рассвету вы займете Ловчен. Да поможет вам Бог!.. Вышлите разведку... Можно будет снять черногорские посты. Да поможет вам Бог!

3

Темно в каземате...

Янко лежал ничком. Слезы жгучего бессильного бешенства катились из глаз. Он готов, пусть отрубят ему руку, только бы очутиться на свободе!.. Метался и бился, царапая гладкие, отполированные веками, плиты. Но что это? Янко случайно нащупал ввинченное

в камень железное кольцо. Он вынул из кармана серники, оглянулся на дверь, чиркнул спичку. Спешно, пока не погас сизый огонек, разгреб Янко солому. Кольцо ввинчено в средину квадратной плиты, и, заметно, — плита вынимается... Что это, вход в подземелье?.. Янко, упершись ногами, потянул за кольцо. Ни с места плита! Янко изо всей силы дернул. Горячая кровь в лицо хлынула от напряжения. Плита нехотя сдвинулась. Еще усилие — и квадратное отверстие, зиявшее даже в темноте своей чернотой, пахнуло снизу сыростью. Янко, лежа, чиркнул спичку. О, какая зловещая темень!.. Дорога в ад и та краше... Ветхая лесенка, подгнившая, поросшая грибной плесенью...

Была не была, — перекрестившись, надвинув плотней свою круглую черногорскую шапочку, юноша спустился вниз. Смелей — чего тут!.. Кто его хватится ночью?.. Счастье, что с ним серники. А то легче легкого разбить голову среди этой крошечной тьмы о каменный выступ низенького грота. Порою ползти приходится — такая теснота. Янко полз — долго ли, мало ли — где уж тут знать... Здесь мину-

та сойдет за вечность, а вечность покажется минутой.

Уперся во что-то. Зажег спичку — увидел полукруглую калитку, перекрещенную ржавыми полосами. Замка нет. Был — только гнездо осталось. Потянул на себя Янко — диводивное, — подалась калитка. И свежим воздухом пахнуло, и краешек звездного неба глянул.

Калитка почти упиралась в изрытую морщинами скалу. Янко — раздумывать не приходится — полез наверх. Добрался до первой площадки — передохнуть можно... Глянул оттуда — весь городок на ладони, светящейся подковою охватил бухту.

Неужели спасение? Не надо терять ни минуты. Ободрал себе ногти в кровь, невелика беда, только б успеть! Все выше и выше Янко. Уже ничего не видит, кроме голых нагромождений, мертвых хаосов поднимающегося к ночным небесам гранита. Скоро пошли знакомые тропинки меж глыбами камней и чахлым кустарником. Этой кратчайшей дорогою спускаются черногорцы Негуша в Боку-Которскую к родичам своим и за покупками. Еще

подняться немного вверх, и Янко перейдет, вернее, вскарабкается через границу. Одно слово — граница. Сам черт не установит ее среди этих серых, отвесных скал. А там, высоко в серебристом венце из прозрачных облаков, сияет вечными снегами острый купол святого Ловчена... И загорелся весь приливом новой энергии мальчик, и словно окрыленный бодро продолжал свой головоломный путь. Тихо так, торжественно тихо в горах... Шуршание каждого камешка под ногами явно слышится... И среди этого немого безмолвия грубый окрик:

— Halt!..

Нанесла же нелегкая! Мальчик напоролся на одного из охраняющих границу австрийских жандармов. Эх, если б револьвер!..

— Halt!..

Уже совсем близко. Сотня шагов. Блеснул огонек. Перекликами раскатился в горах выстрел. Янко вовремя успел припасть к земле. Пуля, просвистев над головою, ударилась о камень и сплюсцилась. А теперь — помощи Царица Небесная — на тебя вся надежда. И в один миг, лежа, вспомнил Янко все рассказы

сточетырехлетнего деда Божо о разных военных хитростях. Вспомнил и прикинулся мертвым. Жандарм спешит, осыпаются под ногами камни... Видит мальчик ненавистную каску с цесарским орлом. Жандарм ткнул свою жертву карабином... Зашевелились жесткие усы в торжествующей улыбке... Жандарм наклонился — пошарить в карманах, не найдется ли чего?

Янко вскочил вдруг и, схватив шваба за горло, стал душить... Ошеломленный жандарм выпустил карабин. Сводились судорогою лицо, руки, он терял сознание. И когда разжал пальцы Янко, шваб грузно опустился на землю... Янко — это было дело одной минуты — отстегнул у жандарма обе патронные сумочки, поднял карабин, сбросил с кручи неподвижное тело в мундире, а сам скорей все выше и выше, пока этот одинокий выстрел-сигнал не накликал других жандармов...

4

Возле кулы[3] Божо Павловича — всегда народ. Интересно послушать человека, помнившего короля Николая ребенком. А тогда

Божо Павловичу уже шел пятый десяток. Считали его славным юнаком. Кривым ножом своим без счета поснимал он турецких и албанских голов. Да и в последнюю войну отличился старый Божо. Одиннадцать турецких носов и ушей, как грибы засушенных, принес из-под Тарабоша в свой Негуш. И дивился Божо, слыша крутом, что теперь уже так не воюют и резать носы — это не по правилам.

Упрямый Божо и знать ничего не хотел...

— Меня переучивать поздно! А вот вы с вашими "правилами" перебейте столько народу, сколько я на своем веку нарезал турок да арнаутов!..

В этом на всей Черной Горе не мог никто с Божо Павловичем потягаться... Где уж тут?..

Княжич Мирко показывал дедушку Божо военным агентам. Узнав, что ему больше ста лет, эти офицеры с "иностранства" пришли в восторг, жали дедушке руку, и немедленно был вызван фотограф. Портрет сухощавого с седыми усами и громадным револьвером за поясом старика обошел все французские и английские журналы.

В эту тихую звездную ночь Божо с трубоч-

кою в зубах — все до единого целы — сидел у себя на завалинке. Подошел начальник почтовой станции, видный мужчина, с открытым лицом, черными, как два жгута, усами и в красной, расшитой золотом, безрукавке. Стройная смуглая девушка Милена, с двумя, до колен толстыми, косами, внучка Божо и старшая сестра Янко, вынесла из кулы на подносе в крохотных чашечках черную "кафу".

— А где ж это Янко? — спросил Милорд Цемович, начальник станции.

— Загостился в Которе. Делать нечего постреленку... — отозвался Божо.

Подошел младший, одиннадцатилетний внук Милослав, стройный и гибкий мальчишка — две капли воды Янко.

— А ну, давай ягатаны, — приказал дед.

Внук вернулся с двумя кривыми кинжалами, в богатой оправе и с усыпанной бирюзой рукоятью. Любимым развлечением Божо были уроки фехтования, которые он давал внуку. Внук нападал, дед защищался. Сидя и не меняя позы, дымя трубочкой, дед шутя, коротким движением отбивал все не по летам серьезные и стремительные атаки мальчика.

— Добрый будет юнак, — одобрял дед. — Не сегодня завтра велит господарь идти на швабов — все пойдем, и будет и тебе работа...

Как зачарованный стоял в своей котловине маленький Негуш, эта первопрестольница земли Черногорской. И поднимались отовсюду, со всех сторон голые, безмолвные скалы, и чудилось, что за их твердынею кончается мир и начинается загадочная, непроницаемая вечность. А дальше мягким и нежным, как сновидение, силуэтом намечается среди звездных небес острым пиком Ловчен-Планина.

Пустынны извивы исчезающей в горах шоссейной дороги. Оттуда кто-то бежит скоро-скоро.

Первым распознал дед Божо.

— Янко оглашенный!.. И не один, а с пушкой[4].

Долго не мог отдышаться Янко, так запыхался... И поняли все — неспроста бежал.

— Что случилось?

— Швабы идут, из Котора. Целый батальон, и топы[5] с ними на магарцах. Сам видел!.. Я напрямки шел, они — по шоссе. Через

час до Чертовой Петли долезут... А там — на Ловчен!..

— Да ты с ума сошел! — прикрикнул дед, вскакивая, опрокинув табурет с кофе и по привычке хватаясь за револьвер у пояса.

— Своими глазами, деду... Меня швабы в каземат кинули... Вырвался вот... прибежал!..

Под седыми пучками бровей засверкали глаза старого Божо.

— Сейчас же, в засаду... Все, кто есть в Негуше... Не дадим Ловчена!

Оба внука побежали по всем кулам... Кто не спал еще, тотчас же выбежал с винтовкою, а кого разбудили, наскоро одевшись, на ходу пристегивал утыканный патронами пояс.

Сборный пункт у кулы старого Божо. Сгустилось человек восемьдесят.

Старики, пожилые, молодежь и даже момчата[6]. Божо, высокий, худой, командовал:

— Заляжем в горах... Дадим подойти близко. И когда станут подыматься у Чертовой Петли, одни будут бить их в "голову", другие в "хвост". Тогда мы их скорее смешаем...

Черногорцы бегом, с винтовками бросились по шоссе. И потом, растянувшись чело-

веческой лентою, стали подниматься вверх на громоздившиеся к небесам скалы...

Впереди всех Божо — с внучатами.

5

Даль и простор...

Бог знает, какая низина там, под ногами!.. Зеркалом стынет Которская бухта. Светлячками горят огоньки. И всюду, где хватает глаз, обступили горы и воды и старый, притиснутый ими к своему берегу Каттаро. А дальше — необъятная ширь Адриатического моря, тающего в серебристом тумане.

И над всей этой Божьей красою, такой величавой и дивной, что даже не веришь в нее, — темное небо с ярким мерцанием южных звезд.

Распластались цепью юнаки. Серые тела их слились с такими же серыми камнями. Зорко всматривались вниз орлы и орлята. Ни слова, ни звука. Хоть бы случайно стукнула о камень винтовка...

Затаились, ждут... Недолго теперь... Там, внизу, на добрых полкилометра черной шевелящейся змеею растянулась колонна альпийских стрелков и движется, медленно всполза-

ет вверх по шоссе. У многих юнаков до боли, до сердцебиения, шибко-шибко стучит в груди, чешутся руки послать пулю наверняка в эту швабскую гущу. Но сигнал даст своим первым выстрелом дедушка Божо. Он лучше знает, когда начинать. Он залег там, где надо встретить свинцовым гостинцем "голову", и по бокам его расположились два счастливых, гордых таким соседством, внука. Янко снимает свой добытый у австрийского жандарма манлихер.

Где он теперь, шваб? Скатился в бездну — не соберешь и костей... Весь в клочья, поди, изорван!..

Колонна старается соблюдать наивозможную тишину, но сюда, вверх, доносится глухой шум шагов тысячи мерно шагающих человек. Тихие окрики офицеров.

Угольками вспыхивают их сигары... Цокают по камням копыта ослов, навьюченных митральезами.

Колонна живым существом круто сворачивает с шоссе в гору. Подъем стал сразу труднее.

Божо прицелился... Короткий выстрел,

эхом отдавшийся в горах. И чья-то фигура, качнувшись, упала с маленькой горной лошадки. Это был батальонный командир барон Троппау.

Выстрелы по всей линии, но главный огонь сосредоточился на флангах.

Колонна смешалась. Раненые ослы метались, расстраивая ряды. Каждый залп выхватывал из гущи десятки альпийских стрелков. Офицеры забегали вдоль колонны, пытаясь предотвратить панику. В бешенстве и в страхе колотили они солдат револьверами, приказывая открыть огонь. Отвечать на выстрелы можно было лишь наудачу. Невидимый враг там, наверху, искусно пользовался под прикрытием каждым выступом, каждым камнем, каждой гранитной морщинкою.

Главная часть, уже поднимавшаяся в гору, особенно пострадала от меткого огня. Убитые и раненые стрелки падали вниз, сбивая задние ряды.

Офицеры наладили несколько беспорядочных залпов. С визгом сыпались, ударяясь о камни, австрийские пули, но убыли от них черногорцам не было. Юнаки едва успевали

заряжать свои винтовки с разгоряченными до обжога стволами. Каждый залп так и косил австрийцев. Растрепанный батальон редел с минуты на минуту. Уже почти все офицеры выбиты, уже осталась едва ли половина нижних чинов. Многие стрелки арьергарда, бросая винтовки, бежали назад, вниз, спотыкаясь и падая, чтоб никогда не встать больше...

Черногорцы все продолжали косить неприятеля. У самих же — несколько раненых и то неопасно. Кого в плечо, кого — в руку.

Сквозь ружейную трескотню слышалось по-сербски:

— Сгода!.. Сгода...

Австрийцы сдавались, только б грозный, невидимый враг прекратил эту страшную бойню.

Уцелевшие офицеры пытались образумить солдат, хотели обстреливать скалы из митральез, но обезумевшие солдаты, забыв всякую дисциплину, отвечали прикладами...

Божо принял сдачу. Но, чтоб не случилось коварства, потребовал сверху, мощно гремел его голос, чтоб швабы несли в одну кучу свои

винтовки. Ошеломленное стадо, — полчаса назад оно было стройной, щетинившейся плоскими штыками колонной, — повиновалось. И тогда черногорцы спустились к ним и погнали впереди себя остатки безоружного батальона. А горсточка юнаков грузила ослов швабскими манлихерами.

— Ну, что, добыли Ловчен, подлые австрияки? — слышалось там и сям среди черногорцев. Альпийские стрелки в своих шляпах с перьями, с иголки одетые, в новеньких, куцых мундирах и узких штанах, злобные, пристыженные, молчали, по привычке машинально отбивая такт.

Раненный в плечо шальной пулею, Янко сторяча не почувствовал боли. Кое-как перевязанный дедом, вернулся в Негуш. И уже там свалился в родной куче.

Его свезли в цетиньевский госпиталь в бывшем кадетском корпусе. И он лежал в том самом классе, в котором учился назад тому два с половиною года, еще до турецкой войны.

И однажды утром, когда он смотрел на черную классную доску, почему-то до сих пор не

вынесенную, к его изголовью подошел, в сопровождении адъютанта и доктора, плотный широколицый старик в черногорском убранстве.

— Ну, как здоров, мамче?..

— Хвала, государь! — улыбнулся орленок, пытаясь приподняться.

Король Николай, коснувшись здорового плеча Янко, поцеловал его в лоб и положил ему на грудь орден...

А в окно, среди ясного дня, глядел со своих далеких высей гордой снеговой вершиною недоступный и прекрасный, как алтарь неведомых, заоблачных богов, — Ловчен...

ЛЬВЫ ФЛАНДРИИ

1

Чуть ли не в самый день объявления войны карabinieri бельгийской жандармерии обыскали один из громадных шестиэтажных домов. На чердаке нашли полное обмундирование для двух тысяч немецких солдат. Каски, синие мундиры, шинели, карабины — все! Расчет наводнявших Бельгию немецких шпионов был ясен. По данному сигналу две тысячи мирно живущих в Антверпене пруссаков с трансформаторской быстротою превращаются в вооруженных солдат — и мало ли какие могут быть последствия?..

Но немцы частью высланы из Бельгии, частью взяты под стражу как военнопленные. Две тысячи винтовок розданы обывателям. Сильный своей техникою и своими полчищами враг уже бомбардирует геройски отбивающий его атаки Льеж. Сегодня Льеж, завтра — Антверпен. И все способные носить оружие бельгийцы превратятся в вольных стрелков.

Обмундирование прусских солдат — каски, мундиры, шинели — отданы были воен-

ной властью в распоряжение города и свежены в ратушу.

Бургомистру доложили, что его хочет видеть Клод Мишо.

— Просите!..

Клода Мишо знал весь город. Это был укротитель в антверпенском зоологическом саду. По праздникам, когда собиралось много публики, Клод Мишо, согнав в одной общей клетке всех своих диких зверей, заставлял их проделывать разные мудреные штуки.

Бургомистр, пожилой человек с бледно-восковым цветом лица человека сидячей жизни, принял Клода Мишо в своем громадном кабинете со стрельчатыми окнами и монументальными сводами. Все было старинное и тяжелое. И вместо теперешнего человека в таком прозаическом нынешнем сюртуке здесь более к месту был бы другой бургомистр, сошедший с портрета Франца-Гальса, в белом жабо и в строгом черном камзоле со вздувшимися рукавами.

Клод Мишо напомнил старый, перенесший на своем веку немало ураганов и бурь, но все еще сильный и мощный дуб. Он был

высок, плечист, и лицо с крупными чертами, все в глубоких шрамах, отличалось когда-то красотой. Длинная грива седых волос, мягкий, расстегнутый воротник рубахи, плисовая куртка и высокие шнурованные сапоги — все это сообщало Клоду Мишо какую-то особенную артистически-цирковую величавость... Сразу угадывался укротитель. И укротитель с блестящим прошлым... Успех, поклонение женщин, громадные плакаты, расклеенные повсюду... Так оно и было...

— Здравствуйте, Мишо, садитесь... Как поживают ваши звери?.. Впрочем, виноват... Разве можно теперь назвать зверями ваших львов и тигров? Настоящие звери — там, под Льежем. Двунogie звери, выпущенные на свободу своим укротителем Вильгельмом. Они выкалывают мирным жителям глаза, режут им уши, язык, отсекают женщинам груди. Бедная Бельгия!.. Какие испытания ждут ее еще впереди? — вздохнул бургомистр. — Но будем верить в торжество света и правды над грубой насильнической тьмою диких варваров... Господь Бог послал нам обаятельного короля-рыцаря, короля-солдата. Его величе-

ство искусно руководит обороною Льежа, и там, где самый адский огонь, там король — первый из первых, храбрейший из храбрых... Но что с вами? — почти с испугом спросил бургомистр, видя, что старый укротитель весь дрожит, гневно сжимая свои громадные кулаки. Его лицо в шрамах исказилось бешеной злобою, и сверкали под широкими, седыми бровями глаза.

— Ах, господин бургомистр, во мне все кипит! Я и прежде не питал особенной нежности к этой подлой тевтонской расе, а теперь... я не могу равнодушно слышать... При одном имени их — черт знает что со мною творится!.. Палачи, подлые негодяи, убийцы!

Едва успокоился Клод Мишо. Потом спросил:

— Как вы думаете, господин бургомистр, они докатятся сюда к нам, под стены Антверпена?..

— Увы, это, в конце концов, неизбежно, — печально развел руками бургомистр. — Сколь ни доблестна бельгийская армия, сколь ни талантлив верховный вождь, но неприятельские орды несметны. Они задавят нас! В ко-

нечном итоге Бельгии не видать им, как ослиных ушей своих... Наши славные союзники и с востока, и с запада спасут Бельгию. Но пока... временно...

Клод Мишо сидел с минуту, опустив голову, что-то соображая. Взгляд его, устремленный куда-то вбок, был почти безумный.

Бургомистру сделалось жутко. Он вспомнил рассказы о странностях Клода Мишо — странностях, граничивших иногда с ненормальностью.

Укротитель быстро поднял голову и, откинув назад седую гриву седых волос, молвил:

— Господин бургомистр, у меня к вам большая, большая просьба...

— Я к вашим услугам, Мишо. И если могу чем-нибудь...

— Это — сущие пустяки, господин бургомистр... Прикажите выдать мне полную обмундировку для дюжины германских солдат, конфискованную на чердаке... Полную!.. Мундиры, панталоны, каски...

— Зачем вам все это, Мишо?..

— Необходимо, господин бургомистр, уверяю вас.

"Да это действительно какой-то чудак", — мелькнуло у бургомистра.

— Ладно, милый Мишо. Я исполню вашу просьбу, не допытываясь никаких объяснений. Я лично знаю вас около десяти лет. Один только вопрос... Ведь это должно послужить во вред немцам, не правда ли?..

— Можно ли сомневаться, господин бургомистр! Конечно, во вред! Будь они прокляты все! Да разразится над их головами погибель!..

— Вы можете получить просимое в любое время.

— Благодарю вас, господин бургомистр, от всего сердца! Сегодня же пришлю моего помощника. Он свезет...

"Чудак-человек! Чудак"! — подумал, качая головой, бургомистр, и уйдя целиком в лежащие перед ним бумаги, тотчас же забыл про Клода Мишо.

2

Это было назад тому много лет. Тогда Клода Мишо никто не знал. Знали стяжавшего себе легендарную известность Антонио ди-Кастро. Этот псевдоним звучал красивей, чем

Клод Мишо. Молодой, богатырски сложенный красавец, Антонио ди-Кастро работал с труп-пою хищников своих во всех выдающихся цирках Европы, Америки, северной Африки. Ему везло. Все его выступления сопровождались успехом и горстями золота, которое он расшвыривал не считая. Безумно дерзкий со своей звериной трупшой, Антонио ди-Кастро неоднократно подвергался нападению тигров, львов и пантер. Он отлеживался, несокрушимое здоровье, в конце концов, брало свое, заживали и затягивались глубокие следы когтей и страшных царапин... И Антонио ди-Кастро вновь появлялся, играя со смертью на глазах многолюдной толпы, то замирающей, как один человек, то бешено ему рукоплещущей.

Это не жизнь была, а сплошной феерический праздник, хотя и балансирующий на краю какой-то страшной бездны... Но в этой вечной опасности, в этих нервных встрясках — в этом и есть настоящая красота переживаний.

Знаменитый бельгийский укротитель, прятавшийся благозвучности ради под ита-

ло-испанским псевдонимом, Антонио ди-Кастро, этот кумир женщин, влюбился сам, наконец, чистым и бережным чувством в хрупкую, грациозную балетную танцовщицу, выступавшую в феерии в том самом цирке, куда приглашен был на весь зимний сезон укротитель. Но эту любовь растоптал грубо, отвратительно соперник его, партерный гимнаст Ганс Мейер, немец из Ганновера. Этот Мейер конфетно-смазливый циркач — усы стрелкою и напомаженные волосы с боковым пробором и капулем[7] — увлек юную танцовщицу. И вовсе не потому, чтобы она ему нравилась, а желая насолить укротителю...

"Ты — модная знаменитость, имеешь такой успех, тебя рекламируют аршинными буквами, так вот — получи!.."

Партерный гимнаст сманил девушку, уехал с нею и вскоре выгнал бедняжку, когда она готовилась сделаться матерью... Несчастливая отравилась.

Антонио ди-Кастро носился по всей Европе, гоняясь за человеком, похитившим его счастье. Нагнал он его в Барселоне.

Ганс Мейер гримировался в уборной перед

выходом, гримировался так, словно это был не акробат, а актер. Подводил глаза, румянил щеки. Распахивается дверь, и стремительно входит ди-Кастро, бледный, горящий весь. Тотчас же закрыл дверь на крючок. Этот визит не сулил ничего хорошего... Ганс Мейер, ошеломленный, побелевший сквозь румяна, лепетал срывающимся голосом:

— Позвольте... Сейчас мой выход... На каком основании!..

— Успеешь! А пока выбирай — любой из них!..

И Антонио ди-Кастро протянул партерному гимнасту две испанских навахи.

— Что это?.. Я ничего не понимаю... — бормотал Ганс Мейер.

— Сейчас поймешь! Один из нас останется здесь в этой уборной. Начинаем!..

Но немец вовсе не хотел "начинать". Бросился к дверям:

— Помогите!..

Поведение трусливого подлеца возмутило Клода Мишо. Острой, как бритва, навахою он полоснул партерного гимнаста по горлу... Суд приговорил убийцу к десяти годам каторги.

Клод Мишо был сослан в Це-уту, где в течение десяти лет волочил за собою ядро, прикованное цепью к ноге. Отбыв наказание, состарившись, с поседевшей головою, разоренный, нищий, возвратился Мишо на родину. В Антверпене ему удалось пристроиться в зоологический сад на скромную должность чего-то среднего между надсмотрщиком за дикими зверями и укротителем. Вся жгуче выстраданная катастрофа не могла не оставить следов. Это выразалось в кое-каких странностях, в прямо болезненной привязанности Мишо к своим хищникам и в такой же болезненной ненависти к германскому племени и всему германскому.

Особенным благоволением старого укротителя пользовались жившие в одной клетке берберийские лев и львица, Сарданапал и Зарема. Он проводил с ними целые часы. И эти царь и царица пустыни были покорны и послушны ему, как ручные котята. Сарданапал и Зарема ластились, шаршавым, влажным языком своим лизали ему руки. Сарданапал, взиравший из своей клетки на все и на вся с поистине царственновеликолепным презре-

нием, отражавшимся и в чертах громадной косматой головы, и в желтых сузившихся зрачках, на одного Клода Мишо смотрел с умной, почти человеческой ласкою.

Мишо подолгу разговаривал со своими любимцами. Лев и львица по-своему понимали его. Он угадывал их сочувствие и тому, что его первая и единственная любовь была так низко и гнусно поругана, и тому, что десять лет каторги были сплошным кошмаром, и тому, что уцелевший остаток разбитой, надломленной жизни одинок, угрюм и не согрет никакой другою, кроме их звериной, привязанностью...

Вся многочисленная прислуга зоологического сада, сторожа и надсмотрщики решили, что укротитель, у которого и без того "не все дома", теперь окончательно помешался. Ранним утром, когда весеннее солнце вставало где-то далеко за роскошным каменным городом и, проснувшееся, рдело розоватыми огоньками на острых верхушках кафедрального собора, когда в зоологическом саду не было еще ни души и сторожа в форменных кепи подметали дорожки, человек, называв-

шийся прежде Антонио ди-Кастро, входил в львиную клетку, таща за собою набитое соломою чучело германского солдата. Гигантская кукла с разрисованным лицом, в каске с императорским орлом, в синем однобортном мундире и в черных штанах с красным кантом прислонялась к стене.

Клод Мишо — и Сарданапал, и Зарема понимали его язык — нашептывал им что-то, гладил их головы, как гладят комнатных собак, и указывал на куклу германского солдата. Лев и львица, спружинившись гибким мощным телом своим, одним прыжком через всю клетку кидались на куклу и начинали ее терзать. Откатывалась прочь твердая каска, сплюснутая ударом лапы; мундир, штаны — все это летело и разрывалось в клочья, и спустя минуту от чучела оставались разбросанная по клетке солома да обрывки сукна с висящими кой-где на ниточках пуговицами.

В награду Сарданапал и Зарема получали большие куски сырого мяса.

Натаскиванье продолжалось изо дня в день каждое утро. Потом Клод Мишо нарочно стал делать перерывы. Однажды лишь по ис-

течении десяти дней впервые вошел ко львам с куклою. Но результат был прежний.

Львы содрогались от нетерпения. Далеко в прозрачном утреннем воздухе неслось их глухое рычанье. Клод Мишо еще не успел поставить чучело, как львы уже кинулись в яростную атаку на германского солдата.

И старый укротитель смеялся тихим, каким-то внутренним смехом. И глаза его горели безумием...

3

Германский Голиаф в бешенстве неудач своих решил какой угодно ценою раздавить отчаянное сопротивление бельгийского Давида.

Немцы обложили Антверпен, стянув громадный осадный парк. В нескольких километрах от передовой линии фортов поставили они на бетонных площадках чудовищные орудия, "последнее слово" дьявольской кузницы Круппа.

Прекрасному, гордому Антверпену, с его прямыми широкими улицами, монументами, бульварами и площадями, грозила участь сожженного Лувена.

Горсть отважных войск гарнизона, ведомая к славе бессмертия героическим королем своим, отражала всё ближе и ближе подкатывавшие волны германских шести корпусов.

Красивая мужественная фигура короля Альберта поспевала всюду. То он мчался на запыленной машине и сам в пыли, через город к фортам, где германцы сосредоточили самый яростный огонь, то спешил куда-то верхом без свиты, как простой офицер, в сопровождении одного ординарца. Король посещал раненых, ободрял население города и вместе с хранителями музеев выбирал наиболее ценные сокровища искусства для отправки в Лондон, чтоб не стали добычею варваров и не погибли от снарядов, залетающих все чаще и чаще в самые центральные кварталы.

Особенно тягостна была разлука с громадными картинами Рубенса, на протяжении столетий висевших в кафедральном соборе, в мистических потемках важного и строгого полумрака. Эти благородные, потемневшие от дыхания веков холсты пришлось вырезать, и все, кому выпало наблюдать это, не могли удержаться от слез... Им казалось, что

это вырывают с мясом и кровью кусочек их собственного сердца.

А за цветными, спаянными свинцом стеклами узких, заостренных окон гремела такая оглушительная канонада — чудилось, вот-вот разорвутся не выдержавшие этого адского грохота небеса.

Ценою страшных потерь и жертв, всползая по грудам своих же трупов, скошенным метким огнем бельгийских стрелков и полевой артиллерии, овладели немцы частью фортов. Им стало легче и ближе отсюда обстреливать город. И они засыпали его потоком свинца и стали. Бешено разворачивали все на своем пути чудовищные снаряды. Уже разнесен в мельчайшие дребезги мрамора памятник Ван-Дейку, и на месте его зияло среди асфальтовой площади хаотическое дуло, в котором мог бы спрятаться взвод солдат. Легкие, кружевные фасады особняков и дворцов, старинные здания — все это рушилось, превращая нетленный человеческий гений в нагромождение камней.

Кто только мог, покидал город. Объятые страхом беглецы бесконечными толпами на-

правлялись — одни в Голландию, другие — в Остендэ, где ждали их английские транспорты.

Потерпел и зоологический сад.

Снаряд взорвался в загородке, где лениво бродил и валялся по целым дням в тине безобразный, массивный, с засохшей на его панцирной коже грязью, носорог... И видели, как вместе с тучею земли взметнулось высоко в воздухе бесформенной массой чудовище. И через мгновение, когда все кончилось и люди подошли к загородке, там и сям на разрыхленной влажной почве валялись клочки окровавленного мяса. А часть головы носорога, допотопной, нелепой головы с крохотными глазками, плавала на другом конце сада в бассейне для белых медведей.

Можно было с ума сойти...

Грохот непрерывной канонады, не смолкавшей ни днем ни ночью, приводил в смятение всех пенсионеров зоологического сада. Как одержимые сатаной, метались по своей клетке черные пантеры... Отвратительный рев глупых верблюдов, вой гиен и шакалов, рыканье львов и тигров, стонущие, совсем

детские рыдания громадных австралийских сов и сычей, беспокойный орлиный клекот — все это, сливаясь вместе, могло растрепать самые крепкие нервы. И дикие звери, и домашняя тварь, и птицы, и обезьяны — все это худело, теряя аппетит и сон. Даже отличавшиеся прожорливостью бенгальские тигры отворачивали седоусые, с отвисшими "баками" морды от сырого мяса.

И животные, и люди, приставленные к ним, потеряли головы. Не потерялся один только Клод Мишо. Он знал что-то свое, затаенное, чего никто не знал. И когда все надсмотрщики прятались, чаще и чаще попадали снаряды, и за носорогом вскоре погиб весь развороченный хрупкий обезьяний домик в стиле индийской пагоды, только один Клод Мишо не боялся. И в свободное время от общества своих друзей, львов, он, с какой-то странной улыбкой и с зажигавшим глаза вдохновенным безумием, прогуливался в пустынном саду, обходя дорожки в местах, глубоко развороченных снарядами. Иногда он останавливался, поднимал осколок металлического "стакана", вертел его с тихим беззвуч-

ным смехом и грозил кому-то в пространство своим громадным кулаком...

4

Антверпенские дни подошли к перелому. Настал момент большой важности. Предстояло бельгийцам одно из двух: либо защищать город до последнего человека и (в конце концов, вопрос лишь времени) отдать немцам Антверпен, верней то, что называлось Антверпеном, либо отступить, сохранив и армию и пока еще мало поврежденный неприятельской бомбардировкою город.

Военный совет под председательством короля дал приказ отступить.

Ни одного орудия не оставили бельгийцы в виде трофея германским корпусам. Спокойно, как на параде или на маневрах, отступали доблестные львы Фландрии. Пестрая лента бельгийской армии тянулась через весь Антверпен, исчезая где-то в прибережных далях. Колонна за колонною, быстро и с верой в конечное торжество шла пехота. Линейные части в лихо сдвинутых на затылок мягких кэпи, стрелки в черных клеенчатых киверах, королевские карабинеры в живописных бере-

тах... Вереницею двигались автомобили с митральезами и пулеметами, запряжки в несколько пар слоноподобных арденов тянули осадные, с длинным хоботом орудия и короткожерлые гаубицы. Вслед за отважной конницей, не раз сметавшей и рубившей немецкую кавалерию, увозили раненых, кого только могли захватить с собою, чтоб не достались на зверское глумление временному победителю.

Королевский автомобиль замыкал арьергард этого почетного, в образцовом порядке, отступления. Мрачный сидел король. Но это не была мрачность уныния. Бельгийскому монарху тяжело было видеть густые беспорядочные толпы беглецов, куда глаза глядят покидавших Антверпен. Двумя человеческими потоками горя и бездомовья катились беглецы вместе с уходившей армией.

Женщины с грудными детьми, старухи, навьюченные узлами, хватались за подола матерей и старших сестер малые ребятишки. Все это спешило прочь, гонимое слухами о невероятной жестокости прусских варваров.

Не успел королевский автомобиль очу-

титься за чертою города, с противоположного конца уже вступил в Антверпен немецкий авангард, кирасирский эскадрон, ведомый одним из бесчисленных германских принцев. Эти кирасиры не были ни разу в боях. Их берегли для "декоративного впечатления". Вот почему и конский состав, и всадники — все это было здоровое, крепкое, холеное. Мундиры с иголочки. На касках сияли под осенним солнцем новенькие императорские орлы. Под касками спесиво топорщились кверху белесые, жесткие усы. И у всех одинаково, начиная с командовавшего эскадроном принца и кончая последним рядовым. И все они старались походить на своего "кайзера".

Бомбардировка стихла. Однако германские артиллеристы, не по разуму усердные, продолжали посылать в город, беззащитный, сдавшийся, одиночные выстрелы. Тягучими басовыми перекликаками "ухали" орудия с бетонных платформ. Один снаряд, слава богу, не разорвавшийся, "контузил" кафедральный собор, незначительно повредив кружевную орнаментику фасада. Другое стальное чудовище, зарывшись в самом центре зоологическо-

го сада, разворотило осколками тигровую клетку. Полосатые хищники — одна лишь тигрица осталась на месте — получили свободу. Гигантский бросок желто-черной сбитой массы, и старый бенгалец перемахнул через высокую, в два человеческих роста, проволочную сетку. Свалив длинного жирафа, перегрыз его тонкую шею, жадно упиваясь горячей кровью...

Остальные тигры очутились на улице — широкой, прямой, с зеркальными витринами. В панике бежали от них люди. Началась кровавая охота дикого зверя джунглей за культурным городским человеком...

Экстренные прибавления газет, последних бельгийских газет, — пока войдут немцы, — оповещали о сдаче крепости и города. Клод Мишо, пробежав летучку, сказал себе мысленно: "Теперь наступило время"...

И глаза его, и каждый шрам лица с крупными чертами смеялись торжеством безумия. Он зашел к себе в свой маленький охотничьего стиля домик, вынул из громадного револьвера холостые патроны, которыми оглушал зверей во время "работы", и вложил

боевые.

А через несколько минут забившиеся в домах у себя антверпенцы были свидетелями необычайного зрелища, и не веря глазам, бледные, испуганные, смотрели из окон.

Посредине вымерших улиц медленно двигался высокий старик с длинной гривой седых, непокрытых волос. А по бокам его неслышно и мягко ступали когтистыми лапами лев и львица, покорные своему господину, как гигантские псы.

Они были царственно-величавы, как у себя в пустыне.

И вот встретилось лицом к лицу это шествие с авангардным эскадроном прусских кирасир. Человек со львами остановился... Лошади, почуяв хищных зверей, в тревоге храпя и фыркая, дрожали всем телом, пятясь, вздымаясь на дыбы, нарушая стройность колонны. А когда раздалось из широко раскрытых пастей страшное, глухое рыканье, паника и сумятица воцарились полные... Дрожащим голосом призывал принц эскадрон свой к порядку и дрожащей рукою пытался вынуть револьвер... Но тысячный гунтер его, дав

"свечку", опрокинулся навзничь вместе со всадником.

Клод Мишо выпустил своих львов на синие мундиры и остроконечные каски. Сарда-напал и Зарема — один гигантский прыжок за другим — уже метались посреди этой расстроенной человеческой и лошадиной гущи. Взмахом лап дробились черепа... Еще взмах, и вместо лица — кровавые лохмотья, без глаз... Львы разгрызали обезумевших кирасир, яростно разрывая в клочья этих крупных, дородных людей. А человек с седой гривой, с каким-то диким клокотанием в горле, неустанно разряжал свой револьвер, и с каждым выстрелом падал всадник, до которого еще не дошел черед ужасных когтей и клыков.

В пятистах шагах выстроились автомобили с пулеметами и прислугой, не понимающей, что случилось и какая дьявольская кипень там творится? Лейтенант, красный от возбуждения, заорал что-то исступленным голосом. Пулеметы затрещали, и под неприятные звуки "така, така, така" свинцовый дождь хлынул, кося своих и "чужих".

Широкая улица от края до края загромодилась гороподобной баррикадой лошадиных и человеческих тел. И на этом холме теплого, окровавленного мяса выли последним предсмертным воем пронзенные десятками, сотнями пуль Сарданапал и Зарема...

Эти же самые пули сразили в общей адской бойне и старого укротителя. Он лежал, раскинув руки, лежал лицом вверх. Пряди серебряной гривы слиплись от крови. Но не печатью смерти, а ликующим победным торжеством дышали застывшие черты Клода Мишо.

Антонио ди-Кастро отомстил...

ТАТУИРОВАННЫМ БОРЕЦ

1

Художник Иван Соколов работал в своей мастерской.

Большая квадратная студия с целым океаном верхнего света, потоками вливавшегося в громадное, чуть ли не во всю стену окно. И видны были в это окно по-осеннему оголенные верхушки деревьев академического сада.

Соколов с гордым резким профилем античного красавца, атлетически сложенный брюнет в белой вязаной спортсменской "гимнастерке", писал картину "Привал амазонок в лесу после битвы". Ведьмоподобные старухи перевязывали молодых амазонок, раненных в бою. Отважные, с упругим, мускулистым телом женщины осматривали свои копья и короткие мечи с еще не засохшей кровью. Чья эта кровь? Косматых сатиров, неведомых людей соседнего племени, или дерзких, не знающих страха центавров? Поодаль в тени гущи гигантских деревьев — табун диких степных коней, в мыльной пене, разгоряченных и с влажными трепещущими ноздрями.

Талантливый живописец, Соколов кроме блестящей техники владел еще дивною таинной проникновением в пленительный мифический мир бесконечно далеких от нас легендарных веков. Из тьмы и глубины тысячелетий он воскресил, заставил жить на полотне и этот девственный лес с деревьями, непохожими на нынешние деревья и однако же деревьями, и этих воинственных женщин, предпочитавших звон мечей и победные клики объятиям...

Соколов положил два-три мазка на коричневый, выжженный солнцем, костлявый торс ведьмообразной старухи, подчеркнув и усилив ее отвратительную худобу.

Он отступил на несколько шагов от картины и, прищурившись, искал "гармонии общего".

Обыкновенно требовательный к себе, Соколов на этот раз остался доволен. Пожалуй, на сегодня и баста! Отдохнуть, поразмяться. Нагуляв аппетит, он пообедает на славу в академической столовой.

"Отдыхом" Соколов называл гимнастику и работу с тяжестями. Недаром студия его напо-

минала атлетический кабинет. Целое железное царство штанг, всевозможных размеров гантелей, приземистых пузатых пудовиков и двойников. С потолка спускалась трапеция и рядом с нею — кольца.

Художник снял фуфайку. В зеркале отражался его сильный бронзовый торс с высокой грудью, могучими бицепсами и хорошо развитой мускулатурой спины. Сначала он работал десятифунтовыми гантелями. Твердые и в то же время упругие мускулы как живые переливались под холеной кожей, словно отполированной частыми душами и ежедневными "омовениями". Именно "омовениями". В этом слове было что-то античное, говорящее о торжестве обряда, и оно так нравилось Соколову, наполовину жившему в своих грезах о былом греко-римском культе красоты тела...

2

Стук в дверь.

Вошел щеголеватый полковник генерального штаба Шепетовский. В легком, отлично сшитом пальто нежно-сиреневого цвета и с красным анненским темляком на шашке. Соколов приходился двоюродным братом Шепе-

товскому. Отношения между ними были не горячие и не холодные, а скорей теплые. Элегантного, делавшего завидную карьеру полковника шокировало, что его кузен, днем пишущий картины, вечером борется в цирке. И главное, за деньги борется.

— Как тебе не стыдно, Иван! — пытался обрассудить своего двоюродного брата полковник. — Ты из хорошей дворянской семьи. У тебя несомненное будущее видного художника, а ты, полуголый, вступаешь в параде бог знает с кем и на потеху толпе валяешься на грязном ковре!..

— Ты ничего не понимаешь, — бесцеремонно обрывал художник Шепетовского. — Дикий, чисто русский взгляд. Мы всего боимся. И то нас шокирует, и это, и пятое, и десятое. Смотри гораздо проще на все эти вещи. Борьба меня кормит. Дает двадцать пять рублей в день, и пока моих картин никто не покупает, и я неизвестен, — это в моем бюджете целое богатство. Раз Господь Бог отпустил мне такую фигуру и силу, отчего же не использовать эти данные? Смотри, в Америке. Министры читают рефераты в кафе-шанта-

нах, и это их не умаляет ничуть. Бедные студенты зарабатывают себе кусок хлеба чистой сапог, а потом из них выходят сенаторы, крупные общественные деятели и миллиардеры.

Эти споры не приводили ни к чему. Соколов оставался при своем, полковник — при своем. Видя всю бесполезность родственных увещеваний, Шепетовский никогда не касался больше цирковых выступлений кузена. Встречались они очень редко. Слишком разные дороги, взгляды и вкусы.

И если б Соколов был вообще склонен удивляться чему-нибудь, он выказал бы самое подлинное изумление этому нежданному-негаданному визиту. Но художник никогда не удивлялся. И вот почему он сказал "здравствуй" так спокойно и просто, как если б Шепетовский заходил в его мастерскую каждый божий день.

Вид у полковника был озабоченный, и породистое лицо с небольшими усиками смотрело строго.

Соколов подвинул Шепетовскому табурет, сам же с гантелей перешел на "шары". Укре-

пив "брюшком" на ладонях, Соколов жал их без конца, наблюдая в зеркало ритмичную работу мышц.

Полковник сидел, опершись на эфес обеими руками в белых и тоненьких замшевых перчатках.

— Брось, Иван, свою атлетику... У меня к тебе очень важное дело. Ты можешь оказать нам вообще и мне в частности — большую услугу.

— Я — весь внимание. Работа ничуть не отвлекает меня. Наоборот. Ясность мышлений необычайная. Дух и тело...

— Довольно. Я уже это слышал. Эллинизм и прочее. Ну, так вот, слушай. У нас война...

В антракте между правильными вдоханием и выдыханием Соколов успел уронить:

— Знаю, грамотен, газеты мне попадают.

— Великолепно. Ты понимаешь, до чего в такое время врагам нашим важно знать не только военные секреты противника, но и дипломатические. Я буду краток: есть в Петрограде видный чиновник, — тебе знакомо это имя, — Выводцев. Он без ума влюблен в эту вашу, — я говорю вашу, потому что она под-

визается в вашем цирке, — Маришку Сегай — венгерку. У нас есть данные: Сегай — австрийская шпионка. Отсюда основание опасаться, что Выводцев, сам того не предполагая, сделался лакомой дичью. И если не сам он, то, во всяком случае, его бумаги, портфели и письменный стол. Слушай дальше: этой венгеркой руководит ее любовник — австрийский офицер, такой же, как и ты, силач и атлет, по фамилии Вицлер. По приметам он сильно смахивает на вашего борца Штранга. Желательно выяснить возможно скорей, действительно ли Вицлер и Штранг — одно и то же? По имеющимся у нас сведениям, у этого мерзавца на груди вытатуирована голая женщина. Ты не видел ли чего-нибудь подобного у этого полупочтенного? Я ездил нарочно в цирк, но трико у вашего Штранга слишком глухое. Однако в уборной...

Художник ловким движением подкинул оба двойника, поймал их за дужки и с грохотом бросил на пол.

— Мне кажется, что вы попали на верный след. Австриец, хотя он здесь, кажется, под швейцарским паспортом, и одевается и разде-

вается в отдельной уборной. Его наготы никто не видел. Но я попытаюсь сделать тебе приятное. Кстати, сегодня вечером наша борьба с ним в первой паре.

— Великолепно. В таком случае я приеду на борьбу.

Соколов кивнул головой и занялся упражнением на кольцах.

3

Цирк собрал нарядную публику. Война победоносная, счастливая, не мешала петроградцам веселиться. И только отсутствие в ложах и первых рядах цветных офицерских фуражек говорило о том, что на западе движутся все вперед и вперед наши миллионные армии...

Одним из самых эффектных номеров программы был выход венгерки Сегай с дрессированными лошадьми. И дрессировала она их плохо, вернее, совсем не умела, а достались они ей готовыми, и повиновались гордые, красивые, гнедые кони своей госпоже неохотно. Но этого никто и не спрашивал от прекрасной венгерки именно потому, что она была прекрасна. Бледная особенной матовой

бледностью, с тонкими чертами и великолепно-ной фигурой, все плюсы которой так рельефно подчеркивал фантастический гусарский костюм. Многие мужчины поддавались чарам Сегай, желая прочесть "да" или "нет" в ее больших черных бархатисто-мягких глазах. Но Маришка никому не говорила ни да, ни нет и всех держала в почтительном отдалении. Поклонники терялись в догадках, кто она? Вакханка, искусно прячущая концы в воду, или, действительно, воплощенное целомудрие, терпеливо ожидающее очень выгодного покупателя.

Но поклонники ошибались, — такой уж народ поклонники, что им суждено всегда и во всем ошибаться. Под голубой, расшитой золочеными шнурами курткой билось самое обыкновенное женское сердце без бунтующих вакхических страстей и без холодного расчета дорогой ценою продавать свою любовь.

Австрия всегда наводняла соседку Россию своими шпионами самых разнообразных оттенков и видов. Странствующие коммивояжеры, цирковые и кафешантанные артисты, ра-

бочие, мастера заводов и фабрик, воспитатели юношества, женщины легкого поведения — вся эта разношерстная армия шпионов по мере сил и возможности служила политическим интересам "лоскутной монархии".

В начале войны венгерку хотели выслать, как подданную воюющей с нами державы, но, в конце концов, решили не трогать женщин, Маришку оставили в покое, и каждый вечер она заставляла кланяться публике своих лошадей с искусственными цветами в гривах, а потом уезжала с Выводцевым в его автомобиле ужинать.

Вот и сейчас Выводцев сидел в первом ряду в котиковой шапке и теплом пальто. Он выглядел куда старше своих сорока двух лет, этот истрепанный, изношенный дипломат. Висели щеки дряблого, чисто выбритого лица. В слезящемся красном глазу — монокль, а брезгливо улыбающийся рот обнажал обе челюсти, артистически изготовленные в Париже, еще когда Выводцев был секретарем в одном из второстепенных посольств.

Номер прекрасной венгерки был последний. Дальше уже начиналась борьба. Щего-

ляя своими стройными ногами в туго натянутых бледно-красных рейтузах, Маришка щелкала бичом. Гнедые лошади становились на дыбы, превращаясь в чудовища, бегали по кругу, танцевали мазурку, по крайней мере, это называлось мазуркой, и, в конце концов, под щелканье бича упали на передние колени, сорвав аплодисменты. Маришку вызывали. Она выбегала несколько раз, мелькая гусарскими лакированными сапожками в маленьких серебряных шпорах. А в кулисах уже выстраивалась для парада фаланга борцов.

Возвращавшийся из глубины конюшен полковник Шепетовский видел, как мускулистый, высокий блондин с подкрученными усами и в черном трико, подойдя к Маришке, начал с нею шептаться по-немецки. Шепетовский уловил фразу венгерки:

— Уезжает в Москву, вместе с лакеем... У меня ключ и... можно...

4

Все, как полагается. Арбитр в стареньком жеваном фраке и с печеным яблоком вместо лица представил публике борцов всех стран, оттенков кожи и с чрезвычайно мудреными

именами. Затем демонстрировались запрещенные приемы. Под звуки марша фаланга борцов, красивых и безобразных, тучных и стройных, маленьких и гигантов, исчезла в кулисах.

Арбитр, мелькая фалдочками жеваного фрака, подошел к судейскому столику и, насилуя свой голосок, пытаясь подражать громоподобной октаве "Дяди Вани", объявил:

— В первой паре борется чемпион Петрограда художник Иван Соколов и чемпион Швейцарии — Штранг...

Художник в своем сплошь белом трико и белых замшевых котурнах напоминал мраморную статую.

Лишь смуглое, бритое лицо и голова в крутых завитках черных волос нарушали это впечатление. С презрением в холодных, надменных глазах смотрел белокурый Штранг на своего противника. "Швейцарец" был тоньше Соколова, но, пожалуй, крепче. В сухощавости Штранга угадывалась большая сила, особенная цепкая сила не атлета-гиревика, а борца. Оба они — один весь в белом, другой весь в черном, являли собою эффектную в смысле

такой резкой контрастности пару. Публика с интересом приготовилась наблюдать их поединок.

Глухое трико швейцарца подходило к самой шее, и на груди своего противника Соколов сосредоточил все свое внимание. Он не заботился ни о победе, ни о поражении, а думал о том, как бы ловчее и сподручнее сорвать на этой груди черное трико, чтобы окончательно убедиться, что Штранг — есть Вицлер, и Вицлер есть Штранг. А главное, все должно выйти естественно, дабы не испугнуть раньше времени этого маргаринового швейцарца.

Штранг завидовал успеху Соколова у публики, его красоте и решил бороться зло и ударно. И когда Соколов доверчиво протянул ему руку для обычного взаимопожатия, Штранг презрительно, концами своих длинных и цепких пальцев отмахнулся и в то же время дал Соколову увесистую макарону — шлепок пониже уха. Художник вскипел и, бросив сквозь зубы: "Ах, ты швабская морда", — ответил в свою очередь таким основательным толчком в грудь, что Штранг заша-

тался. Увидев, что поиздеваться над этим противником трудно, — сам в любой момент оцетинится, — Штранг с ударной борьбы перешел на обыкновенную.

Соколов сам дался ему на передний пояс. И когда Штранг, торжествуя победу, стиснул его, Соколов одновременно с неуловимой для глаз быстротою сделал два движения: левой рукою уперся Штран-гу в подбородок и этим заставил его разорвать пояс, а правой быстро и коротко рванул от шеи вниз черное трико. Грудь швейцарца обнажилась почти до пояса, и Соколов, а вместе с ним и зорко следивший за борьбою Шепетовский увидели нагую женщину, искусно вытатуированную во всю длину груди, от плеча к плечу.

Охваченный бешенством Штранг, придерживая разорванное трико, бросился, на Соколова с поднятым кулаком. Но между борцами с похвальным самоотвержением очутился жеваный фрак арбитра. Удар, предназначавшийся Соколову, получил арбитр. У бедняги посыпались из глаз вместе с оранжевыми кругами огненные искры.

Штранг, бранясь на чем свет стоит, наот-

рез отказался продолжать борьбу и освистанный покинул "манеж".

5

Прошло несколько дней.

Вечером на Фурштатской к дому, где жил Выводцев, подкатил автомобиль. Вышли из него полковник Шепетовский, полицейский пристав и трое штатских. В вестибюле с жарко натопленным мраморным камином Шепетовский и пристав что-то говорили бородатому швейцару, сдернувшему с головы обшитую галунами фуражку. Он кивал головой, повторяя:

— Слушаю-с!

Все пятеро поднялись наверх в бельэтаж. Один из штатских подобрал ключ, открыл дверь. Первым вошел в квартиру Выводцева полковник Шепетовский.

А часа через два у подъезда остановился другой автомобиль. Стройная, бледно-матовая красавица вошла в квартиру. За нею — высокий, плечистый блондин в котелке. Женщина, как у себя дома, привычной рукою щелкала выключателями, заливая на своем пути электричеством большую, строго и со

вкусом обставленную квартиру. Вот и глубокий кабинет, солидный, темный, с громадным письменным столом. Открывались один за другим ящики. Блондин в котелке спокойно рылся в них. Слабый крик женщины сразу вдруг нарушил его планомерную работу. Он выпрямился и застыл.

— Руки вверх! — раздался повелительный окрик.

На пороге кабинета стояло пять человек, и два револьвера наведены были на венгерку и Штранга.

— Кто вы такой? — спросил Шепетовский борца, которому штатские уже успели надеть ручные кандалы.

Блондин, закусив губы, весь бледный, сначала не хотел отвечать. Но последовал новый настойчивый вопрос, и не менее настойчиво сверлило воздух дуло револьвера.

— Я швейцарский подданный Штранг, родом из Базеля.

— Ложь! Вы капитан австрийского генерального штаба Вицлер!

Борец молчал, опустив глаза.

И Вицлера, и прекрасную венгерку отвез-

ли в крепость.

ГУСАР СМЕРТИ

1

Барон Крейцнах фон Крейцнау — русский сановник из немцев и завзятый немец по убеждениям и симпатиям — помогал этому молодому человеку своими связями войти в петроградское общество и сделаться в нем если и не особенно желанным, то во всяком случае — терпимым.

Молодой человек был тоже немец, хотя и заграничный, и тоже барон, хотя с более короткой фамилией, нежели у сановного покровителя.

Ростом он был не высок и не мал, а как-то в меру весь пропорционален. И фигуру имел стройную. Штатское сидело на нем чудесно, хотя угадывалась военная выправка. Барон Гумберг не скрывал своего недавнего военного прошлого. Наоборот, пользуясь каждым удобным случаем, он давал понять, что служил в знаменитом кавалерийском полку "гусар смерти", квартирующем в Данциге. Командовал им, шутка ли сказать, сам крон-

принц! И действительно, в лошадях Гумберг знал толк, а когда катался верхом на островах и набережной, посадка его обращала внимание.

По фигуре он был силен, упруг и энергичен в движениях, но все это не могло затушевывать какой-то странной женственности манер...

И холил он себя, как женщина. Брился тщательно каждое утро, пробор — волосок к волоску, губы чуть-чуть мазал кармином. От всей его щеголеватой фигуры исходил сладковатый запах духов...

На бритом актерском лице тускло сияли светлые холодные глаза. Такие холодные, что, когда они смотрели, не мигая, в упор, становилось жутко. Твердо выдавались под кожей развитые скулы. И вместе с глазами и жесткой линией расцвеченных кармином губ сообщали они что-то животное, зверское благообразному, правильному лицу барона Гумберга.

Сановник из немцев и немец в душе Крейцнах фон Крейцнау перезнакомил бывшего "гусара смерти" с военной и штатской молодежью, ввел его в некоторые гостиные и

в замкнутые, неохотно пускающие к себе посторонних, клубы. Гумберг обладал внешним лоском, для немца хорошо и почти без акцента говорил по-французски. Вместе с его титулом это ему помогало.

Какими отношениями связан был этот молодой человек с бароном Крейцнах фон Крейцнау, никто не знал — старый убежденный холостяк, сановник жил замкнуто, один-одинешенек в восемнадцати громадных комнатах своей казенной квартиры.

2

Гумберга особенно тянуло к военной молодежи. Он очень хотел сблизиться с корнетом Дорожинским, смуглым красавцем с фигурой молодого атлета. Из пажеского корпуса Дорожинский вышел в один из самых блестящих кавалерийских полков. Сын богатого помещика, он получал из дому две тысячи рублей в месяц.

В его со вкусом убранной квартире на Шпалерной часто собирались товарищи. Но не было и в помине кутежей или каких-нибудь излишеств бунтующей молодости. И офицеры, и штатские, группировавшиеся во-

круг Сергея Дорожинского, тяготели к военному делу и спорту. Корнет, считавшийся не только в полку, но и во всем гвардейском корпусе одним из лучших фехтовальщиков, устроил у себя небольшой гимнастический зал. Вечерами при свете электричества слышался там звон эспадронов и свист рапир. Чужими казались головы и лица в шлемах и металлических сетчатых масках. Панцирные нагрудники, мускулистые обнаженные руки, стремительные броски и движения крепких молодых тел.

Эти фехтовальные вечера посещал и Гумберг. И хотя особенных симпатий бывший "гусар смерти" не внушал ни хозяину, ни гостям, но Гумберг недурно владел рапирой, был в меру учтив, в меру искателен, и его пускали.

Гумберг, по его словам, — и ему можно было в этом поверить — воевал в Триполи и у Чаталджи. И там, и здесь — в рядах турок. Это признание коробило русских.

— Как вы могли драться с этими полудикарями-мусульманами против христиан? — недоумевал корнет.

Гумберг улыбнулся углами тонких губ и ответил коротко:

— Я люблю турок!..

Зашла речь о пленных.

— В Триполи мы не обременяли себя пленными итальянцами.

— Что же вы с ними делали? — не сразу понял Сергей.

— Что?

Новая улыбка, на этот раз каким-то жестоким огоньком осветившая холодные, как лед, светлые глаза и шевельнувшая скулы...

— Неужели?.. — вырвалось у Дорожинского с изумлением. — Ведь пленный безоружный. Это не враг, это — человек в беде, которого надо пожалеть.

— Славянская сентиментальность! — пожал плечами Гумберг. — Война есть война, и благотворительности здесь нет места... Хотя... Нет правила без исключения. Вас, например, попадись вы мне, я, пожалуй, пощадил бы...

— За что вдруг такое благоволение? — Корнет нахмурился. Мимо ушей пропустил.

Вообще этот барон "лип" к нему весьма и весьма настойчиво.

Однажды утром Гумберг разлетелся к нему взволнованный, бледный.

— Мосье Дорожинский... выручите меня, как офицер офицера. Мне сию же минуту необходимо пятьсот рублей на сорок восемь часов. По непонятной случайности запоздал перевод из Берлина. Через двое суток деньги будут у вас на столе. Я немец с головы до ног, а немецкая аккуратность, — вы знаете...

Дорожинский вынул из бумажника новенькую пятисотрублевку:

— Пожалуйста...

— Ах, как я вам признателен! Чем и когда отблагодарю я вас за такое рыцарское благородство? Но — мы сочтемся — не правда ли? Позвольте обнять вас! Итак, через сорок восемь часов...

— Хорошо!.. Хорошо! — с брезгливой гримасой спешил Дорожинский отделаться от человека, присутствие которого стало ему в неловкую и противную тягость.

Прошло не только сорок восемь часов, а и сорок восемь дней и больше... Ни денег, ни самого барона. Гумберг исчез с петроградского горизонта с такою же внезапностью, как и по-

явился.

Дорожинский забыл и думать о нем...

3

Когда о предполагаемой войне месяцами пишут, говорят и судят на все лады, в конце концов не бывать войне. Расклеится сама по себе. Война — нечто стихийное, и так же стихийно, вдруг вспыхивает и загорается она.

Даже стоящие у власти не подозревали, что Россия с такой быстротою гордо и смело бросит перчатку соседям своим на их дерзкий и наглый вызов.

Сергей Дорожинский вторую половину лета проводил в отпуске в имении Шемадурова.

Шемадуров-отец ворочал в Петрограде каким-то департаментом. Дочь его, стройная и хрупкая девушка с тонким профилем и васильковыми глазами, только что вышла из Смольного. Вера Шемадурова и Сергей были женихом и невестой.

В шумном, усталом Петрограде, в обществе, где браки по любви — редкость, красиво и поэтично расцвело и окрепло их чувство.

Старая усадьба на Волыни с вековыми липами, так остро и медвяно благоухавшими с

заходом солнца, была удивительно гармоничным фоном для этой молодой и чистой любви. Раскидистые, могучие липы, ровным густолиственным гротом уходившие в глубь сада, могли рассказать, как под их сводами спешила тоненькая и гибкая девушка в белом навстречу Сергею... Много поцелуев, клятв и чего-то прекраснобессвязного, которое днем покажется бредом, а в этих затаившихся сумерках, ароматных и загадочных, — полного значения и смысла...

Вечером на веранде пили чай. Шемадуров, красивый, моложавый блондин, весь в белой фланели, просматривал свежие газеты. Англичанка с золотыми зубами, мисс Броун, гладко причесанная, строго и чинно разливала чай. Сергей в защитном кителе с серебряными погонами и Вера сидели друг против друга. Он передал невесте кувшинчик густых сливок. Пальцы их встретились, задержались. Девушка вспыхнула счастливым румянцем. Открытая белая шея порозовела до золотистого, мягкого пушка волос на нежном затылке.

— Ваше превосходительство, господин ста-

новой по срочному делу, — негромко и медленно, с повадкой старого слуги, доложил бритый лакей в серой тужурке с плоскими пуговицами.

— Я сейчас выйду.

Через минуту Шемадуров вернулся озабоченный.

— Объявлена мобилизация... Берут всех запасных гвардейского корпуса.

Вера побледнела и растерянным взглядом своих васильковых глаз смотрела на Сергея...

4

К вечеру шло. Жиденские ветлы бросали перебегающие тени на серое полотнище узкого ровного шоссе. По обеим сторонам тянулись аккуратно содержимые, чистенькие поля, обнесенные проволочной изгородью. Что-то нерусское было и в самом пейзаже, и в дальнем городке с неуютно торчащими домами, острыми линиями вонзившейся в небеса кирхи и фабричными трубами, которые не дымили, хотя день был не праздничный, а вечер — не поздний.

По шоссе коротким галопом ехали два всадника в защитных фуражках и в таких же

рубашах. Офицер и солдат.

Красивый, смуглый поручик великолепно сидел на мощном породистом гунтере. У солдата, черноусого и плотного, — за плечами винтовка.

Всадники ехали рядом, стремя в стремя.

— Колбасюк, я думаю, их пехота окопалась под городом.

— Оце и я-ж так думаю, ваше благородие, через то, що позиция для этих злодией дуже выгодная.

— Во всяком случае, надо их нащупать. Обстреляют — черт с ними, — назад ускорим!..

— А хйба ж вони умиют стрелять, ваше благородие?

Унтер-офицер Колбасюк, сверхсрочный, служил уже шестой год в полку, считался отличным солдатом, лихим наездником, но по-прусски так и не научился говорить. Все, начиная с вахмистра и кончая полковым командиром, прощали бравому унтеру его хохлацкую "мову". Колбасюк дан был в помощь Дорожинскому для разведки.

С восторгом поехал Сергей на войну. Даже любовь к невесте не могла поколебать рвуще-

гося вперед желания. Единственно, чего он боялся, — что их полк могут не послать. Но сразу двинули почти весь гвардейский корпус, и спешно вернувшийся в Петроград из шемадуровского имения Сергей на пятые сутки уже был послан в разведку. Его Роб-Рой, на котором он минувшим Великим постом выиграл в Михайловском манеже несколько призов, стучал копытами по неприятельскому шоссе на неприятельской территории... Положительно — сказка!..

До чего быстрая смена впечатлений! Давно ли он прощался с Верой в сумерках липовой аллеи, и она плакала, и он пил вместе с поцелуями ее теплые, чистые слезы?

Она, этот полурбенок, с какой-то материнскою важностью дала ему свой образок на тоненькой цепочке... Ее маленький портрет вместе с ее последним письмом здесь близко, на самой груди, в бумажнике внутреннего кармана походной рубахи...

Затем — Петроград, суэта спешных сборов, ликование товарищей, ехавших "бить немца", как на давно желанный пир. Вереница вагонов, нагрузка лошадей, так здорово и

приятно пахнувших... И вот, по бокам тощие, косо освещаемые вечерним солнцем прусские ветлы и рядом с ним скачет Колбасюк. Хорошо, бодро, а сколько впереди еще лучших, захватывающих мгновений!..

— Ваше благородие, що там такэ на шоси, мабуть, конники?..

Дорожинский прицелился в даль из черного тяжелого бинокля.

— Ого, да это — немецкий разъезд навстречу! Пять всадников. Что ж, Колбасюк, рубнем? — загорелся вдруг весь Дорожинский.

У него было такое презрение к неприятельской коннице, презрение, основанное на свежих, вчерашних стычках, что уходить двоим от пятерых он счел бы малодушным и стыдным.

Колбасюк молча, сняв с плеча винтовку, держал ее наизготове.

Все уменьшалось расстояние. Уже простым глазом нетрудно было различить гусарские венгерки прусских кавалеристов. Они остановились, сдерживая коней, торопливо отстегивая свои притороченные к седлу кара-

бины. Колбасюк выстрелил на галопе — и сейчас же один гусар откинулся навзничь.

Немцы дали залп, еще и еще, и, повернув коней, бросились наутек.

Охваченный охотницкой горячкой, Дорожинский, не замечая, не чувствуя обожженного левого плеча своего, шпорил изо всех сил Роб-Роя.

— Ходу, Колбасюк, ходу! Мы их искрошим!..

Вихрем летели они с обнаженными шашками. Быстро нагоняли четырех всадников. Уж совсем близко их с белыми шнурами черные спины.

Колбасюк налетел и хватил ближайшего гусара по цветной фуражке. Тот кубарем свалился с разрубленным черепом.

Сергей коротким, но страшным взмахом, глубоко разрубив плечо, спешил второго гусара. И уже занесся на третьего, но в этот самый момент шашка выскользнула из разжавшихся пальцев, и, почувствовав новый обжог, на этот раз в груди, Сергей потерял самого себя. Горячие, желтые, оранжевые и красные круги помутили все перед глазами и стало тем-

нотемно...

Вот что произошло: навстречу улепетывающим "гусарам смерти" шел на рысях новый разъезд их же эскадрона, человек в двенадцать и с офицером. Они спешили и открыли огонь метрах в пятистах. Солдаты заикнулись было, что так можно попасть в своих, но бритый офицер-блондин в меховой шапке с белым черепом, скрипнув зубами, пообещал разmozжить череп тому, кто пикнет хоть слово. Вырвав у ближайшего гусара винтовку, он сам начал стрелять.

Колбасюк — не в добрый час пуля угодила ему в лоб — грузным мешком упал с лошади, такой же монументальной, как и он сам.

Сергею трудно было открыть глаза, физически трудно, — такая слабость овладела им и от потери крови, и от падения на камни. Еще в каком-то дремотном полузабытьи он слышал вокруг себя немецкую речь, звон шпор, бряцанье палашей.

Неужели начало конца?.. И — так скоро?.. Неужели?.. Он даже не успел войти во вкус. Это первое боевое крещение было такое искрометное, — да и было ли оно вообще?..

Увы, было: рубаха слиплась от крови, плечо словно чужое, в груди жжет невыносимо и хочется, мучительно хочется пить... Ведь ему двадцать второй год... Все впереди... Вся жизнь! Сколько еще радостей! Неужели ничего не будет? Ни тихих восторгов липовой аллеи, ни Веры, ни Петрограда, — ничего!.. Вот и Колбасюк... Сергей не видит его, но чувствует где-то близко большое тело этого здорового, краснощекого солдата... Он был минуту назад и краснолицым, и здоровым, а теперь... Дорожинский вспомнил пригнувшиеся в бегстве черные спины, расшитые белыми шнурами, вспомнил свой удар, — как глубоко вошла в плечо шашка! Ротмистр Попов похвалил бы за такую "рубку", а ведь он строго "цукал" пажей...

6

Сергей открыл глаза...

Над ним, опираясь на палаш, стоял щеголеватый гусарский офицер в меховой шапке, бритый блондин, надушенный чем-то сладковатым... В холодеющем, уже совсем вечернем воздухе, этот запах был особенно острый и пряный. Какие тусклые, ледяные глаза. Сер-

гей, кажется, видел их, но где и когда? И эти тронутые кармином губы?..

Господи... "сорок восемь часов"... Гумберг! Сергей даже приподнялся на локте, но сейчас же, стиснув зубы, упал, — такой адской болью заныло плечо.

"Гусар смерти" узнал его в свою очередь и сухо, чисто по-прусски, ткнув подбородком в расшитый серебром воротник своей венгерки, отдал честь.

— Если не ошибаюсь, господин Дорожинский? — спросил он по-немецки, хотя год назад в Петрограде их разговорным языком был преимущественно французский.

— Да, это — я, как видите, — пробовал Сергей улыбнуться. — Вот при каких условиях встретились...

К раненому подвигались с угрозой и бранью немецкие солдаты. Лица — зверские. Слышалось:

— А, проклятый русский, попался!

— Барон, защитите меня от ваших людей, я не могу шевельнуться, истекаю кровью... Если б перевязку? Ах, как я страдаю, все горит... пить!..

— Вы не будете мучиться, — значительно сказал Гумберг с жестокой улыбкой. — Я облегчу ваши страдания.

Гусары напирали все ближе и ближе с грубыми, непристойными ругательствами, и один уже занес над головою Сергея приклад своего карабина, но получил удар кулаком в подбородок.

Гумберг повторил удар и с искаженным лицом, сделавшим его сразу некрасивым, взвизгнул:

— Все прочь!

Гусары нехотя повиновались, отошли к своим лошадям.

Гумберг повторил:

— Я облегчу ваши страдания...

И не спеша вынул из деревянного футляра, висевшего на левом боку, крупный, с длинным стволом парабеллум.

Сергей смотрел широко раскрытыми глазами... Он вспомнил теорию Гумберга, что не следует отягощать себя пленными... Вспомнил и похолодел, застыл весь... Страстно, до сумасшествия хотелось жить... Ах, как безумно хотелось... Но унижаться перед этим мер-

завцем, умолять о пощаде — язык не повернулся бы...

СТАРЫЙ АФРИКАНСКИЙ СОЛДАТ

1

Когда немцы вошли в Лодзь и шумным, галдящим бивуаком расположились на главной Петроковской улице, из дверей небольшого табачного магазина их наблюдал сухощавый, седой, горбоносый старик, с коротенькой трубкою в зубах.

Саксонские уланы, преимущественно ландштурм, подсаживаемые друг другом, неуклюже и громоздко взбирались на своих монументальных лошадей. Грузный, отяжелевший народ, основательно отвыкший от езды и конного строя.

Именно этого и не понимал седоусый, с гладко выбритым подбородком человек с трубкою, сам на своем веку много и хорошо ездивший. Настоящей кавалерист не может научиться сидеть на лошади и управлять ею. А эти брюхатые саксонцы — им только лестниц недостает. Приставил бы к седлу и — давай наверх карабкаться.

Но хороша и пехота...

Один вид этих пруссаков зажигал презрение. Вековечное презрение солдата-француза к солдату-немцу. Марширует по-журавлиному, вытягивая ноги, выпячивая грудь. Трясутся при этом налитые пивом щеки. А вот не угодно ли с такой маршировкой в пустыню, где нога вязнет в сыпучем песке, а сверху адским раскаленным пеклом дышит африканское солнце?..

Старик один в магазине. Покупателей ни души. Какие уж тут покупатели... Все живое позабывалось дома у себя. Слава о немецких подвигах успела прийти из Калиша... И кому охота быть расстрелянным, так, ни за что ни про что, этими озверевшими бандитами в синих мундирах и касках с императорским орлом...

Старик не был бы эльзасцем, если б всей душою не сочувствовал этой войне с ее несомненными перспективами германского унижения и разгрома. Теперь же, когда в нескольких шагах он видел карабкавшихся на коней саксонских улан, видел прусскую пехоту, приостановившую движение людной

и шумной улицы, запрудившую своим собственным солдатским мясом и пирамидами винтовок широкие панели, мостовую и трамвайный путь, он вспыхнул весь краскою проснувшейся ненависти и стыда перед самим собою...

Он уже стар, ему пятьдесят восьмой год. И пусть-ка молодежь так "поработает" на полях смерти, как поработал он в свое время! Но теперь в эти дни, такие трудные и великие, нет никаких оправданий. И когда кровавый смерч закружил всю Европу и его родная и прекрасная Франция встала вся, как один человек, против соседей-вандалов, он Габриэль Троссэ, старый солдат иностранного легиона, будет достоин всяческого презрения... Нельзя, немыслимо спокойно торговать папиросами, табаком и сигарами. Невозможно... Всякий, самый ничтожный человек, дрянь, вправе будет плюнуть ему в лицо! В лицо боевого солдата со шрамом через всю щеку. Он хотел тихой пристани, отдыха, покоя. Но бывают моменты, когда к черту летят все тихие пристани и отдыхи. Такой момент настал...

А с улицы так назойливо врывается отры-

вистая командная — о, как она была ему знакома! — немецкая речь. Он захлопнул дверь — руки в карманах, сжимая зубами трубочку, шагал взад и вперед в бунтующем раздумье.

— Так нельзя... Нельзя... К дьяволу все эти оклеенные глупо-слащавыми головками и картинками ящики, жестянки и коробочки... К дьяволу!..

Распахнулась дверь, и, звеня шпорами, бряцая длинным палашом, ввалился в магазин весь в пыли громадный уланский офицер в клеенчатом кивере. И тупо глядя, не видя перед собою никого, прохрипел:

— Sigarren!

Троссэ был охвачен неудержимым искушением: сию же минуту, как свинью, пристрелить наглого самодовольного шваба. Но какой смысл? Самого же сейчас расстреляют. Жизнь за жизнь. Стоит ли? Где-нибудь подалее, на свободе, он сумеет уничтожить несколько таких же, как этот...

И бледный, вся краска отхлынула, суровый, сдерживающий себя Габриэль Троссэ молча дал немцу десяток сигар. Офицер, не

торопясь, закурил и вышел, даже не спросив, сколько стоят сигары. К чему?.. Ведь он же в "завоеванном" городе!..

2

В опустевшей, покинутой усадьбе польского помещика стоял временно корпусный командир со своим штабом.

Молодой генерал с небольшими усами и белым пажеским крестиком на гусарской венгерке, корпусный пил со своим адъютантом утренний чай в мрачной, с острыми готическими перекрытиями деревянного потолка, столовой. Денщик в белых нитяных перчатках возился у самовара. Кашель, звон шпор. Солдат-кавалерист с винтовкою и в защитной фуражке вытянулся у порога.

— Так что, ваше превосходительство, один "вольный" пришел... беспременно хочет видеть ваше превосходительство...

— Вольный? — переглянулся генерал со своим адъютантом. — Может быть, шпион, какие-нибудь интересные сведения?.. Зови сюда...

Через минуту вестовой ввел коротко остриженного седоусого старика. Сухой и

стройный, он был в теплой куртке, панталонах галифе и желтых штиблетах, с желтыми до колен гетрами. Вся грудь от плеча к плечу — увешана иностранными орденами.

— Кто вы такой и как вас зовут? — спросил генерал.

— Старый солдат иностранного легиона Габриэль Троссэ. Бывший германский подданный... Эльзасец, дезертир прусского четвертого гусарского полка. Восьмой год состою в русском подданстве, — отвечал Троссэ по-русски, с заметным акцентом.

И обилие орденов, и служба в знаменитом иностранном легионе, и дезертирство из немецкой армии — все это вместе заинтересовало корпусного.

— Подойдите ближе!

И сам встал.

— Это за что? — спрашивал корпусный, указывая белым крупным и холеным пальцем на крайнюю медаль справа.

— За Тонкин и Формозу...

— Это?..

— За Дагомею.

— Это?..

— Мадагаскар.

— Это?..

— Зюд-Оранэ-Сахара...

— Это?..

— За Марокко. Почетный легион. Дважды раненный, остался в строю...

— Шрам?

— В Индо-Китае. Поднятый мною на штык пират полоснул меня саблей...

— Bravo, bravo, каков молодец! — восхищался генерал. — Садитесь, Троссэ... Пантелеев, стакан...

За чаем африканский солдат по-французски, — это было ему легче, рассказал свою историю.

В конце семидесятых годов в Эльзасе еще было так свежо все родное, французское.

И тем мучительней, невыносимей стал гнет грубой прусской ботфорты. Пришло время Габриэлю Троссэ отбывать солдатчину. Он попал в четвертый гусарский полк, тогда квартировавший в Данциге. Прусская дисциплина, да еще по отношению к эльзасцу, — сплошной ряд издевательств и пыток. Все, начиная с полкового командира, эскадронного,

лейтенантов, вахмистров и унтер-офицеров, иначе не называли эльзасцев как французскими свиньями. Особенно бесило этих скотов, что французы всегда лучшие кавалеристы в полках. Брать ли барьеры, вольтижировать, о посадке нечего и говорить — французы всегда первые. Французы да поляки еще. И не тяжелым, неповоротливым и грузным немцам тягаться с ними!..

Но из всех зверей самым лютым зверем был командир эскадрона ротмистр барон Траубенберг. Холодный, щеголеватый, надутый, с моноклем. И глаза — таких глаз Троссэ не встречал потом ни у тайских пиратов, ни у каторжников Сенегала, ни у чернокожих Мадагаскара, лакомящихся человеческой, — ни у кого!..

За малейшее отступление от дисциплины барон приказывал вешать эльзасцам на шею торбу с конским навозом. Сажали на общее посмешище среди казарменного двора и ставился часовой с карабином.

Во время сменной езды эскадронный вооружался длинным бичом из гиппопотамовой кожи. И чуть ему не понравится посадка

эльзасца, носки недостаточно привернуты или что-нибудь в этом роде, он стегает несчастного солдата изо всей силы. Ему бы в палачи, а не в кавалеристы! Одним ударом Траубенберг кончиком бича рассекал мундир и вместе с ним кожу и мясо, до крови...

В полку отбывал повинность племянник барона. И вот однажды, зимою в теплом манеже, племянник на барьере упал с коня. Троссэ шел за ним, как сейчас помнит, на три корпуса. И чисто взял барьер, вышиною метр с небольшим. Взбешенный ротмистр велел ему спешиться и ударил его по лицу. Троссэ бросился на своего обидчика... Был схвачен солдатами. Его посадили в крепость, отдав под суд за оскорбление действием офицера при исполнении служебных обязанностей. Нужно ли пояснять, что его расстреляли бы. Больше тридцати лет прошло с этого дня, а щека до сих пор горит... Он не забыл оскорбления...

Троссэ удалось — это можно объяснить разве чудом — бежать из крепости. Свои же эльзасцы помогли. И тут начинается авантюристическая эпопея во вкусе Эмара или Жакольо. Костюм бродяги, французское торговое

судно, темный трюм, пахнувший оливковым маслом, гигантский порт Марселя, бирюзовые волны Средиземного моря, песчаный берег Африки, пальмы, тропический зной...

Троссэ был принят в один из полков иностранного легиона. Там не интересуются, кто и откуда ты. Туда сбегалось все, потерпевшее в жизни крушение. В одной роте с Троссэ, такими же, как и он сам, нижними чинами, были: промотавшийся маркиз, кирасирский полковник, разоренный банкир, беглый епископ из Штирии, доктор медицины и профессор консерватории — автор нескольких талантливых опер.

В иностранном легионе эльзасец прослужил два пятилетия. Потом, желая вернуться к прерванной службе в кавалерии, поступил в "голубые" стрелки. Всякого бывало. Приходилось драться в пустыне с целыми тучами кабил, томиться в плену у суданских негров, умирать медленно и мучительно от ран и от жажды, охотиться на львов и усмирять пиратов Индо-Китая, самых опасных и самых жестоких разбойников на свете.

Так минуло пятнадцать лет жизни колони-

ального солдата. Захотелось покоя. Сбережения небольшие завелись. На родине все, что было близкого, вымерло. Одинокий, бобыль бобылем. Случайный рейс парохода-"купца" забросил Троссэ в Одессу... Он скитался по России, знает Петроград, Москву, и вот, наконец, зашвырнутый броском судьбы в Лодзь, открыл табачный магазин, думая этим кончить. Но как только он увидел пруссаков, вся уснувшая ненависть ярким пламенем вспыхнула! К черту, вниз головою полетели все мирные планы! Старый африканский солдат еще может на что-нибудь пригодиться!..

Отправив на тот свет десяток-другой этой сволочи, самому не грех тогда ликвидировать свои отношения с коварной и ветреной женщиной, которая называется жизнью... Не надо слишком засиживаться...

3

Посланные в разведку драгуны вернулись. Они побывали в немецком городке, островерхая кирха которого иглою пронизывала ясные небеса впереди, в трехчетырех километрах. Там — хоть бы одна душа человеческая! Вымер город, все бежало. Только что бежало.

Следы "горячие" — в буквальном смысле слова. Спешившись, драгуны вошли в один дом и наскоро пообедали еще неостывшим картофельным супом...

Ротмистру Попову приказано было вместе с его эскадронам занять покинутый город.

— По крайней мере, заснем по-людски. Я восемь суток не раздевался, — говорил Попов едущему рядом с ним Троссэ.

Старый легионер, просившийся в добровольцы, и не в пехоту, а в конницу, назначен был в эскадрон к Попову. Кроме Троссэ было еще девять человек охотников, — сплошь все кавказская молодежь в черкесках, с тонкими, как у девушек, талиями. И вышло само собою так, что эскадронный отдал всю эту молодежь, или, как называл ее Попов с презрительной ласковостью, "иррегулярную кавалерию", под опеку старого африканца, которого оценил с первых же шагов совместной "работы".

— Берите себе эту иррегулярную кавалерию и делайте с нею, что хотите... Я вполне доверяю вам!..

Не прошло и нескольких дней, как Троссэ с

избытком оправдал доверие эскадронного.

Без малого полжизни дравшийся в колониях, он личным опытом изучил полный предательского коварства способ ведения войны со своими черными и желтолицыми противниками. И весь этот мудрый опыт из африканской пустыни и джунглей Индо-Китая он перенес на лоно чистенькой, чопорной и аккуратно выметенной природы восточной Пруссии.

Разведка была так поставлена у Троссэ, можно было подумать, что он знает не только передвижения, но и мысли неприятельские. Поперек лесных дорог он устраивал проводочные заграждения. Точно в капкан или мышеловку попадали в них не только большие разъезды, но и целые эскадроны пруссаков. А "иррегулярная кавалерия", частью превращенная в пехоту, ибо лежала у дороги, затаившись в кустах, частью ставшая воздушной конницею, так как забиралась на деревья, — снизу и сверху жесточайшим огнем расстреливала ошеломленное, сбившееся в беспорядочную гущу, лошадиное и человеческое мессиво...

Однажды таким образом Троссэ взял в плен бронированный автомобиль со штабом германской дивизии. Получил за это Георгия. Словом, что ни день, то новый какой-нибудь подвиг.

И неумоимость при этом — изумительная. Уж на что кавказцы народ привычный, выносливый, а даже и эта молодежь в папах и черкесках пасовала перед железным стариком. По восемнадцати часов не слезал с коня, и хоть бы что — ни в одном глазу!

Ехавшие в голове эскадрона тучный с короткой шеей Попов и сухой, весь из нервов, Троссэ — были фигуры на диво контрастные. "Пешком" Попов казался вдвое толще. На коне же совершенно преобразался. Вдруг худел, неизвестно куда подбирая часть тела, которую французы галантно называют "*la naissance de jambes*" [8], и посадкой его можно было залюбоваться...

Попов известен был во всей русской коннице своим искусством буквально срастаться с лошастью. Раз одна высокопоставленная особа делала инспекторский смотр полку. А потом все офицеры верхом провожали высокого

гостя на железнодорожную станцию, за двадцать пять верст. Попов, как выехал, положил четыре пятака следующим образом: два на каждое стремя, придерживая их подошвами, это называется "играть стремянем", а два между седлом и каждым коленом. И лишь у самого вокзала, спешиваясь, вынув из стремян ноги и расставив "шенкеля", он уронил на землю все четыре пятака. Этот труднейший трюк привел всех в восторг, а высокий гость, сняв с себя золотые часы, пожаловал их Попову...

Горячили своих маленьких горбоносых "звездочетов" молодые кавказцы, грудью припадавшие к луке.

— Эх вы, иррегулярная кавалерия! — улыбнулся в свои рыжеватые густые бакены Попов, не признававший ни казачьей, ни кавказской посадки.

Серым полотнищем уходило шоссе. Впереди, у горизонта, обозначались крыши городка и над ними — шпиг кирки. День был серенький, и сквозь матовый алюминий облаков дразняще как-то, чуть заметно обозначался круг солнца.

— Кажется, неприятельский разъезд, — заметил Троссэ, прищурившись в осенние прозрачные дали.

Попов вооружился биноклем.

— Да, верно. Однако, милейший Троссэ, у вас по природному цейссу сидит в каждом глазу.

Красивый, смуглый, носатый чеченец с черным пушком над верхней губою, весь загоревшись, подлетел к эскадронному:

— Гаспадин ротмистр, разрешите... Разрешите, га-спадин ротмистр...

— Что такое?..

Юноша выразительно махнул нагайкой по направлению немецкого разъезда.

— Далеко ведь. Около двух верст, поди... Уйдут, как от стоячих?.. А?..

— Гаспадин ротмистр, разрешите! — с мольбою и чуть ни со слезами просил чеченец.

— Ну, валяйте... иррегулярная кавалерия...

С удивительной сочностью выходило у Попова это "иррегулярная кавалерия".

Кавказцы, заломив косматые папахи, нахлестывая своих "звездочетов", вынеслись по-

левым галопом. Только по камням копыта зацокали.

— Месяц-другой по этим проклятым шоссе-сейным дорогам, и весь конский состав к черту! — с досадою сетовал эскадронный старому африканцу. — Сколько мы не брали в плен немецких кавалеристов, и у всех лошадей ноги разбиты. И все по милости шоссе-сейных дорог. Камень...

Кавказцы распластываются уже далеко впереди. Германский разъезд о десяти конях бросился наутек по направлению к городу.

— А ведь догонят, — заметил Троссэ.

— Догонят, чего доброго, — согласился Попов, — и вырежут всех до одного. А когда вернутся с немецкими лошадьми в поводу и спросишь: "Где же пленные?" — у них один ответ: "Сапрротивлалысь"... Иррегулярная кавалерия!..

4

Впереди эскадрона, шагах в тысяче, на шоссе-сейную дорогу с пересекавшей ее проселочной, въехала нагруженная каким-то скарбом телега. И на ней — две фигуры.

— Мужчина и женщина, — сказал Троссэ.

— Мужчина и женщина, — скрепил глянувший в свой цейс Попов.

Телега медленно двигалась. Между нею и эскадром все уменьшалось пространство. Обе фигуры, немецкий мужик в шляпе и баба, завозились над чем-то.

По лицу Троссэ пробежала судорога... Старый африканец, дав шпоры, вынесся вперед, осадил коня, сорвал с плеча карабин и почти не целясь выстрелил раз и другой...

Баба в платке мешком свалилась с телеги, а мужик так и остался лежать на своем скарбе.

— Вы с ума сошли... Нельзя же расстреливать мирное население! — вскипел Попов, догоняя Троссэ.

— Это — такое же мирное население, как и мы с вами, ротмистр, — спокойно отвечал Троссэ, вешая за спину карабин. — Не угодно ли убедиться. Я уверен, еще минута, и они обстреляли бы наш эскадрон из пулемета... Прав я или нет, сейчас убедимся...

Троссэ и Попов, два офицера и вахмистр окружили телегу. Баба, разметавшаяся на пыльном шоссе, еще стонала, царапая скрю-

чившимися пальцами камни. А мужик неподвижным пластом лежал на телеге, раскинув руки. Словно защищая свое добро. Все спешили. Троссэ разгреб у задка телеги сено, вышвырнул два пустых ящика — и показался новый, ловко замаскированный пулемет.

— Как вы могли угадать? Какой вы дивный стрелок! — всплеснул руками восторженный корнет Имшин.

— Инстинкт! — пожал плечами с улыбкой Троссэ. — И кроме того, подозрительно: мирное население от нас убегает, напуганное баснями о зверстве русских войск, а эти — вдруг ни с того ни с сего... Но погодите... это еще не все...

Старый легионер подошел к бабе с навыворот простреленной грудью, она продолжала стонать, — и одной рукой сорвал закутывавший голову и лицо платок, другою — поднял юбки. Под юбками оказались офицерские сапоги и синие панталоны с красным кантом. Через всю голову шел сквозной английский пробор, а над верхней губою — выбритые усы. Какой-нибудь юный лейтенант, жаждавший подвига?.. Убитый мужик при ближайшем

рассмотрении оказался нижним чином. Поверх мундира — поношенное штатское пальто.

Попов обнял Троссэ:

— Мерси, голубчик! Сегодня же пошлю ординарца в штаб... Вы спасли мне полэскадрона...

Солдат-санитар возился над раненым прусским офицером. Но спасти его — труд напрасный. Даже минуты были сочтены. Он стонал все слабей и слабей. Силился бормотать что-то, а глаза хотя и смотрели, но никого и ничего не видели, стеклянные и чужие. И как-то странно переплелись в этом молодом, умирающем теле строгое и важное, чему равного нет в мире, ибо это смерть, и, увы, — смешное, разоблачающее какой-то кровавый маскарад, теперь такой ненужный, нелепый. И жалко торчали из-под грубой суконной юбки ноги в офицерских сапогах и в панталонах с красным кантом. А голова со сквозным пробором и страдальческим оскалом зубов разматалась на бабьем измятом платке...

Через минуту, когда все было кончено, вахмистр снял фуражку, перекрестился.

— Хуш и сволочь народ, вообще, хотел через обманным путем нас обстрелить, а все ж душа человечья!..

Попов, теперь, когда слез с коня, такой тучный и неуклюжий, отвернувшись, покусывал губы.

— Да, поганая штука война эта самая...

Тела убитых взяли в город — там похоронят.

Запряженная парюю крепких и сытых лошадей телега шла за эскадроном. Править было некому. Арьергардный всадник вел за собою в поводу немецкую запряжку.

Вскоре — навстречу кавказцы. Издали можно было принять их за женщин, такие они все гибкие и тонкие в поясе. Они гнали впереди себя несколько крупных кавалерийских лошадей под новенькими с иголки строевыми седлами.

— Ну что? — с усмешкою встретил Попов своих джигитов, — сапративлялись?..

— Так точно, гаспадин ротмистр, сапративлялись!.. Рубить немец совсем не умеет. Баится рубить... Из карабина стрелял.

— Потерь нет, кажется?..

— Никак нет, гаспадин ротмистр. Только у Гурген-бекова плечо прастрэлили. Пустаки, савсем пустоаки!..

— Молодцы!.. Ай да иррегулярная кавалерия!..

У джигитов за спиною кроме своей собственной винтовки болтались еще неприятельские карабины. А раненый Гургенбеков вез трофей — кирасирскую каску с императорским орлом, которую он снял с им же самим отрубленной головы прусского офицера.

Заняли вымерший городок. Такой вымерший, что было жутко. Ни звука, ни движения, ни одной человеческой фигуры. Отступившее население испортило все провода, телеграфные и телефонные. Проволока свисала со столбов и крыш через улицу. Задеваемая копытами, она вздрагивала и звенела как живая, и лошади косились на нее своим гордым, пугливым белком...

Офицеры вместе с Троссэ расположились в первом попавшемся доме с пианино, с мебелью в белоснежных чехлах и с неизменными салфеточками, в изобилии украшавшими спинки диванов и стены комнат и кухни. Сал-

феточки с вышитыми острым готическим шрифтом изречениями и пословицами, скучными, банальными, приторными, как все немецкое.

Вестовой возился у пылающей плиты. В громадном чайнике бурлил кипяток. На эмалированной сковороде кипело в масле что-то мясное.

Сбросив свои солдатские шинели, шапки и ледунки, офицеры, неделю пробавлявшиеся сухомяткой, ели с волчьим аппетитом. За чаем Троссэ по-французски — его все понимали — живописал мирную и боевую жизнь иностранного легиона.

И здесь, на этой немецкой чужбине, обесцвеченной внешней культурой мещански-эгоистических удобств, — прекрасным героическим видением, картина за картиною, вставала кровавая экзотика... Мчались в своих белых, розовеющих на солнце бурнусах бронзовые, романтические бедуины среди раскаленной пустыни... Скопище мадагаскарских туземцев с гигантскими луками. Тучи стрел. Горсточка затерявшихся легионеров... Влажные веки томных мароккских девушек,

их смуглые точеные руки... И много еще интересного, волнующего, как в фантастическом романе — хотя это была сама жизнь...

А потом эти утомленные солдаты, изголодавшиеся по кровати с чистым бельем, по удовольствию снять сапоги, уснули безмятежно и крепко на тех самых перинах, где только еще минувшей ночью храпели, пропахшие дешевыми сигарами и налитые пивом добрые немецкие бургеры со своими фрау Амальхен.

5

В месяц какой-нибудь Троссэ успел создать вокруг себя легенду.

С крохотным отрядом своей "иррегулярной кавалерии" старый африканский солдат творил чудеса. Эта кучка всадников отбивала неприятельские обозы, колошматила в пух и в перья большие разъезды; бесшумно подползая ночью, вырезывала патрули, вешала вольных стрелков, схваченных с браунингом в пиджачном кармане, устраивала засады и с безумной отвагою, средь бела дня, проникала в местечки и города, занятые пруссаками. Благодаря своим шпионам немцы знали, кто

именно этот страшный, неуловимый партизан, сваливающийся как снег на голову там, где его менее всего ждут. Знали, что это Габриэль Троссэ, эльзасец, прусский дезертир, солдат иностранного легиона, конный голубой стрелок, владелец табачного магазина в Лодзи и, наконец, русский гверильс, действующий с горстью мальчишек в косматых бараньих шапках. Но эти мальчишки так владеют саблей, словно родились вместе с нею.

Троссэ попал в плен. Он вместе со своими джигитами, это было уже в Польше, случайно напоролся на целый эскадрон пруссаков. С диким гортанным криком врезались кавказские всадники в неприятельскую гущу. Они крошили тяжелых немецких кавалеристов, рубили им головы, а Гургенбеков пополам, чуть не до седла рассек щеголеватого, вырядившегося будто на парад лейтенанта. Джигиты полегли, как один, расстрелянные издали. Троссэ без сознания свалился с коня, раненный пулею в голову.

Очнулся он в каком-то сарае, на подстилочной соломе. Голова кое-как перевязана была тряпками. Это сделали немцы. И не че-

ловечности ради — какая уж тут человечность! — а потому, что пленника приказано было доставить "живьем" к начальнику дивизии.

Старого африканца томила жажда. Он забарабанил в дверь. К нему вошли двое часовых, держа наперевес винтовки с плоскими, зазубренными штыками. Он попросил воды. Немцы погрозили ему прикладами, расхохотались в лицо, дыхнув пивом, ушли и заперли двери.

Троссэ не тешил себя розовыми надеждами. Его час пробил. Ни на спасенье, ни на бегство рассчитывать нечего. Его слишком ревниво стерегут. Он был спокоен. Не продешевил себя, Он один отправил на тот свет больше тридцати пруссаков, отбил денежный ящик с восьмьюстами тысяч марок... А сколько вреда нанес он своими разведками?..

Габриэль Троссэ был спокоен в своем полутемном сарае. Спокоен, несмотря на голод и адское желание пить.

В древнем бернардинском монастыре квартировал дивизионный со своим штабом. Военно-полевой суд, вернее, комедию суда

устроили — день был солнечный, теплый, — на вымощенном гранитными плитами монастырском дворе. Квадратный, с мраморным колодцем посредине двор окаймлен был с четырех сторон портиками, с колоннами. Давно ли под этими портиками беззвучно скользили бородатые фигуры в коричневых сюртуках? Теперь по гладким, веками отполированным плитам стучали сапогами прусские солдаты.

Вынесли стол, покрыли его синим сукном, поставили чернильницу. Из монастырских покоев, сопровождаемый офицерами, вышел дивизионный, высокий, худой и прямой генерал в каске и с подстриженными, свинцово-седыми баками, — в виде вопросительных знаков тянулись они от висков к углам сухих губ. Громадный ульмский дог — дивизионный всюду таскал его за собою в подражание Бисмарку — резвясь прыгал передними лапами на грудь своему хозяину, обильно выстеганную ватую грудь синего форменного сюртука с орденами.

Двое часовых, уланы с обнаженными палашами, подвели к столу пленника с обвязан-

ной головой.

Начался допрос, хотя и без допроса господ судьи отлично знали, с кем имеют дело и кто перед ними. Генерал и офицеры с полным ненависти любопытством разглядывали Троссэ.

Пленник не слышал вопросов и не отвечал на них. Он видел перед собою одного человека и на нем сосредоточил все свое внимание. Этот человек — генерал, в одной руке державший карандаш, другой ласкавший чудовищную голову своего "бисмарковского" дога.

И молнией обожгло всего пленника... Это барон Траубенберг, тридцать семь лет назад его, Габриэля Троссэ, ударивший по лицу!.. Он, конечно же он!.. Разве могут быть такие глаза у другого?

И спружинившись, как тигр, — никто и опомниться не успел, — бросившись на стол, изо всей силы закатил генералу пощечину. Монокль выскочил из глаза, и сам барон Траубенберг, вместе со стулом, опрокинулся навзничь.

Монастырский двор опустел. Меланхоли-

чески кружился в воздухе увядший лист, бог весть откуда залетевший... А в углу двора, у колонны червонила на каменных плитах густая лужа крови. Ульмский дог подошел, понюхал и, высунув шаршавый и влажный язык свой, стал жадно лизать кровь... благородную французскую кровь старого африканского солдата Габриэля Троссэ.

"САМЫЙ АРИСТОКРАТИЧЕСКИМ ПОЛК"

1

На винокуренном заводе съехались становой пристав Плиссский и помощник акцизного надзирателя барон Келлерман.

Покойный муж Анны Николаевны, прожив имение в Каменец-Подольской губернии, купил новое уже на Волыни — Чарностав, бывшую усадьбу сначала разорившихся, а потом уже и вымерших графов Доморадских.

Супругам очень нравился этот старинный фасад с колоннами. Однако, несмотря на монументальность не нынешней кладки, — палац пришел в запустение. Облупились колон-

ны, в некоторых залах проваливался пол, и опасно было ходить. Ласточки с безбоязненной смелостью, как домой, упруго и быстро влетали в разбитое слуховое окно, полукругом зиявшее в треугольнике главного портика, и, покружившись в голых и неудобных комнатах, — прочь, назад, скорей к теплу и солнцу.

Графский палац превращен был в винокуренный завод, а поодаль, на громадном, густо поросшем травой дворе, в одно лето вырос белый двухэтажный дом с электричеством, весь в прямых линиях и гладких ровных площадях, по типу барских дач Крестовского и Каменного островов.

Ловицкий умер, отравившись рыбой в одном из петроградских ресторанов. Анна Николаевна осталась двадцатишестилетней вдовой.

Она вся была из противоречий, вся лишь одно минутное настроение. Порою красавица, иногда же — только хорошенькая. Зависело от пустяков, расположения духа, перемены прически.

Кирпично-красный, весь заросший боро-

дою и в золотых очках становой, поцеловав маленькую ручку, бледную и теплую, отчеканил хрипло:

— Мы к вам по долгу службы, глубокоуважаемая Анна Николаевна...

— И по весьма неприятному, — с церемонноуточтивым поклоном добавил помощник надзирателя, щеголь в белом кителе и в форменных панталонах бутылочного цвета с синим кантом.

— А что такое? — лениво и без всякого любопытства спросила помещица.

Становой откашлялся, словно готовясь произнести речь, да он и произнес ее:

— Глубокоуважаемая Анна Николаевна, мы — накануне великих событий... Время, переживаемое нами, — весьма серьезное время. Объявлена мобилизация, вся армия, весь народ встает на защиту святого славянского дела... Опыт японской войны показал, что алкоголь — дурной советчик и друг русскому воину. Я не знаю, известно ли вам, что все винные лавки закрыты, продажа спиртных напитков в буфетах вокзалов, трактирах и гостиницах приостановлена... Итак, мы уполно-

мочены уничтожить весь запас спирта на вашем заводе, то есть попросту вылить его, ибо этим, во-первых, мы пресекаем самую возможность пользоваться местному населению, а во-вторых, ввиду возможности неприятельского нашествия, что в силу близости границы...

— Так вы бы и начали с этого... Вам предписали вылить спирт, ну и выливайте!

И Плиссский, и даже корректный и считавший хорошим тоном ничему не удивляться барон, оба опешили, удивленные таким бескорыстием. Ведь спирту в подвалах, на худой конец, — тысячи на две!

— Когда прикажете приступить к исполнению сей печальной необходимости?

Барон Келлерман язвительно и с явным оттенком презрения улыбался своими тонкими, слишком сухо и определенно очерченными губами. Да и весь он был сухой и определенный, несмотря на свой румянец. Носил густые и короткие баки, посредине пробритые. Ловицкая, со своей подчас резкой прямою избалованной женщины, которой все сойдет, от поклонников в особенности, а все ее окружав-

шие мужчины были ее поклонниками, — однажды сказала:

— Знаете, у вас удивительно характерное лицо.

Акцизный чиновник насторожился, по самовлюбленности натуры своей ожидая что-нибудь лестное. Но вторая половина фразы уже менее понравилась ему.

— Да, характерное... Я не могу вообразить более удачного грима для молодого карьериста-чиновника.

Анна Николаевна любила пикироваться с Гуго Рудольфовичем. Он раздражал ее своею влюбленностью, искренней или кажущейся — не все ли равно?

2

— Нельзя ли меня избавить от этой церемонии, там ведь у вас и Франц Алексеевич, и Янкель Духовный, пусть они...

— Необходимо ваше присутствие.

Вся в белом, Анна Николаевна походила на девушку — такой моложавостью веяло и от фигуры ее, тонкой и гибкой, и от нежного лица с темными глазами, блеск которых был удивительно мягкий. Анна Николаевна шла

через обширный двор, как луг, поросший травой. За нею становой и барон, а за ними — белокурая и свеженькая горничная Стася.

Вот и завод, угрюмый, с облупившейся штукатуркой, давно немытыми окнами, с печатью запустения во всем, и, несмотря на это, или, вернее, именно потому, величавый, весь в минувшем, поэтический, грустный. Когда-то вся магнатская Волынь съезжалась под этими портиками на пиры и банкеты, тянувшиеся неделями. На хорах гремел свой оркестр, и в большом зале до упаду отплясывали красиво и с огненной лихостью, как только умеют поляки, "бялого мазура".

Из подвалов, где раньше веками вылеживались пыльные, мохом поросшие бутылки с густым, как масло, венгерским и крепким медом, способным кого угодно лишить языка и ног, выкатывались теперь бочки с плебейским спиртом.

Франц Алексеевич Этцель, в коротком синем пиджачке, с впалым животом, человек неопределенного возраста и необычайной худобы, являл собой нечто среднее между Мефистофелем и Дон Кихотом, что не мешало ему

быть скорее блондином, чем брюнетом. Светлые волосы его и усы — подбородок он брил — как-то белесо, линюче седели. Говорил он чуть слышно. Австрийский немец, он давно, очень давно служил у себя на родине в пограничной страже. Как-то глухой ночью преследуемый Этцелем контрабандист полоснул его ножом по горлу. Этцель чуть не умер, долго отлеживался. Шрам остался навсегда, и пропал голос. С тех пор, вместо человеческой речи, — скрипучий, какой-то чуть слышный шелест.

Этцель уехал в Россию, перешел в русское подданство и специализировался в деле винокурения.

Бледными бескровными губами Этцель жевал окурки сигары. Он был немислим без этого, целый день перегоняемого из одного угла рта в другой окурка. Холодные, светлые, уже выцветающие глаза попытались блеснуть приветливо. Этцель, сняв котелок, склонился к руке своей хозяйки. Анне Николаевне почудилось, что ее клюнула какая-то недобрая, хищная птица. Этцель заговорил на "своем собственном" русско-польско-немецком

жаргоне.

— Можно зачинать? — спросил винокур, он же и подвальный, Янкель Духовный, бледный еврей с громадной черной бородой, в люстриновом, ниже колен сюртуке.

Рабочие с серьезными, сосредоточенными лицами открыли краны высоких, в рост человеческий, бочек. Спирт, серебрящейся на солнце, струей поливал траву.

— А теперь завтракать, есть хочется, скоро двенадцать, — взглянув на часы-браслетку, сказала Анна Николаевна.

К столу кроме Плисского и барона приглашен был и Франц Алексеевич. Анна Николаевна ничего не ела. Завтрак вкусный: дикая утка в сладком соусе, гренки в зеленом шпинате и компот из собственных груш.

— Вы же хотели есть? — с мягкой заботливой укоризною влюбленного заметил барон.

— Хотела, а теперь не хочу.

Зато Плиссский проявил аппетит отменный. Кости хрустели на его зубах, он мощно перемалывал их, и его борода ходуном ходила в движении.

К крыльцу, звеня особыми чиновничьими

колокольчиками, подкатили две брички: новая, желтенькая, и другая попроще, затрапезная, исколесившая немало на своем веку и в погоду, и в непогодь. Первая — Келлермана, вторая — Плисского.

Прощаясь, барон улучил минутку остаться с Анной Николаевной с глазу на глаз.

— Через неделю я приеду ревизовать книги. Мне надо будет поговорить с вами об одном, очень важном предмете.

— Важном для кого: для меня или вас?

— Для... для нас обоих...

— Даже? Вот не думала о существовании таких "предметов", — пожала плечами Анна Николаевна, — ладно, поговорим, я никуда не собираюсь и, вероятно, буду...

3

Объявление войны Ловицкая встретила спокойно.

— Уезжайте, бегите! — советовал Гарновский, спешно покидавший свое имение.

— Зачем и куда? Ведь мне же ничего не сделают, а я решила провести здесь все лето до сентября.

— Мало ли что может случиться... Молодая

одинокая женщина...

— Но ведь не дикари же, не варвары, не павианы поголовные эти австрийцы, надеюсь?

Винокур Янкель Духовный предлагал то же самое.

— Нехай ваша ясновельможность едет себе до Житомира, до Петрограда, чи до Москвы — так будет лучше, ей-богу!

В душе Анны Николаевны дрогнуло какое-то сомнение. Что б рассеять его, — Ловицкой до смерти не хотелось покидать Черновостав, — она обратилась к Этцелю:

— Ну вот вы, Франц Алексеевич, вы сами бывший австрийский офицер, скажите, — можно опасаться насилия... грабежа?

Этцель с усмешкою, блестя своими выцветшими глазами, покачал головой, и тоненький, откуда-то изнутри, голосок сипло и тихо зашелестел:

— Але то глупство, австрийский и унгарский офицер — это джентльмен до конца ногтя, блаубен зи руих! Оставайтесь спокойны, ни один волос не спадне... Аристократы, бароны, графы... война есть война, ал еж это рыца-

ри!..

Анна Николаевна успокоилась, но ненадолго. Утром Стася, розовая, как холеный, молоком вспоенный поросенок, доложила, что пришел Максим Недбай.

Максим Недбай, плечистый мужик с густой щетиною волос, зачесанных на лоб до самых бровей, был охотник, рыболов, вечный бродяга и, как все кругом говорили, контрабандист. От скитаний по болотам его постолы [9] всегда были мокрые, и от него пахло какими-то лесными травами, сыростью заводей поросшего густыми камышами пруда и кровью убитой дичи. Всюду его видели с пистонной двустволкой за плечами. Вот и сейчас, покашливая, с ноги на ногу переминаясь, в желтой, с громадным трюмо в плоской раме, передней, он держал эту двустволку с обмызганной веревочкою вместо ремня.

Анна Николаевна любила разговаривать с ним. У других мужиков только и было нудных речей об урожае, о земле, о том, что трудно жить, о хлебе. Максим никогда не жаловался. Он приносил уток, бекасов и дупелей, которых бил на болотах и на громадном трид-

цативерстном в длину пруде, бороздя ею в своей душегубке. И всегда он рассказывал что-нибудь любопытное. Может быть, и при-
вира́л, но выходило интересно. То ему попа-
далась какая-то "ласка", или как зовут ее на
Волыни — пырныкоза, величиною с доброго
откормленного индюка. Он ее застрелил, но
угораздило же ее, проклятую, упасть в камы-
шиную гущу, и нельзя было найти, хоть ты
тут пополам тресни... Повстречалась ему раз
в лесу не то дикая кошка, не то бог знает что
с перепончатыми крыльями. Только прило-
жился, а ее и след простыл. Но крылья видел
собственными глазами...

Однажды Максим всадил добрый заряд
утиной дроби австрийскому пограничнику,
пытавшемуся отнять у него ружье, ибо он пе-
решел уже на швабскую сторону. Это была
правда, так как между австрийским комиссар-
ром и становым Плисским возникла по пово-
ду раненого солдата целая переписка.

Недбай кашлянул, погладив коричневыми,
узловатыми пальцами густую каштановую
бороду и зоркими охотничьими глазами
осмотрелся:

— А чи тут никого нэма?

— Узнал что-нибудь? Австрийцы идут?

— Придут! В Красноселке позавчера наш русский шкадрон ночевал, я там у кума был и на другой день остался у кума, а на ночь пешки сюда вернулся. И бачу — какойсь огонь над заводом, там кто-то в руке держит ни бы то факел, ни бы хфонарь и кружить им. Покружить и перестанеть, знов кружить... Я тихонько все ближе, ближе, крадучись по подстенками, эге, та это Франц Лексеич, и стоит на крыше, как бес худой, и все кружит!

— Ничего не понимаю!

— Я то ж добре понял, — с сознанием собственного превосходства мужчины и охотника над бабой, молвил Максим, — думает пани, спроста шваб встал среди ночи да полез на крышу? Знаки дает! Своя же кровь, швабская, знаки дает, что наш русский шкадрон уехал, то они, австрияки, могут к нам долазить. Они наш хлеб едят, так они нашу сторону держат — черта с два! Их нарочно швабы посылают сюда на границу, чтобы своих людей иметь, ох если б моя воля, всех бы этих колонистов вырезал! Что ни колонисту — гнездо

гадючее!

— Как же быть?

— А так! Вы, ланочка, не давайте виду этой швабской морде, что знаете, как он махал огнем, а я что-нибудь придумаю, нехай приходят, большого войска не пришлют, самое большое будет шкадрон, нехай приходят на свою же голову, мы им дадим рады!

Анна Николаевна, хотя и смущенная, — холодком ее всю так и обвеяло, — угадала, что Максим единственный отважный и сметливый человек в усадьбе, на которого она может надеяться. Правда, более удобный выход — уехать совсем из Чарностава, но какой-то непонятный, противоречивый каприз мешал бежать. Было и страшно, и жутко, и одновременно какое-то волнующее любопытство нашептывало: "Остаться".

4

Днем, в пятом часу, подкатила, звеня колокольчиком, желтая бричка. Дворняги с лаем бросились к ней. Барон Келлерман выглядел накрахмаленней и щеголеватей обыкновенного. Китель сверкал белизною, подбородок был пробрит до глянца между бюрократиче-

скими баками.

— Пани наша у саду, — объявила Стася, ухмыляясь.

Келлерман прошел через столовую, гостиную, еще одну комнату без определенного названия и очутился на веранде. Прямо уходила липовая аллея. В глубине, на скамейке сидела с книгою Анна Николаевна.

— Что вы читаете?

Она протянула ему книгу.

— Вы знаете, что со дня на день могут нагрянуть сюда австрийцы?

— А вы бы уехали... Впрочем, это культурная нация, и, я уверен, они будут строго лойяльны.

— Культура, лойяльность, но ведь сама по себе война что-то дикое и чудовищное... Пойдемте отсюда... Я хочу движения, сегодня, кажется, будто свежо, видите, какое солнце оранжевое...

Они обошли дом, пересекли двор и очутились у ворот.

Спускался пологий пригорок, переходивший в плотину. С одной стороны плотины — в распутицу ее покрывала вода — начинался

пруд, из-за которого и все имение названо было Чарностав. Вода в пруде совсем не была похожа на пресную, — такой отливала чернотой. Высоко, над камышами, треугольником носились, крякая пронзительно и сухо, стаи диких уток.

К другой стороне плотины подступало болото. С виду самое обыкновенное, много-много по колено глубиною, болото. На протяжении версты уходили к сосновому лесу зеленые влажные кочки среди темнокрасной обильной железом водицы. Обманчиво было первое впечатление этого предательского, засасывающего болота, бездонного и страшного, — каких немало в юго-западном крае. Случалось, гибли в нем без следа отбившиеся от стада коровы, лошади. На деревне, там и сям белыми хатами раскинувшейся за плотиной, знали грешные человеческие души, убитственно засосанные проклятым болотом. Бабы, отправляясь за грибами или за ягодами в лес, дугою обходили болото за много верст. Лишь носатые журавли да аисты, прыгавшие длинными, красными ногами с кочки на кочку, оживляли мертвую поверхность болота.

Ветерок петлистой рябью, сверкающей на солнце, вздувал гладкую, как черное зеркало воду, протяжным шелестом гудел в камышах и трепал выбившийся у бледного виска локон. В модной прическе Ловицкая не напоминала сейчас девушку, как в дни гладкой прически. Теперь тяжелая каска волос изменила все лицо, и даже тонкая фигура чудилась в других линиях.

Анна Николаевна оглянулась на крышу завода с несколькими уступами и белыми закопченными, разных величин трубами. Ночью, возле одной из этих труб, худой и злоедающий... Что у него было, фонарь или факел? И, думая вслух, она повторила:

— Фонарь или факел?

— Pardon?

— Ничего...

Навстречу шла красивая яркой восточной красотой девушка с гладкими начесами темно-синих волос и свежим румянцем щек. Поравнявшись, девушка, опустив ресницы больших черных глаз, прошептала:

— День добры, пани.

— Здравствуйте, Велля... Это Велля, дочь

винокура. В ней что-то библейское, не то Эсфирь, не то Юдифь, и если б я умела рисовать...

— Анна Николаевна, я долго собирался с духом, я люблю вас и предлагаю руку и сердце. Я все обдумал, я красив, молод, у меня титул, впереди карьера, через два года я надзиратель, через пять ревизор и через десять управляющий акцизными сборами...

— Смотрите, до чего он быстро... Этот Максим...

Узенький челн летел по зыблящейся глади пруда. Максим, стоя посредине душегубки, греб тонким и гибким веслом. Челн с размаху ударился острым носом о берег. Максим, не теряя равновесия, схватил ружье и выпрыгнул на землю, весь забрызганный водою.

— Швабы, целый шкадрон, за полчаса будут у Чарностави!

— Что ж это будет, что ж это будет? — бледнея, спрашивал Келлерман. — Положим, я немец, и фамилия моя немецкая, но ведь я должностное лицо. Они могут объявить меня военнопленным... Это ужасно!

Он озирался, беспомощно ломая руки. Его

благовоспитанное лицо искривилось гримасою отчаяния.

— Что ж это будет? Вам хорошо, вы женщина, надо скорее уезжать. Ах, если б успеть!

И Келлерман, даже не простившись с Анной Николаевной, со всех ног бросился к усадьбе...

Максим стрелял на пруде уток недалеко от берега, хитрыми излучинами подошедшего к полю. Он увидел своим охотничьим глазом подвигающийся в облаке пыли отряд конницы. Дорогой, петлями змеившейся меж полей, до Чарностава было около восьми верст.

Смутно думая, соображая, стояла Анна Николаевна, и не было сил, решимости двинуться с места.

— Неужели надвигается что-то грозное, неведомое, неужели? Сейчас, когда небо так ясно, так нежно греет вечернее солнце и низко над плотиною, шелестя острыми крыльями, пронеслись неровным треугольником утки? Все так же спокойно, безмятежно, как всегда.

И почему-то именно сейчас вспомнилось Анне Николаевне — птицы потому летят тре-

угольником, что так им легче рассекать воздух. Это ей объяснял Максим...

5

Анна Николаевна сидела у себя в будуаре, прислушиваясь к чему-то, затихшая, ожидающая, а сомнения хаосом опережали друг друга. То ей казалось непоправимым это решение остаться, хотя даже теперь еще не поздно взять деньги, кое-какие драгоценности и в чем есть поспешить в сад. Там в конце аллеи свернуть вправо и через калитку, мужицкая подвода и...

Шум шагов, идут двое, торопливо через две комнаты. И еще шум, другой, чьи-то голоса, какие-то приказания на совсем неведомом языке. Это несется со двора в открытое окно, несется первым предостережением... Теперь уже поздно, всякое отступление отрезано, она не успела бы вынуть деньги из старинного, на тоненьких ножках секретаря-жакоб. А брильянты хранятся в материнской шкатулке с перламутровыми инкрустациями, шкатулка в спальне, в глубине приземистого комода красного дерева...

Франц Алексеевич и пан Свенторжецкий.

Этцель спокоен, только по обыкновению глаза блестят, выцветшие и холодные. На Свенторжецком лица нет, и вместе с нижней челюстью дрожит эспаньолка.

— Мадьярские гусары пришли, офицеры хотят представиться вам, — начал, растерянно жестикулируя, Свенторжецкий.

— Я не хочу никого видеть, никого, — капризно ударила маленьким бледным кулачком по столу Анна Николаевна, — зачем? Накормите их, дайте, ну овса что ли лошадям.

— Так не можно, — с язвительною улыбкою перебил Франц Алексеевич, — то есть самый аристократичны regiment, официрен, все графы и бароны, так не можно...

Анну Николаевну схватила черная злоба против этого, чуть слышно шелестящего своим противным голосом человека. И она гневно бросила ему:

— Это им вы сигнализировали с крыши, за то, что самый аристократический полк?

Этцель съежился весь и метнул в помещицу такой взгляд, — она угадала чутьем, что этот человек способен на все и так же полоснет ее ножом по горлу, как двадцать лет на-

зад его самого чуть не зарезал контрабандист.

— Зовите их, — молвила она упавшим голосом. Сама не узнала своих грудных нот.

Четыре гусарских офицера в темно-синих, отороченных мехом, не по войне, парадных и не по сезону теплых венгерках и в сургучного цвета рейтузах, придерживая левым локтем гнутые эфесы длинных сабель, щелкая шпорами, представились:

— Граф Этчевери...

— Граф Чакки...

— Барон Ласло...

— Граф Клечэ...

У Анны Николаевны отлегло. Все они корректны, воспитанны, отлично держатся, говорят по-французски. Страхи, к счастью, оказались пугалом собственной фантазии. Она овладела собой, превратившись опять в женщину, знающую свет и людей, какой она была в своей петроградской гостинной.

Ротмистр, командир эскадрона, граф Чакки, среднего роста, смуглый скуластый брюнет с тараканьими усами. Остальная молодежь — лейтенанты. Барон Ласло белобрыс, худ, скорее пруссак, чем венгерец. Граф Клечэ

красивый, бритый, с определенными южными чертами лица и английским пробором через всю голову. Этचेвери плотен, грузен, монументален и, если б не черные зубы, молодец хоть куда!

Не "завоеватели", а соседи, навестившие интересную помещицу.

Граф Клечэ, искусно владея моноклем, подхватывая круглое без ободка стеклышко на лету орбитой твердо угнездившегося птичьего глаза, восхищался:

— Оказывается, ваша Волынь, pardon, теперь она будет нашей, живописный край, не уступающий Карпатам!

— Этот громадный пруд в камышах, — подхватил, шевеля усами, граф Чакки, — уток тьма, и мы, с разрешения нашей очаровательной хозяйки...

Ей было смешно и странно. Комедия это — или порядочность? Ведь они могут делать здесь, что им угодно; все в их власти.

Она спросила:

— Зачем эта война, ведь это же один сплошной кошмар?

— Увы, Россия слишком горячо вступилась

за Сербию.

— Но Сербия, ведь она же такая маленькая, это все равно, что взрослый человек начнет борьбу с ребенком.

— Что делать, — склонил голову граф Чаки, — и маленьких детей, дурно воспитанных, принято наказывать. А Сербия все время держала себя по отношению к Австро-Венгрии вызывающе, наше терпение истощалось, и мы сотрем ее с лица земли.

— У вас очень красивая форма, — заметила Анна Николаевна, мало интересовавшаяся судьбою Сербии.

Офицеры самодовольно переглянулись.

— Мы не признаем никаких защитных цветов, — сказал граф Клечэ, — мы по старой традиции идем на войну, как на праздник, пусть враг видит нас издалека. Madame, право, наша форма очень красивая. Это первый гусарский полк венгерской короны, самый аристократический во всем королевстве, попасть в него так же трудно, как живым на небо. Вакансий мало, а желающих много, принимают с самым тщательным разбором, кандидат обязан документами установить

свое трехсотлетнее дворянство.

Граф Чакки встал, за ним и молодежь.

— Мы на время отклоняемся, благодарая любезности господина Этцеля мы успели привести себя в порядок, а теперь надо позаботиться о наших людях. Надеюсь, madame не откажет нам, проголодавшимся солдатам, в скромном обеде?

— И сама украсит его своим присутствием, — подхватил граф Клечэ, вынимая из глаза монокль.

— Русские знамениты на всю Европу своим хлебосольством, в сущности, только и есть две хлебосольных нации, это русские и венгерцы, — заметил, вытягиваясь, белобрысый барон Ласло.

Четыре офицера вышли, придерживая левым локтем эфесы. Анна Николаевна, обедавшая по-городски, в восьмом часу, пригласила их к своему столу.

Это, пожалуй, непатриотично, мелькнуло у нее, но ведь они могли бы потребовать обед силой, и если б она вздумала протестовать... Слава Богу, что все так хорошо, никаких страхов, ужасов. А они милые, пусть внешне, но

есть лоск и умение держать себя в гостинной.

6

Усадебный двор оживился.

Мадьяры в своей напоминающей балетных гусар форме и в красных головных уборах, водившие в поводу расседланных крепких венгерских лошадей, таких плотных в теле, холеных, еще не успевших исхудать на походах и на бескормице, — сообщали что-то лагерное, воинственное этой зеленой лужайке перед белым барским домом. И у людей, загорелых, скуластых, был хороший свежий вид. Если б не пыль, густым налетом покрывавшая лицо, можно было бы подумать, что весь эскадрон прибыл в Чарностав прямо с парадного смотра.

Этцель, жуя своими бескровными губами окурок сигары, чересчур охотно исполнял обязанности квартирьера. Приказал кучеру Анны Николаевны открыть громадные каменные конюшни в глубине двора, где можно было разместить весь конский состав.

— Что же касается солдат, — говорил граф Чакки по-венгерски Этцелю, — теперь ночи теплые, пусть спят на дворе — всем эскадро-

ном. И к лошадям ближе, и в случае тревоги... Кстати, Этцель, вы уверены, что поблизости нет казаков?

— Я же вам говорил, граф, третьего дня в окрестностях был эскадрон улан, и они ушли в Дубно, а теперь на шестьдесят верст по радиусу отсюда не наберется и нескольких русских солдат. В стратегическом отношении эта местность их нисколько не интересует, они все свои силы двинули к Люблину.

— Это хорошо, — согласился граф Чакки, — значит, нечего опасаться... Ну, а как у вас на счет прекрасного пола?

Этцель чуть слышно, скрипуче засмеялся гаденьким смехом.

— Выбор есть. Во-первых, сама хозяйка дома — женщина весьма интересная, затем тут еще у меня жид-винокур, дочка у него загляденье! И потом среди баб и девок... Словом, выбор хоть куда.

— Овса много у вас? — вспомнил вдруг ротмистр, что он образцовый эскадронный командир и, следовательно, хозяйственные заботы — прежде всего.

Франц Алексеевич развел руками.

— Вот этим, к сожалению, мы похвастать не можем, овса пустяки самые, но почему непременно овес? Мы имеем большой запас ячменя.

— Вот и прекрасно, позаботьтесь.

Ловицкая переодевалась к обеду с помощью Стаси. За дверью послышался взволнованный, умоляющий голос пана Свенторжецкого.

— На милость Бога!..

— Я сейчас, подождите минутку...

Анна Николаевна вышла помолодевшая, в скромном и гладком темно-зеленом платье, закрывавшем наглухо ее белую гибкую, красивых линий шею. Это было умышленно. Строгость туалета до некоторой степени — броня от всяких ухаживаний со стороны этих непрошенных гостей. Она все еще была под впечатлением своего неудачного, разбитого романа в Петрограде. За тишиной и покоем она и уехала сюда в эту волынскую глушь.

— Что случилось, пан Свенторжецкий?

— Але то, проше пани, разбой на большой дороге! Этот лайдак Этцель кормит унгарских коней ячменем, а когда я сказал, что я здесь

хозяин и не позволял, то он мне обещал, что венгры меня забиют.

Ловицкая нахмурилась, белый чистый лоб пересекся деловой, озабоченной складкой.

— Это в самом деле безобразия! Ячмень — слишком дорогой корм не только для неприятельских, но и для своих собственных лошадей. Я вышвырну вон Этцеля, а пока... Кто у них главный? Этот с усами? Я ему скажу за обедом... приходите и вы, но только ради бога не в этом измятом пиджачке. Этцеля я не позову к столу, австрийский шпион, он им сигнализировал, вы это знаете?

— Я все на него поверю, проше пани, это самый последний галган!

Вышколенная в Петрограде Стася с помощью бывшей у нее на побегушках дивчины сервировала на славу обеденный стол. Букет молочных электрических лампочек освещал сверху белоснежную скатерть, симметрично расставленные приборы с твердыми, как рогатые кардинальские шапки, салфетками. Сверкали серебро и хрусталь. По концам стола группировались бутылки с белым и красным вином, старкой и всевозможными, до-

машнего приготовления наливками. А чтоб окончательно поразить гостей, Стася, по собственному почину, добыла из погреба две приземистые, запыленные бутылки старого венгерского.

Голодные гусары облепили столик с закусками. Сардины, маринованные грибы, сыр, масло, редиска — все это уничтожалось усердней, чем следовало бы, заливаясь очищенной зубровкой и разными другими настойками, оцененными по достоинству офицерами "самого аристократического полка" венгерской короны. И когда сели к столу, они были куда развязней и в своих речах и движениях, чем в будуаре хозяйки. У всех блестели глаза, и даже белобрысый и бескровный барон Ласло весь пылал румянцем.

Пан Свенторжецкий сидел по левую руку Анны Николаевны. Он успел переодеться в черную визитку, и вид у него был весьма благопристойный. Он молчал, опустив глаза в свой прибор, и только вздрагивавшая эспаньолка выдавала его состояние.

Воспитанности венгерских гусар ненадолго хватило. Они как-то незаметно успели на-

питься, и в смеси водок, наливок и вин раста-
ял их внешний лоск... А главное, к чему себя
сдерживать и перед кем притворяться? Ведь
они завоеватели. Один из этих "завоевате-
лей", граф Чакки, так больно и грубо ущип-
нул Стасю, державшую перед ним блюдо с
плавающими в сметанном соусе дупелями,
что горничная, вскрикнув и вспыхнув, урони-
ла блюдо...

Анна Николаевна, отшвырнув салфетку,
поднялась гневная и, бросив гостям: "Вы не
умеете держать себя в обществе, это не на
кухне и не в казарме", — вышла из столовой,
вся в слезах оскорбления и обиды.

Вслед за нею демонстративно покинул
стол и пан Свенторжецкий. Офицеры весело
хохотали. Смех, не предвещавший ничего хо-
рошего. Носками своих лакированных гусар-
ских сапог с кокардами они расшвыривали
по полу дичь вместе с осколками разбитого
блюда.

Стася скрылась. Обед был прерван. Офице-
ры остались без цветной капусты и сладкого.
Но они были сыты, а шеренга выстроившихся
перед ними бутылок представляла собою угол

непечатый удовольствия.

Анна Николаевна заперлась у себя в спальне. Похолодевшая, чувствуя с ужасом, что теперь только "начинается"... Все рисовалось тревожно, мрачно, отвратительно. А впереди — ночь, пугающая, без конца и края. Спальня в первом этаже, и слава богу, можно в окно и бежать... Ах, зачем она не сделала этого раньше!.. Кто б мог подумать, что под красивыми мундирами и громкими титулами — такое оголтелое хамство... И вот она в своей нарядной, венецианской, белого дерева спальне, одинокая, беззащитная узница... Они могут ворваться...

Стук в окно, осторожный и длительный. Ловицкая вздрогнула... Темно. Анна Николаевна не зажигала огня. Четко и ясно обрисовалась на фоне стекла бородатая голова в теплой шапке. Лицо — и знакомое, и чужое. Страх сделал его чужим. Узловатые пальцы продолжают тихо барабанить из вечернего мрака...

— Максим! — спохватилась Анна Николаевна. И, бросив опасливый взгляд на дверь, — гул пьяных голосов доносился из

столовой даже сквозь целую анфиладу комнат, — приоткрыла окно.

— Пани, беспременно утекайте, а то они зробят вам худое — швабы; у меня есть простая жиночая одежда, — сподница, свитка, хустка на голову... То я вас проведу, только грошей с собою возьмите. Без грошей не можно, — спокойно и деловито объяснял Максим.

— Как же это? Я не знаю, право... — терялась Анна Николаевна... Но уже не было никаких колебаний. Остаться — это себя самое не жалеющее безумие.

Она торопливо взяла с собою все деньги, что были под рукою. Несколько сторублевок, горсть золота.

Максим торопил:

— Ой, не будет часу, — схватятся проклятые!..

Он помог Анне Николаевне вылезать, подняв ее как ребенка сильными руками и осторожно поставив на влажную вечерней росой траву. Меж густыми кустами сирени он повел ее в глубину фруктового сада. Там, в темноте сторожевого шалаша, пахнущего яблоками, Анна Николаевна одела сподницу, белую са-

мотканную свитку, а голову повязала платком, и хотя она верила Максиму, чисто звериной, охотничьей сметке его, но все же ее колотила дрожь и зуб не попадал на зуб...

— А если вдруг остановят, встретят? У них патрули...

— Там шлендрают за околицей ихние конники... проведем как-нибудь швабов, дурни! Опять же не рискуючи, ничего не зробишь...

На конце сада, упиравшегося оградой в поле, Недбай выглянул за калитку. Никого, ни души. Через дорогу в густеющих сумерках дремала белая деревенская церковь.

Максим потянул за руку Анну Николаевну.

— Ходим, никого немає!

Дорога шла средь бугров. По обеим сторонам сжатое поле.

Максим шептал, хотя кругом было пусто:

— Я доведу вас до Красноселки, а там в экономике дадут и бричку, и коней до Луцка...

— Они разграбят все, сожгут, эти разбойники.

— Э, не долго им пановать, я им подстрою такую штуку, если только Господь поможет! Попомнят...

Впереди из-за бугра навстречу — два всадника.

Максим обнял свою спутницу и, пошатываясь, запел пьяным голосом:

*Ишов Грыць с вечорныць...
Темненькой ночи...*

Гусары крикнули "halt", сняв с плеча карабины. Сухо щелкнули затворы...

7

Офицеры кончили бражничать. Они продолжали бы, но в бутылках не оставалось ни капли. Пили беспорядочно, хулигански. Вслед за белым и красным вином тянули зубровку, возвращались к венгерскому, переходили к наливкам. Сигарный дым застилал комнату, и мутно горела в этих сизых облаках люстра.

Скатерть была залита вином и прожжена в нескольких местах. Офицеры гасили об нее свои окурки.

Вспомнили наконец:

— А где же хозяйка? Черт возьми, это невежество — так надолго оставлять гостей... Пойдем разыщем ее!..

Вставали не без труда, наваливаясь грудью

на стол, роняя посуду. Шатаясь, двинулись гурьбою, волоча сабли, во внутренние комнаты. По пути неверными руками нащупывали выключатель, зажигали электричество. Уперлись, наконец, в закрытую дверь.

— Она здесь!

— Madame, pour ouvrir la porte![10]

Молчание.

Забарабанили кулаками.

— Лучше добром открывайте, а то высадим дверь!..

Никакого ответа.

— Ну, черт с ней, — решил граф Чакки, — все равно не уйдет... Позовем Этцеля, он обещал нам женщин...

Двинулись назад. Граф Клечэ уронил монокль. Стеклышко разбилось. Клечэ выругался по-извозчичьи.

— А, впрочем, у меня есть запасной...

Барон Ласло фальшиво напевал арию из "Веселой вдовы" — "Иду к Максиму я". Остальные подхватили.

В гостиной висел в резной, золоченой раме портрет улана двадцатых годов с красивым, мужественным лицом и в рогатом кивере.

Портрет кисти Кипренского изображал деда Анны Николаевны, князя Мышецкого. В молодых, энергичных глазах таилась какая-то странная жизнь, и это не понравилось барону Ласло. Он вынул из заднего кармана своих красных рейтуз браунинг.

— А, русская свинья, вот тебе!..

Первая пуля вонзилась в стену, вторая расщепила угол рамы, а третья изуродовала лицо улана. Довольный барон опустил револьвер. Гусары смеялись.

Надев свои красные головные уборы, они вышли из дому.

Где-то далеко над лесом тоненьким бледно-золотистым лезвием поднимался рог месяца.

Чакки громко крикнул копошившихся в глубине двора солдат. Двое подбежали к нему, вытянулись. Он приказал позвать Этцеля. Через несколько минут офицеры вместе с Этцелем шли к плотине. Франц Алексеевич обещал "показать" им Веллю. Винокур жил в домике на краю деревни. В окнах свет. Гусары и Этцель подошли ближе.

— У них праздник, сегодня пятница, — по-

яснил своим скрипучим шепотом Франц Алексеевич.

Семья винокура сидела за ужином. В медных шандалах горели сальные свечи. Янкель Духовный в шелковом картузе налил рюмку шабасовой водки и, пробормотав краткую молитву, пригубил. Его жена, увядшая женщина в парике, заботливо положила красавице Велле кусок рыбы на плоскую, в цветочках тарелку.

Велля случайно взглянула в окно, и ее черные глаза стали еще больше.

— Войдем! — скомандовал граф Чакки.

Офицеры, стуча саблями по деревянным ступенькам крыльца, с шумом и грохотом ворвались в дом. Перепуганная семья вскочила из-за стола. Опрокинулись тяжелые шандалы. Граф Клечэ схватил Веллю за подбородок.

— А, действительно, красавица!..

Велля, гневно сверкнув глазами, рванулась, пунцовая вся... Раздался пронзительный крик матери. Клечэ со зверски закушенной губою бросился к Велле, крепко обхватил ее и потащил к дверям. Винокур вцепился в его венгерку, осыпая непонятными ругательства-

ми. Барон Ласло, выхватив тот самый револьвер, которым он только что изуродовал портрет в гостиной, выстрелил в упор в Янкеля. Отец с круглой ранкою возле уха упал. Велля отбивалась, с безумием отчаяния царапалась, кусаясь. Взбешенный граф Клечэ — она расквасила ему щеку — ударил ее кулаком по лицу. Велля потеряла сознание. Офицеры подняли ее на руки и унесли. Мать в съехавшем на бок парике бежала за ними, что-то выкрикивая. Получив удар саблей, рухнула ничком, впиваясь пальцами в пыльную дорогу плотины.

8

С уменьшением расстояния между ним и разъездом Максим становился пьянее. И совсем уже вразлад и нелепо выходило у него:

*Ишов Грыць с вечорныць...
Темненькой ночи...*

Анна Николаевна в своей неуклюжей свитке и с головою закутанная в платок, беззвучно шептала молитву. Никогда еще даже в раннем, наивном детстве не молилась она так горячо... Вот всадники совсем близко. Вы-

росли громадными силуэтами. Слышен здоровый запах сильных вспотевших коней и новых кожаных седел. Гусары спрашивают что-то по-венгерски. Максим, размахивая руками, несет чепуху:

— Ото ж моя кума, паны мои ясные, ну то мы идэм у Красноселку с кумою, выпили по чарци, дай вам Бог здоровья, ну и до дому...

Гусары, перемолвившись чем-то, пропустили их, двинулись дальше. И когда исчезли за бугром, Максим прошептал:

— Слава богу, пронесло!..

Опасность миновала. У Анны Николаевны от радости подкашивались ноги.

— Ходим, пани, ходим, свет не близкий!

Средь безмолвных полей выросли на гребне пологого холма силуэты вытянутых построек. Собачий лай, острый запах конопли.

Максим поднял на ноги всю экономно, впрочем, она и так была вся на ногах, встревоженная близостью неприятеля. Венгерские патрули успели побывать и в Красноселке.

Нашли какой-то, не по росту и не по фигуре, большой жакет, — Ловицкая накинула его — путь предстоял неблизкий, ночью, хо-

лодной и звездной. Беглянка уехала в город.

Максим лишь к полуночи вернулся в Чарностав. Вернулся уже напрямик, сжатым полем. Обогнул усадьбу и — на деревню. У винокурова дома боязливо жалась толпа, говорили сдавленным шепотом. Мать Велли стонала еще. Кто-то обмывал ей окровавленную голову. Разъезд гусар с обнаженными саблями галопом бросился вдоль плотины. Толпа — врассыпную. Всадники, бранясь по-венгерски, били плашмя бегущих. Кто-то упал, кое-кого подмяли лошади. Крики, женский визг, собачий лай, шумятица...

Максим успел нырнуть в сени. Дверь в комнату открыта была настежь. У самого порога лежал, раскинув руки, Духовный. Черная борода слиплась от крови, а закостеневшие пальцы сжимали что-то маленькое. При трепетном свете одинокой сальной свечи Максим рассмотрел кусочек желтого шнура...

Максим покачал головой.

У этого всякие виды выдавшего контрабандиста созрел план гибели проклятых "гицелей" — так окрестил он хозяйничающих в Чарноставе мадьяр. Но прежде всего необхо-

димо обезвредить Франца Алексеевича. Своей угодливой болтовней он может все испортить.

Этцель жил в самом здании завода. Для него отремонтированы были три комнаты, куда этот всех и во всем подозревающий человек никого не пускал.

Максим, разбудив кучера, добыл у него пук тонкой бечевки. Здоровенный кучер Иван жаловался: венгерский унтер-офицер хотел взять себе новенькое дамское седло, Иван вступился. Венгры накинулись на него скопом, избили, а седло все-таки отняли.

Максим не слушал. То, что не давало ему покоя, поважнее всяких седел. Вот он под колоннами завода.

Глянул вверх, в одном окне свет. Это хорошо, но это еще не все. Максим пересек двор и навел в кухне справки. Офицеры, оказывается, расположились во флигеле для гостей. Потребовали еще вина, разнесли погреб. Там у них Велля — через весь двор с криком волокли, Стасю затащили: "Не приведи бог, что творится... Даже близко подойти страшно!.."

Максим вернулся к заводу, толкнул боль-

шую тяжелую дверь и, освоившись с охватившей темнотою, поднялся по деревянной, винтом круглившейся лестнице. Узенькая полоска света. Максим постучал:

— Цо там такогo? — недовольный голос Этцеля.

— Отчинит, пане, смертоубийство!..

Со звоном щелкнул замок. Франц Алексеевич подошел к двери.

— Ну?..

— Несчастье, пане, Янкелева дочка заризала старшаго офицера... Вас туда кличут.

Новость была ошеломляющая. Франц Алексеевич, вопреки обычной осторожности своей, впустил Максима в полутемную переднюю. Следующая комната — кабинет. Над письменным столом висел большой портрет Франца-Иосифа. Лампа с зеленым абажуром кидала на него мертвенно-холодные отсветы.

Максим, не теряя времени, охватил Этцеля крепким объятием, зажав его руки. Повалил и, надавливая коленом грудь, стискивая горло, допытывался:

— А теперь сознавайся, швабская псина, все равно один конец... сказал ты этим вен-

грам про болото чи нет?..

Этцель бился, хрипел. Выкатившиеся глаза горели бешеной злобой... Максим при всей своей громадной силе с трудом удерживал под собою этого сухого, как скелет, человека. Быстрым движением охотник вынул из кармана своей свитки нож и приставил его к шее Этцеля.

— Будешь ты говорить?

— Я ниц не мувил про блото, не успел, ниц не мувил!.. Пусти меня, я тебе добре заплатит... — судорожно бился Этцель.

— Знаем твои платы!..

Рукояткой ножа Максим ударил Этцеля по голове. Еще и еще... Этцель затих и вытянулся, потеряв сознание. Максим сунул ему в рот его же собственный носовой платок и, как мушкетера, спеленал бечевкою обеспамятевшего австрияка. Осторожно спустился с ним по лестнице и — на завод. Приподняв медную крышку одного из перегоночных котлов, Максим бросил на дно Этцеля, а крышку — на свое место.

Вспомнив что-то, Максим вернулся на квартиру Франца Алексеевича, взял с собою

его пальто, шляпу и погасил выгоравшую лампу...

9

К полудню приехал из соседнего местечка жених Велли. Этот молодой человек, румяный, безусый и в модном котелке с плоскими полями, был портной. Беззаботно помахивая тросточкой, направлялся он к дому Янкеля Духовного. И вместо радостной встречи — покойницкая. Жених увидел трупы Янкеля, жены его и Велли. Девушка, отпущенная ранним утром из флигеля пьяными мучителями своими, почерневшая, истерзанная, бросилась в пруд. Рыбаки вытащили из воды ее тело. Отец, мать и дочь лежали рядом на полу, среди неприбранных следов разгрома. Так застал их портной Исаак Варшавский. Он плакал и бился в жесточайшей истерике, а сердобольные люди отливали его водой. А когда он пришел в себя, то детские всхлипывания сменились у него проклятиями. Он грозил кому-то кулаками... Его значительно и сурово поманил к себе пальцем охотник и контрабандист Максим Недбай. Уединившись, они долго и настойчиво говорили. Вернее, гово-

рил один Максим. И когда Максим кончил, слезы молодого человека высохли. Он, с решимостью кивнув головой, схватил Максима за обе руки и стиснул их... И это было похоже на клятву...

Три графа и барон поздно встали с тяжелыми головами. Глаза мутные. Граф Клечэ, смотрясь в овальное, вынутое из щегольского несессера зеркало, долго не мог понять, откуда взялись у него эти царапины, обезобразившие красивое лицо, и наконец вспомнил:

— Ах, это жидовка!..

Денщики на цыпочках, осторожно лавируя между валявшимися бутылками, саблями, гусарскими сапогами, биноклями, полевыми сумками, окачивали буйные головы своих господ холодной водою. Граф Клечэ велел принести себе из вьюков запасную венгерку вместо вчерашней с оторванным шнурком. Одевшись, прицепив сабли, офицеры, как ни в чем не бывало, направились в белый дом с "утренним визитом" к хозяйке.

Пройдя всю анфиладу, через пропахшую сигарным дымом столовую с паркетом в лужах застывшего соуса, через гостиную с про-

стреленным портретом, они уперлись в закрытую дверь. Монументальный, считавшийся первым силачом в "самом аристократическом полку" Этчевери высадил дверь. В спальне пусто, открыто окно и не снята постель.

— Убежала, дура!..

— Тем хуже для нее!..

Офицеры принялись хозяйничать в спальне. Барон вскочил на широкую венецианскую кровать и, напевая "пупсика", отхватывал танец кэк-уок своими длинными, как спички худыми, обтянутыми в красные рейтузы ногами. Три графа занялись более существенным: стали обшаривать комод красного дерева, второпях не закрытый Анной Николаевной. Они нашли шкатулку в перламутровых инкрустациях с драгоценностями на несколько тысяч. Граф Чакки на правах старшего взял себе бриллиантовое кольцо, предоставив молодым лейтенантам кольца, браслеты и броши...

Солнечный августовский день бесконечным казался. Офицеры велели оседлать коней. Надо проехаться по деревне. Вспомнили Этцеля — и его взять с собою, тоже кавалери-

ста в прошлом. Но Этцеля не оказалось дома. По словам наученной Максимом прислуги, Франц Алексеевич уехал утром в соседнее местечко по какому-то делу и не возвращался.

На вымершей деревне — все живое попряталось, — офицеры застрелили несколько свиней и собак и довольные вернулись к позднему завтраку.

А вечером, когда всплыл над черным лесом узенький серп месяца, графу Чакки — он сидел на крыльце флигеля с сигарой — доложили, что его хочет видеть по важному делу какой-то еврей.

Это был Исаак Варшавский. Не глядя на ротмистра, чтоб тот даже среди лунного сумрака не мог видеть его глаз, Варшавский заговорил по-немецки.

Он хочет оказать важную услугу. Дело в том, что казачий патруль захватил перед вечером возвращавшегося из местечка в усадьбу Этцеля. Его приказано доставить в Луцк. Вместе со своим пленником они заночевали в соседнем лесу. Их выдали местные крестьяне. Если господин граф соблаговолит пройти к воротам, он увидит костер...

— А сколько их? — встрепенулся граф.

— Человек... человек пять... — запнулся Варшавский, боясь более крупной цифрой напугать венгерского офицера.

Граф кликнул из флигеля валявшихся на кроватях лейтенантов, и все они вместе прошли к воротам. Действительно, за версту приблизительно, у самой опушки леса, горел костер. Горел меж деревьями, таинственно и одиноко.

— Господа, мы окружим их и часть перебьем, часть возьмем в плен! Это будет первое наше боевое крещение, — воскликнул ротмистр.

— Второе, — поправил барон, намекая на расправу с винокуром и его женою.

Охваченные боевым пылом, от радости ног не чуяли под собою. Они захватят в плен казаков! Шутка ли, этих самых легендарных казаков, о которых идет такая слава!..

Развернутый лавою эскадрон с офицерами во главе двинулся на болото, подвигаясь к лесу. Он окружит казаков со всех сторон, лишит их возможности бегства. Огонь костра был путеводной звездочкой. Эта неосторожность

погубит их... Гусары шли рысью, придерживая сабли... Но чем дальше, тем становилось тяжелей лошадям. Они увязали в густом, засасывающем болоте. Рысь волей-неволей сменялась медленным, мучительным шагом. Кони проваливались, разбрызгивая вокруг себя тучи грязи...

Ужас охватил и офицеров, и солдат.

— Назад!..

Но было уже поздно возвращаться. Лошади с тревожным фырканьем застревали по брюхо в тине. И это в каких-нибудь двухстах шагах от берега. Всадники, чуя медленную гибель, надеясь на более легкий вес свой, прыгали в болото. Но сделав два-три шага, сами провалились в эту втягивающую неумолимую трясиину. И дикий, животный крик стоном повис над предательским болотом... А там впереди, у опушки леса, разгорался заманчивый костер, освещающий черные сосны искрящимся пламенем своим...

Все отчаянней и безнадежней крики... Все глубже погружались в тину и люди, и лошади...

Уж видны только головы. Над ними руки,

хватаящие воздух. Потом исчезли и руки, и головы... Смолкли дикие вопли... И стало тихо. И, как всегда, была загадочна и пустынная гладь ночного болота...

ДИКАЯ ДИВИЗИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОД ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ ЛЬВАМИ

Каждый маленький, глухой городишко австрийской Галиции желал походить если даже и не на Вену, эту нарядную столицу свою, то, по крайней мере, хотя бы на Львов. Подражательность эта выявлялась главным образом в двух-трех кафе, или, по-местному, по-польски, — в цукернях.

Пусть в этих цукернях выпивался за весь день какой-нибудь жалкий десяток стаканов кофе с молоком, съедалось несколько пирожных, и местные чиновники играли две-три партии на биллиарде. Пусть, но и кофе, и пирожное, и сухое щелканье шаров в дыму дешевых сигар и папирос — все это вместе давало бледный отзвук той жизни, которая бурлит и клокочет в блестящей, прекрасной и недосягаемой Вене.

Когда началась война и русская армия заняла Галицию, дела местных каверень не

только поправились, а побежали в гору. Кофе и пирожное отошли в историю. Щедро платившие русские офицеры пили старое венгерское вино, ликеры и шампанское, а сухое щелканье бильярдных шаров не смолкало с утра и до поздней ночи.

Так было везде, так было и в местечке Тлусте-Място, где стоял штаб туземной кавказской конной дивизии. Более интимно и более сокращенно ее называли Дикой дивизией.

В цукерне "Под тремя золотыми львами" переменялся хозяин. Прежний — старый седоусый поляк с приятными манерами, — продал свое дело, уехал куда-то, а вместо него появился господин, хорошо одетый, с военной выправкой, с ястребиным профилем помятого лица и с тонкими губами. Он был вежлив, но у него не было мягких, профессиональных манер седоусого пана.

По-русски он говорил почти свободно, хотя и с акцентом. Но когда офицеры Дикой дивизии, эти бароны, князья и графы в черкесках, говорили при нем по-французски и по-английски, никто из них не подозревал, что хозяин владеет не только этими языками, но

еще и чешским, сербским, румынским и даже турецким.

Ему не сиделось на месте. Он часто ездил в Тарнополь и в Станиславов. В этих городах у него тоже были свои цукерни, конечно, более шикарные, чем "Под тремя золотыми львами". Но с тех пор как фронт утратил свою подвижность, затих, и штаб Дикой дивизии надолго обосновался в Тлусте-Място, обладатель ястребиного профиля основательно засел "Под тремя золотыми львами".

Цукерня помещалась в бельэтаже небольшого кирпичного особняка. Надо было подняться по деревянной лестнице, расшатанной и скрипящей с тех пор, как ступеньки ее неустанно попирались тысячами, десятками тысяч ног в кавказских чувяках и в сапогах со шпорами.

В первой комнате — столики и буфет, а за буфетом дебелая блондинка. Во второй комнате — два биллиарда. В остальных комнатах — квартира хозяина.

И вот в эту летнюю ночь, когда после одиннадцати цукерня была закрыта и над стеклянной дверью уже не звенел колокольчик

на железной пружине, хозяин принял в своем кабинете позднего гостя.

Этот посетитель — фельдшер Дикой дивизии в серой суконной черкеске и с большим кинжалом на животе. От черкески и кинжала воинственный вид фельдшера Карикозова мало выигрывал. Черкеска сидела на его несуразной фигуре отчаянно, а кинжал был ему только помехой. Карикозов был человек путаной и сбивчивой национальности, называл себя то армянином, то кабардинцем, то осетинцем, в действительности же не был ни тем, ни другим, ни третьим. Череп его имел форму дыни с большим плоским лбом. Лицо с носом-картофелиной, резко асимметричное. Одна половина не сходилась с другой. Левый глаз ниже правого, и в таком же соответствии и брови, и линия рта. В общем — восточная внешность, но сказалась в фельдшере Карикозове менее всего в смысле породы и более всего вырожденчески. Такие типы в Константинополе приставали к европейским туристам, таинственно обещали ввести их в гарем какого-нибудь паши, но вместо гарема вели в публичные дома Галаты, где они получали

известный процент с каждого "гостя".

Хозяин цукерни "Под тремя золотыми львами" сел, закурил сигару и только потом неохотно предложил сесть человеку с большим кинжалом.

Обладатель ястребиного профиля опытным, холодным, прищуренным взглядом всматривался в посетителя.

"Глуп, туп и лукав", — решил он. А посетитель напряженно молчал, и от этого напряжения и еще от сильной охоты угодить его лобдыня вспотел.

— Ваша фамилия Каракозов?

Хозяин цукерни коснулся больного места: фельдшер злился, когда искажали его фамилию, и все лицо вместе с бровями и ртом пришло в движение, и он заговорил хрипло и резко, с акцентом актеров, выступающих с армянскими анекдотами:

— Паслюшайте, господин, очень вас прошу — я не Каракозов и не Киракозов... я Карикозов, нанимаете, Карикозов!

Подобие улыбки тронуло тонкие губы, но холодными оставались глаза.

— Хорошо, я буду помнить: вас зовут Кара-

кизо-вым. Так вот, Каракизов, если вы будете доставлять интересные сведения, я буду вам хорошо платить.

— Почему не интересно? Всегда будет интересно! — пообещал фельдшер.

— У вас есть какое-нибудь отношение к штабу дивизии?

— Очень большое отношение. Старший писарь на оперативные отделения мой первый друг.

— Да, это очень хорошо... Но только соблюдайте осторожность, чтобы не влопаться. А эта ваша дружба, на чем же она основана?

— Я его лечу от одной неприятной болезни... Даже очень нехороший балезнь...

Вновь сухие губы дрогнули улыбкой.

— Лечите же его подольше. Пациент всегда заискивает перед своим врачом и поэтому — болтлив. А скажите, Каракозов, виноват, Каракизов, как поставлена охрана великого князя?

— Известно! Конвой охраняет, а начальник конвоя ротмистр Бичерахов, осетин. Великий князь очень храбрый: все вперед, все вперед! А только Юзефович, полковник, на-

чальник штаба, не пускает. "Ваше высочества, — говорит, — я вашей маменька-императрица слова дал, буду беречь ваша священни особа"... Как следует охраняет!

— Кроме конвоя есть еще и тайная охрана?

— Есть! Четыре политических сыщик. Только он об этом ничего не знает, "Михайло".

— Как вы сказали?

— Михайло, говорю! Наши туземни всадник так называют великий князь: "наш Михайло".

Карикозов хотел еще что-то прибавить, но осекся, увидев, что собеседник его не слушает, думая о чем-то другом. Карикозов понял инстинктом: они хотят убить великого князя, уже потому хотя бы, что он брат государя. И фельдшер побледнел, и во рту у него пересохло, но не от каких-либо добрых человеческих побуждений, нет, а просто Карикозов струсил. Он был отчаянный трус.

Хозяин открыл ящик письменного стола и вынул две новенькие сторублевки.

— Вот вам аванс на расходы. Помимо директив, которые будут от меня получаться,

доносите обо всем, что увидите и услышите. Не все, конечно, а то, что будет иметь военное значение. Возьмите же это...

Фельдшер рукою, походившей на птичью лапу, с узловатыми, короткими пальцами, взял со стола деньги и зажал их под длинным рукавом черкески. Его лицо, отвратительное и без того, исказилось жадностью, и эта жадность подсказала ему:

— Господин, еще спирт магу, каньяк магу...

— Не надо.

— По дешевой цене...

— Не надо!

— Кокаин?

Что-то блеснуло в холодных глазах человека с ястребиным профилем:

— Кокаин принесите!

Он встал.

— Вас проведут черным ходом. И всегда приходите с черного хода. Переулок темный, узенький... там никогда никого не бывает...

Фельдшер, очутившись в переулке и нагнувшись на глаза папаху, уверенный, что так его никто не узнает, подняв полы черкески, засунул в карман две скомканные сторублев-

ки.

"Для начала неплохо, — подумал он. А вторая мысль была: — Этот австриец прав, шельма, надо затянуть болезнь старшему писарю оперативного отделения..."

ВСАДНИКИ ИЗ ГЛУБИНЫ АЗИИ

Русская так называемая регулярная конница всегда стояла на большой высоте. Но в то же время необъятная империя обладала еще и прирожденной конницей, единственной в мире по числу всадников, по боевым качествам своим.

Это — двенадцать казачьих войск, горские народы Северного Кавказа и степные наездники Туркестана.

Ни горцы, ни среднеазиатские народы не отбывали воинской повинности, но при любви тех и других к оружию и к лошади, любви пламенной, привитой с самого раннего детства, при восточном тяготении к чинам, отличиям, повышениям и наградам, путем добровольческого комплектования можно было создать несколько чудесных кавалерийских дивизий из мусульман Кавказа и Туркестана. Можно было бы, но к этому не прибегали.

Почему? Если из опасения вооружить и научить военному делу несколько тысяч ино-родческих всадников, — напрасно! На мусульман всегда можно было вернее положиться, чем на христианские народы, влившиеся в состав Российского царства. Именно они, мусульмане, были бы надежной опорой власти и трона.

Революционное лихолетье дало много ярких доказательств, что горцы Кавказа были до конца верны присяге, чувству долга и воинской чести и доблести.

Мы на этом в свое время остановимся подробно, а посему не будем забегать вперед.

Только когда вспыхнула Великая война, решено было создать туземную конную Кавказскую дивизию.

С горячим, полным воинственного пыла энтузиазмом отозвались народы Кавказа на зов своего царя. Цвет горской молодежи поспешил в ряды шести полков дивизии — Ингушского, Черкесского, Татарского, Кабардинского, Дагестанского, Чеченского. Джигитам не надо было казенных коней — они пришли со своими; не надо было обмундирования —

они были одеты в свои живописные черкески. Оставалось только нашить погоны. У каждого всадника висел на поясе свой кинжал, а сбоку своя шашка. Только и было у них казенного, что винтовки. Жалованья полагалось всаднику двадцать рублей в месяц. Чтобы поднять и без того приподнятый дух горцев, во главе дивизии поставлен был брат государя, великий князь Михаил Александрович, высокий, стройный, сам лихой спортсмен и конник. Такой кавалерийской дивизии никогда еще не было и никогда, вероятно, не будет.

Спешно понадобился офицерский состав, и в дивизию хлынули все те, кто еще перед войной вышел в запас или даже в полную отставку. Главное ядро, конечно, кавалеристы, но, прельщаемые экзотикой, красивой кавказской формой, а также и обаятельной личностью царственного командира, в эту конную дивизию пошли артиллеристы, пехотинцы и даже моряки, пришедшие с пулеметной командой матросов Балтийского флота.

И впервые с тех пор как существует русская военная форма, можно было видеть на

кавказских черкесках "морские" погоны.

Вообще Дикая дивизия совмещала несоместимое. Офицеры ее переливались, как цвета радуги, по крайней мере двумя десятками национальностей. Были французы — принц Наполеон Мюрат и полковник Бертен; были двое итальянских маркизов — братья Альбици. Был поляк — князь Станислав Радзивилл и был персидский принц Фазула Мирза. А сколько еще было представителей русской знати, грузинских, армянских и горских князей, а также финских, шведских и прибалтийских баронов? По блеску громких имен Дикая дивизия могла соперничать с любой гвардейской частью, и многие офицеры в черкесках могли увидеть имена свои на страницах Готского альманаха.

Дивизия сформирована была на Северном Кавказе, и там же в четыре месяца обучили ее и бросили на австрийский фронт. Еще только двигалась она на запад эшелон за эшелоном, а уже далеко впереди этих эшелонов неслась легенда. Неслась через проволочные заграждения и окопы. Неслась по венгерской равнине к Будапешту и Вене. В нарядных кофейнях

этих обеих столиц говорили, что на русском фронте появилась страшная конница откуда-то из глубины Азии. Чудовищные всадники в длинных восточных одеждах и в громадных меховых шапках не знают пощады, вырезают мирное население и питаются человеческой, требуя нежное мясо годовалых младенцев.

И сначала не только досужие болтуны в кофейнях, но и штабные австрийские офицеры, имевшие о России более чем смутное понятие, готовы были верить, что страшные всадники действительно вырезают все мирное население и лакомятся детским мясом.

Легенда о кровожадности всадников не только поддерживалась, а и муссировалась австрийским командованием, чтобы внушить волю к сопротивляемости мозаичным, разноплеменным войскам его апостольского величества императора Франца-Иосифа.

И когда эта "человеческая мозаика" начала сдаваться в плен, высшее командование наводило армию воззваниями: "Эти азиатские дикари вырезают поголовно всех пленных".

Воззвание успеха не имело. Ему никто не

верил. Австрийские чехи, румыны, итальянцы, русины, далматинцы, сербы, хорваты батальонами, полками, дивизиями под звуки полковых маршей, с развернутыми знаменами переходили к русским.

Наше повествование относится к моменту, когда после успехов и неудач русская армия, освободив часть Галиции, задержалась на линии реки Днестр. Дикая дивизия занимала ряд участков на одном берегу, более пологом, а к другому, более возвышенному, подошли и закрепились австрийцы.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ

Фельдшер Карикозов не солгал человеку с ястребиным профилем: полковник Юзефович, крепкий, приземистый, большеголовый и широкоплечий татарин, следил, чтобы во время боев великий князь Михаил не вырывался вперед и не рисковал собой.

Как только Юзефович был назначен начальником штаба Дикой дивизии, его потребовал к себе в ставку верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич.

— Немедленно отправляйтесь в Киев. Вас

желает видеть императрица Мария Федоровна.

В Киеве императрица, обласкав Юзефовича, сказала ему:

— Полковник, прошу вас как мать, берегите Мишу. Вы можете дать мне слово?

— Мое слово солдата вашему величеству, я буду охранять великого князя по мере сил моих...

Юзефович был верен своему слову. А держать слово было нелегко. Нужны были неустанная зоркость и внимание, настойчивость, надо было, кроме того, быть дипломатом, действовать так, чтобы, во-первых, сам великий князь не замечал опеки над собой, а во-вторых, чтобы ее — этой самой опеки — не замечали все те, перед кем можно было поставить великого князя в неловкое положение. А он, как нарочно, всегда хотел быть там, где опасно и где противник развил губительный огонь.

Толкала Михаила в этот огонь личная отвага сильного физически, полного жизни спортсмена и кавалериста, затем еще толкала мысль, чтобы кто-нибудь из подчиненных не

заподозрил, что своим высоким положением он желает прикрывать свою собственную трусость. А между тем, если подчиненные и упрекали его, то именно в том, что он часто без нужды для дела и для общей обстановки стремился в самое пекло.

Хотя польза была уже в том, что полки, видя великого князя на передовых позициях своих, воспаменялись, готовые идти за ним на верную смерть. Он одним появлением своим наэлектризовывал горцев. И они полюбили его, полюбили за многое: прежде всего за то, что он брат государя и храбрый джигит, а потом уже за стройность фигуры, тонкость талии, за умение носить черкеску, за великолепную посадку, за приветливость и за то, наконец, что у него была такая же ясная, бесхитростная душа, как у них, этих наивных всадников.

И так же просто и ясно, на виду, как под стеклянным колпаком, жил великий князь на войне. Обыкновенно генералы куда большим комфортом и блеском окружали себя.

Вся свита Михаила не превышала двух-трех адъютантов. На походах он ютился в тес-

ных мужицких халупах вместе с офицерами, а в дни трудных зимних боев в Карпатах спал в землянках и, питаясь консервами, заболел желудочной язвой.

На длительных стоянках в городах и местечках, как то было в Тлусте-Място, он занимал две комнаты. Одна служила ему кабинетом и спальней, другая — столовой.

Сам он кроме минеральной воды ничего не пил, и вино подавалось для свиты и для гостей — иногда приглашались к завтраку или к обеду командиры бригад и полков, а то и офицеры помоложе, из тех, кого Михаил Александрович знал лично и по совместной службе в гвардии, и по черниговским гусарам, коими он командовал около двух лет в провинциальном глухом Орле, куда был послан за свой роман с женой ротмистра Вульфферта, однополчанина своего по синим кирасирам.

Теперь он был женат на бывшей мадам Вульфферт морганатическим браком помимо воли своего брата-государя и царицы-матери. Супруге Михаила высочайше дана была фамилия Брасовой, даже без титула — знак ис-

ключительного неблаговоления.

В этом домике под черепичной крышей, одноэтажном, наполовину выходявшем во фруктовый сад, жил раньше австрийский чиновник; может быть, судья, может быть, нотариус, может быть, полицейский комиссар. С наступлением русских чиновник эвакуировался в глубь страны, дом опустел и теперь занят великим князем.

Сегодня, кроме адъютантов и дивизионного священника, приглашен к завтраку еще и Юзефович...

Скромные закуски вытянулись на тарелках и блюдах от края до края между приборами: масло, сыр, ветчина, редиска, холодное мясо. Старый придворный лакей, бритый и важный, в серой тужурке с металлическими пуговицами, больше идущий к дворцовым анфиладам, чем к этой низенькой комнате, вместе с другим лакеем, помоложе, покрыл весь стол громадным куском кисеи. Так было уже заведено в летнее время: перед тем, как садиться, когда кисея из белой превращалась в черную, густо облепленную мухами, великий князь с одной стороны, а с другой кто-ни-

будь из адъютантов — ротмистр Абаканович или полковник барон Врангель — быстро и ловко свертывали кисею, и все мухи попадали в мягкую прозрачную западню. Лакей уносил жужжащую кисею. Священник, обернувшись к иконе, читал молитву. Михаил Александрович занимал председательское кресло, и все рассаживались вдоль стола.

Так было и на этот раз.

И на этот раз, как и всегда, великий князь, по врожденной застенчивости своей, не овладевал разговором как старший по чину и по положению, а, вопреки этикету, к нему обращались и его занимали.

Священник с длинными, светлыми волосами и светлой бородой, выжав на сардинку пять-шесть лимонных капель, повернул иноконописную голову свою к Михаилу.

— Ваше императорское высочество, приходилось вам когда-нибудь встречать германского кайзера Вильгельма?

Бледное, нежное лицо Михаила вспыхнуло. Он всегда вспыхивал, с кем бы ни говорил, будь это даже простой всадник. Непонятная застенчивость в этом более чем светском че-

ловеке, атлетически сложенном, стальными пальцами своими рвавшем нераспечатанную колоду карт и гнувшем монеты. Необычайную силу свою он унаследовал от отца, Александра III. Но, увы, не унаследовал отцовской силы воли и умения властвовать. Наоборот, у Михаила было отвращение к власти, а царственным происхождением своим он тяготился.

Священник, все еще держа горбушку лимона, ждал ответа на интересовавший его вопрос. Он случайно во время войны попал в высокие сферы и хотел узнать то, чего в обычных условиях никогда не узнал бы.

Михаил поднял глаза и как бы осветил всех мягким взглядом.

— В обществе императора Вильгельма я однажды провел около трех часов, это было летом, кажется, в 1909 году. Я тогда путешествовал по Германии.

— Какое же впечатление он оставил о себе у вашего высочества? — спросил священник, весь обратившись в слух.

Михаил не сразу ответил. Ему не хотелось говорить дурно даже о том, кто сейчас воевал

против России и был всегда врагом маленькой Дании, а следовательно, и царицы-матери как датчанки.

— Мое впечатление?.. Как вам сказать, батюшка, за эти три часа — это было на германском броненосце в Киле — император Вильгельм успел несколько раз переодеться. Я его видел в штатском, видел в мундире немецкого адмирала и, наконец, в русской форме. Он ведь был шефом Выборгского пехотного армейского полка.

— Фигляр, — тихо уронил мрачный Врангель.

— Позер, — поддержал его ротмистр Абаканович с моложавым, почти юношеским лицом.

— Хм... да... Очень даже легкомысленно для такой высокой особы, — молвил священник.

Вошел Юзефович.

— А вот и Яков Давыдович! — Сейчас только вспомнил великий князь, что прибор начальника штаба оставался пустым. Юзефович, уже видевший утром Михаила, сказав, как полагается: "Ваше высочество, разрешите

сесть", — занял свое место.

С его появлением как-то подтянулись и адъютанты, и священник. Все они побаивались резкого и самостоятельного Юзефовича. А тут он был еще не в духе и торопливо ел, поглядывая на часы.

Видя его нетерпение и угадывая, что он желает скорее остаться с ним с глазу на глаз, Михаил, как только был подан кофе, вставая, обратился к свите:

— Господа, не беспокойтесь... Я пойду с Яковом Давыдовичем в кабинет.

И высокий, стройный, легкой и в то же время упругой походкой он исчез в соседней комнате, и вслед за ним вошел и закрыл дверь Юзефович.

В домашней, не в боевой обстановке и начальник дивизии, и начальник штаба не носили кавказской формы. Юзефович был в английском френче, а великий князь в тонком парусиновом кителе с матерчатыми генеральскими погонами, в таких же парусиновых бриджах и в мягких желтых сапогах.

— Садитесь, Яков Давыдович. Вы чем-то озабочены? Дурные вести? — И ясные глаза

Михаила встретились с татарскими глазами Юзефовича.

Начальник штаба ответил не вдруг. Да и нелегко было вдруг ответить. Из штаба армии его известили: по сведениям армейской контрразведки, австрийцы готовят покушение на великого князя. По тем же сведениям, австрийским жандармам-добровольцам поручено убийство Михаила. Они должны с фальшивыми паспортами, переодетые в штатское, просочиться в Тлусте-Място.

Юзефович уже приказал всех мало-мальски подозрительных мужчин арестовать и выслать из расположения дивизии. Но этого мало, надо сделать ряд обысков, облав и принять особые меры к охране великого князя.

Он колебался, с чего начать — вопрос неприятный и щекотливый, и, как это всегда бывает у решительных людей, начал с первой пришедшей в голову мысли.

— Ваше высочество, вы гуляете вечерами по местечку. Я очень просил бы сократить, да же совершенно отменить эти прогулки.

— Это почему? — удивился Михаил.

— По моим сведениям, это далеко не без-

опасно. Могут, и не только могут, а и... ну, словом, я очень рекомендовал бы вашему высочеству беречься! Это мы честно воюем, не прибегая к террористическим актам, а у неприятеля все средства хороши.

— Что же, убьют меня, на мое место назначат другого...

— Но в данном случае идет речь не о начальнике туземной дивизии, а о высочайшей особе, брате государя, — пояснил Юзефович, — надеюсь, ваше высочество обещает?

— Я ничего не обещаю! — возразил великий князь с твердостью, удивившей Юзефовича.

Как слабохарактерный человек, Михаил уступал ему во многом, но до тех пор, пока эти уступки не задевали повышенного чувства самолюбия и воинско-рыцарской чести, отвлеченной, не желающей считаться с действительностью. Михаил почел бы для себя за самое унижительное и постыдное прятаться от "каких-то убийц", и, кроме того, еще глубоко религиозный, он был уверен, что без воли Божьей с ним ничего не случится — особенный христианский фатализм, сходный с му-

сультманским. Юзефович увидел, что здесь ему не поставит на своем, не переспорить, не переубедить. Он только прибавил, сдерживаясь и боясь сказать лишнее:

— Должен поставить в известность ваше высочество, что и днем, и ночью весь город и особенно местность, прилегающая к штабу и квартире вашего высочества, будут охраняться пешими и конными патрулями из туземцев.

— Лично был бы против, но это уже ваше право, Яков Давыдович, и в этом я вам не помеха.

ЛАРА ЗАИНТЕРЕСОВАНА. ЛАРА ЕДЕТ

— Нет, Юрочка, милый, вы какой-то не настоящий!

— Почему же я не настоящий, Лариса Павловна? — обиделся Юрочка.

— Да потому! Сколько времени я вас не видела? Около двух лет? Больше! Вы тогда после своего лица высиживали в какой-то канцелярии, и у вас был глубоко штатский вид. Вы сутулились... Правда же, Юрочка! И у вас торчали вихры. А теперь эта кавказская форма... к вам подступиться страшно! Нет, все это

ужасно, ужасно воинственно. Сил нет! Кинжал, револьвер, сабля!..

— Шашка, — поправил Юрочка.

— Пусть будет шашка! Я ведь женщина и этих ваших тонкостей не знаю. Наконец, эти непокорные вихры, где они? Их нет и в помине. Вы стали брить голову, как татарин. Какой же вы настоящий?

— А может быть, тогда я и был не настоящий? — не сдавал своих позиций Юрочка. — Мой дед, генерал Федосеев, — один из героев кавказских войн.

— А, вы хотите сказать, что в вас проснулся атавизм?

— А почему бы и нет? Право, обидно...

— Ну, ну, не обижайтесь, Юрочка! Нет, не шутя, я верю вам, да, да! В этой красивой форме, с бритой головой, вооруженный до зубов, вы и есть настоящий Юрочка Федосеев.

Разговор происходил в Петербурге, у Ларисы Павловны Алаевой. В свете сокращенно звали ее Ларой. Это шло ее нерусскому типу, типу высокой, гибкой брюнетки со своенравным, но притягивающим лицом — чуть-чуть косая линия губ, чуть выдающиеся скулы, две

продолговатые миндалины темно-кофейных глаз. Алаева — это по мужу, ныне покойному. Девичья же ее фамилия была Фручера. В итальянскую кровь давно обрусевших триентинцев Фручера из поколения в поколение вливалась еще и греческая, и армянская, и русская, и еще какая-то восточная. И путем такого подбора создавалась экзотически-азиатская Лара, затмевавшая писанных классических красавиц. Ей очень к лицу было бы множество браслетов с цепочками и разными висюльками. Она знала это, но не носила, считая бьющим на дешевый эффект мовэ жанром. В обществе у Лары была репутация легкомысленной женщины, грешившей и при муже, и после мужа, но настолько искусно и с таким чувством меры, чтобы оставаться в этом обществе, быть всюду принятой и принимать у себя.

Она курила, забрасывала ногу на ногу и, не злоупотребляя, баловалась кокаином. Но все это было в ее стиле — и папиросы, и нога на ногу, и кокаин. Куренье не лишало ее женственности, ножки у нее были прелестные, а кокаин с "военной" распушенностью и поис-

ками сильных ощущений приобретал все больше и больше права гражданства в петербургских салонах, в тылу и на фронте.

Лара не узнала Юрочку. Два года назад Юрочка не подавал никаких надежд. Вернее, подавал надежды кончить дни свои бесцветным и тусклым чиновником, нажившим вместе с геморроем еще и чин тайного советника.

И, дымя папироской, наблюдая, как Юрочка откидывает широкие, длинные рукава черески, отчетливый в движениях и с обветренным лицом — оно темнее светловолосой бритой головы, — Лара спросила:

— Но как же, Юрочка? Вас не позвали? Вы сами? Добровольцем?

— Добровольцем, — согласился Юрочка.

— Отчего это? Повоевать захотелось?

— Да, повоевать. И еще... — он как-то замялся, — еще любовь к родине.

— Любовь к родине? — сощурила восточные миндалины свои Лара. — Нас этому в институте не учили...

— И это очень плохо! — подхватил Юрочка. — И нас в лицее тоже не учили. Над патриотизмом смеялись не только левые, но и

правые. И вот понадобилась война, и какая война, чтобы всколыхнуть это чувство! У одних спавшее, а у других... — и, не кончив, махнул рукой: вместе с широким книзу рукавом она походила на крыло птицы.

Лару нельзя было назвать недалекой женщиной, но она не жаловала отвлеченных бе-сед.

— Какой на вас чин, Юрочка?

— Я, я, видите ли, прапорщик, — сконфузился он за свою одинокую звездочку на погонах, — но через два-три месяца, если, конечно, ничего особенного не случится, я буду произведен в корнеты.

— Корнет звучит гордо, — улыбнулась Лара. — Но, кстати, в какой части вы служите? Что-то вроде казаков?

— Лариса Павловна, да вы откуда? С луны? — всплеснул руками негодующий Юрочка. — Неужели вы не слышали про славную туземную кавказскую конную дивизию?

— Ах это! — спохватилась Лара. — Так бы и сказали! Конечно, слышала: Дикая дивизия? Там у вас Напо Мюрат?

— И Мюрат... И вообще, ничего подобного

вы не найдете во всей армии. У нас и рыцари долга и чести, и кондотьеры, и авантюристы, и все те, кого, как хищников, привлекает запах крови. А наши всадники? Эти горцы, идущие на войну, как на пир, на праздник! А наша молодежь с девичьими талиями и с громадными, влажными черными глазами газелей? А сухие старики, увешанные Георгиями еще за Турецкую войну и служившие в конвое императора Александра II? Им уже за семьдесят, но какие бойцы, как рубят, какие наездники! У нас есть один пожилой всадник. Он командовал чуть ли не всей персидской армией. Ингуш Бек-Боров. Он красит бороду в огненный цвет...

— Как это интересно! Что-то нероновское. А ногти красит?

— Ногти? — опешил Юрочка. — Этого я не заметил... Но не разболтался ли я? Вам не скучно?

— Нисколько! Все это так ново! И нравы, должно быть, тоже особенные?

— О, еще бы! Совсем другой мир! В каждом полку свой мулла. Священник, — пояснил Юрочка. — Мулла весь в черном, а его папаха

обернута зеленым. Цвет знамени пророка. Вот в черкесском полку мулла ученый, побывавший в Мекке. Его папаха обернута белым. Каждый мулла на позициях со своим полком, и, как у всех, у него винтовка, кинжал и шашка. Хоронят убитых они, не обмывая, как у нас, христиан, а как застала его смерть, со следами крови, в полном вооружении и в боевой черкеске, чтобы на том свете видели все, какой это был доблестный джигит и какой славной смертью он погиб. У наших мусульман считается великим бесчестием покинуть павшего товарища на поле сражения. Он должен быть похоронен своими же и по своему обряду. Бывали случаи, горцы под адским огнем, теряя людей, вытаскивали и уносили труп всадника своей сотни...

— О, да это совсем романтично! — вырвалось у Лары.

— Еще бы! Это сплошная романтика! Это нельзя рассказать, это надо видеть! Знаете что, Лариса Павловна, приезжайте к нам погостить. Только скорее, пока у нас затишье и нет боев. Я послезавтра возвращаюсь в полк. Хотите, вместе поедем? Здесь, в Петербурге,

вы все живете сплетнями, скучаете, томитесь, а там — настоящая жизнь. И как будут вам рады! Какие перспективы интересного флирта! Мы по месяцам не видим интересных женщин...

— Юрочка, еду! Вы меня зажгли!.. Но только в качестве кого же? Ехать так просто — неудобно.

Неудобно, хотя у меня, кроме вас и Напо Мюрата, найдется очень много знакомых. Выдумайте что-нибудь!

— Есть! Выдумал! Привезите подарки нашим всадникам. Их никто не балует. Они за малейшее внимание будут так признательны! Кликните клич между своими благотворительницами. Среди этих дам есть жены генералов и офицеров Дикой дивизии. Накупите несколько тысяч папирос, два-три ящика шоколаду, бисквитов, мыло, иголки, нитки. Вот вам и подарки!

— Идея, Юрочка, идея! Сейчас же открываю огонь по всей телефонной линии!

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АВАНТЮРИСТ

Карикозов вышел вместе с дивизией с Кавказа. Там, когда он просился в дивизию, он

клялся, что он такой фельдшер, каких немного во всей русской армии. На самом деле все его медицинские познания сводились к умению кое-как делать перевязки, да еще кое-как примитивно лечить одну весьма распространенную солдатскую болезнь.

Карикозов прибыл на фронт с громадным кинжалом. Его спрашивали:

— Ты же фельдшер, зачем тебе такой большой кинжал?

— Ваше сиятельство, — Карикозов величал всех офицеров "вашим сиятельством", знал, что в дивизии много князей и графов, — ваше сиятельство, фельдшер не фельдшер, а немец этим кинжалом буду резать! — И при этом он корчил зверскую гримасу, скалил зубы, а его хриплый голос переходил в низкое рычание.

Но Карикозов, столь храбрый на словах, оказался отчаянным трусом. Как сотенный фельдшер, верхом на коне, должен был он следовать за своей сотней до передовых позиций включительно. Но при пулеметном и ружейном огне, даже отдаленном, у фельдшера отнимался язык и его насквозь прошибало хо-

лодным потом, обалделый, беспомощный, с трясущимися руками, трясущийся весь, могли он исполнять свои обязанности? Ингуши — он попал в Ингушский полк — презирали его, как только может презирать кавказский горец отчаянного безнадежного труса. В глазах горца даже средняя доблесть не имеет особенной цены, именно потому, что она — "средняя".

Эти же самые ингуши, да и не только ингуши, а и чеченцы, кабардинцы, когда их сажали в окопы, свое окопное сидение считали великим бесчестьем:

— Это баба прячется в землю. Джигит не должен прятаться. Джигита дело в атаку ходить, и не пешим, а конным!

И действительно, в короткой боевой истории Дикой дивизии был целый ряд конных атак, изумительных по своей красоте и лихости.

Карикозов устроился в дивизионном лазарете. Это уже в тылу, и там уже не вгоняли его в озноб и онемение трескотня винтовок и захлебывающееся "таканье" пулеметов.

Кому он завидовал — это санитарам. Они

первые подбирали убитых и тяжелораненых, а потом, глядишь — у одного санитаря золотой портсигар, у другого — туго набитый бумажник, у третьего — дорогой хронометр. Но даже и для того, чтобы сделаться двуногой гиеной, мародерски грабящей трупы и полутрупы, даже для этого у Карикозова не хватало нервов, ибо санитары обязаны работать не только после боя, но и во время самого боя, а в таких условиях от шальной пули далеко не всегда убережешься.

Но Карикозов утешился. И здесь, в безопасном тылу, он умудрился торговать спиртом, коньяком и, как мы уже знаем из его беседы с обладателем ястребиного профиля, кокаином. Этот белый порошок лазаретный фельдшер тайком поставлял некоторым офицерам своей же дивизии. Клиентами его были — барон Шромберг, вскоре убитый на дуэли, ротмистр Коваленский и трое братьев Штукенбергов из Татарского полка. А в лице нового хозяина цукерни "Под тремя золотыми львами" Карикозов приобрел еще одного выгодного клиента.

Этот клиент, всегда готовый к тому, что его могут повесить, должен был взвинчивать се-

бя наркотиками. Вообще это был замечательный человек.

Настоящая фамилия его барон Сальватичи. Но он менял ее на другие фамилии, менее звучные и более скромные.

Типичный австрийский авантюрист, где надо — военно-политический эмиссар, где надо — военнополитический шпион.

Он служил в 1-м Боснийском полку венского гарнизона и пробыл в нем около двух лет. Боснийский полк он выбрал, во-первых, потому, что считалось шикарным носить феску и командовать солдатами гигантского роста, а затем он хотел научиться сербскому языку. Все эти великаны в широких балканских шароварах и куцых куртках, одним видом своим вызывавшие восхищение экспансивной венской толпы, были сплошь сербы из горной Боснии. Ни на каком другом языке, кроме своего, не говорили смуглые, сухощавые красавцы в алых фесках. Они знали только шестьдесят — семьдесят командных немецких слов.

Через два года лейтенант Сальватичи вышел в запас и неофициально зачислился в тайную агентуру генерального штаба. Его ко-

мандировали в Албанию. Он имел в своем распоряжении довольно большие деньги для подкупа албанских вождей и князьков. Кроме денег он снабжал их еще и оружием. Оно доставлялось на пароходах "Австрийского Ллойда" и выгружалось в таких глухих и пустынных гаванях, как Сан-Джованни ди-Медуа.

Албанские четы делали набеги на сербскую территорию, а Сальватичи, организатор этих набегов, получал признательность не только от своего генерального штаба, но и от министерства внутренних дел. Он входил во вкус своего авантюристического амплуа. Никакая служба в строю, особенно в малых чинах, не может дать ни таких денег, ни таких впечатлений, ни такой власти. А какой простор для собственной инициативы!..

И он уже хотел большего, чем натравливание арнаутских банд на границы ненавистной Сербии.

Убедившись, что за внешней политикой есть еще и другая, тайная, более могущественная, он убедился в существовании сил, не связанных ни каким-либо правительством, ни территорией, ничем!

Эти силы — масонство, делающее политику, политику в мировом масштабе, и, оставаясь агентом Вены, Сальватичи сделался еще агентом масонских лож.

Ложам необходимо было вызвать великие потрясения. Им хотелось для этого общеевропейской войны.

Хотелось сравнить Австро-Венгрию и Россию и этим вовлечь в "игру" все великие державы. Но было препятствие в лице наследного эрцгерцога Франца Фердинанда, убежденного поборника добрососедских отношений с великой Россией.

Он высказывал:

— Только мирное сожителство двух империй — католической Австрии и православной России — может дать прочное спокойствие Европе.

Так думал Франц Фердинанд, но его масонские ложи думали иначе. В их планы входило именно разрушение католической Австрии и православной России.

Но так как наследный эрцгерцог еще при жизни дряхлого Франца-Иосифа взял всю полноту власти, его надлежало уничтожить.

В хитрый и сложный клубок сплетались события, вождедения и замыслы. Планы ма-сонских лож сходились с планами Германии и с аппетитами военной австрийской партии, мечтавших о победных лаврах и ненавидевших Франца Фердинанда и Россию.

Барону была поручена техническая сторона ликвидации эрцгерцога, и двое экзальтированных сербских юношей, осуществляя сараевское убийство, до конца дней своих не сомневались, что собственной волей творили национальное дело освобождения Родины.

Выстрелы, прозвучавшие на узких, живописных улицах Сараева, были сигналом к чудовищной, небывалой мировой бойне.

С войною в руках Сальватичи — его очередной псевдоним был Руммель — сосредоточились нити разведки Галицийского фронта.

ГЛАВА С НЕОЖИДАННЫМ ОКОНЧАНИЕМ

Карикозов делал обычный доклад свой, как всегда, ночью, и, как всегда, на животе его нелепо и ненужно висел большой кинжал.

Фельдшер волновался и от желания уго-

дить, и от сознания, что сейчас откроет что-то действительно очень важное. Еще не успел начать, а уже лицо с двумя "разными" половинами и носом-картофелиной пришло в движение.

— Этот черт Юзефович! Все знает, татарски морда! Я вам такое сейчас сказал, такое... — тянул фельдшер, прикидывая, сколько он за это свое "такое" получит?

Сальватичи перебил:

— Говорите же, наконец, в чем дело?

— А в том дело: секретки телефон искать будет. Татарски морда приказ отдавал: все местечко обыск делать, все подвал! Потому — донесение есть... У кого найдут, все семейство вешать будут!

Последнее Карикозов прибавил уже от себя, чтобы взять Руммеля "на испуг". Но взять этого человека "на испуг" было трудно. Рисковать своей головой вошло у него едва ли не в привычку. Но и он заволновался: помятое лицо, лицо с печатью многих излишеств, пошло судорогой.

— Уходите, уходите сейчас же!

Фельдшер не уходил, выразительно глядя

на так хорошо знакомый ящик письменного стола.

— Да! — вспомнил Руммель. — Вот вам пятьсот рублей. Уходите же!

— Еще маленький прибавочка... Первый сорт новость! Большой новость!

Дав "прибавочку", Руммель выпроводил назойливого агента.

Оставшись один, тяжело перевел дух. И — так всегда! И сам он, и все его хитросплетения висят на тоненькой-тоненькой ниточке. Один только миг — не учтешь его, не предусмотритишь — ниточка обрывается, и все вместе с ним, Сальватичи, летит в бездну! А уйти, перестроить свою жизнь на другой, более спокойный лад — уже нельзя. Уже все в нем отравлено ядом. Этот яд — и спортивное чувство, и почти полная самостоятельность, и азарт, опьянение риска, и возможность искупать жуткие минуты страха такими наслаждениями, цена коих недоступна при всякой другой службе...

И, сжав руками седеющие виски, он посто-ял немного. Воображение, подхлестываемое безграмотной, несвязной речью шпиона, ри-

совало ингушей, с диким криком врывавшихся в подвалы, рисовало виселицы, и на одной из этих виселиц... Сальватичи взял пакетик с белым порошком, высыпал щепотку на твердый ноготь большого пальца и хищной, тонкой ноздрей втянул...

Заколыхавшись, страшные виселицы исчезли... Бодрый, легкий, не чуя собственного веса, взяв из потайного ящика ключ, спустился он в подвал, заставленный бочками, ящиками и всяким хламом. Вспыхнуло электричество.

Сальватичи нажал замаскированную кнопку. Бесшумно, медленно отделился квадрат стены, обнажив телефонную сеть с полированной доской, с зелеными шнурами, с металлическими дырочками и штепселями. Что-то сухо защелкало. Опытной рукой вставлялись и вынимались штепселя. Отдавался ряд приказаний на немецком языке с певучим венским акцентом. И все это бежало по синим шнуркам, и по этим же синим шнуркам возвращались ответы. Опасность предотвращена. Тоненькая ниточка остается такой же тоненькой, но, пожалуй, сегодня она не

оборвется... А дальше... дальше люди профессии капитана Сальватичи не заглядывают — бесполезно!

Квадрат стены плавно вернулся на свое место.

На другой день капитан Сальватичи, уже как пан Руммель, новый хозяин цукерни, присаживался к своему директорскому столику возле буфета, наблюдал за двумя лакеями, за блондинкой-буфетчицей и за гостями — все сплошь военными, офицерами Дикой дивизии, гродненскими гусарами, гвардейскими уланами. Эти два полка из Варшавы занимали позиции бок о бок с туземцами.

Русская речь, пересыпанная французскими фразами, гортанный говор грузин и горцев. Папиросный, сигарный и трубочный дым. Коричневые и серые черкески, щеголеватые френчи гусар и улан, звон шпор, щелканье биллиардных шаров...

Все столики заняты, но никто не пил ни шоколаду, ни чаю — всего того, что потреблялось из года в год здесь под вывеской, наполовину смытой дождями, вывеской с туманным намеком на трех львов. Пили коньяк, венгер-

ское, старый мед и старый маслянистый бенедиктин.

Вошли новые гости, два "ингуша" — ротмистр Тугарин с Георгиевским крестом и поручик Джемар-джидзе, красивый, типичный грузин, служивший сначала в пехоте, затем в опереточной труппе. Небольшой, но приятный и мягкий тенор внушил Джемарджидзе мысль променять полицейский мундир на огни рампы. С войной опереточный тенор был призван в армию.

Служба в полиции научила его как-то особенно присматриваться к людям. Это уже было что-то профессиональное, чего не могли вытравить ни подмостки театра, ни черкеска офицера Дикой дивизии. И когда Тугарин и Джемарджидзе подъехали верхом к цукерне и сдали лошадей вестовым ингушам, по горскому обычаю засунув нагайки за пояс, на спину, Джемарджидзе сказал:

— Понимаешь, Тугарин, этот хозяин кофейни внушает мне... как бы тебе сказать... подозрение.

— В каком смысле?

— Не агент ли австрийский?

— Ну вот! Тебе всюду мерещатся шпионы, — улыбнулся Тугарин.

— Глаз имею, нюх имею! Джемарджидзе, как Патэ-журналь: все видит, все знает.

Они вошли в цукерню. Не только свободного столика, но даже присесть негде. Все облеплено до отказа и своими, и "соседними" уланами и гусарами.

Тугарин, невыдержанный и горячий, вспыхнул:

— Что за безобразие! Сейчас подать столик!

Вид высокого, мужественного, увешанного оружием офицера вогнал в панику обоих лакеев, и они беспомощно заметались. Беспомощно, так как запасного столика не было, а если бы даже и был, то за полным отсутствием места его негде было бы поставить.

— Где ваш хозяин? Позвать его! — И уже в бешенстве Тугарин выдернул из-за спины нагайку.

Побледневший лакей метнулся в глубь квартиры, и через полминуты к Тугарину подошел улыбающийся пан Руммель.

— Что прикажет господин ротмистр?

— Я требую столик. Какой вы хозяин? Где вы пропадаете? Ваше место здесь!

— Господин ротмистр, вы сами видите...

— Вижу, что вы наглец! — с перекосившимся лицом выкрикнул Тугарин так оглушительно, что все смолкло кругом, и биллиардные игроки с киями поспешили в зал.

Лицо пана Руммеля приняло гневное, хищное выражение, какие-то желваки заходили под кожей углов рта и скул, но тотчас же все это сменилось чем-то медовым, искательным:

— Господин ротмистр, не моя вина, если...

Он не успел договорить.

— А, не твоя вина! Не твоя... — исступленно повторил Тугарин и, взмахнув нагайкой, так ударил по лицу пана Руммеля, что вдоль щеки легла багровая полоса.

— Что ты делаешь! — воскликнул Джемарджидзе. Но было уже поздно.

Пан Руммель даже не дрогнул, даже не отступил, даже сохранил медовую улыбку. Только взгляд его, злой, полный убийственной ненависти, выдавал его. Хватило даже силы воли сделать полупоклон, после чего, не торопясь, он удалился туда, откуда только что

пришел.

Вечером, не дожидаясь ночи, а как только стемнело, с опаской да оглядкой, черным ходом проник Карикозов к Руммелю.

Фельдшер сначала хотел было посочувствовать, но барон со вздутой на щеке полосой остановил его:

— Не надо! У вас есть что-нибудь новое?

— Есть новая, очень многа новая, — захрипел Карикозов. — Юзефович, татарски морда, приказал подписать на ваша арест. Ночью всадники конвоя с один офицер придут за тобой, — сказал фельдшер и поправился: — За вами.

И умолк, подбоченившись. Сейчас он уже не был подобострастным. Какой смысл заискивать перед тем, кого через несколько часов могут повесить и от кого не будет уже никакой пользы?

Карикозов ожидал, что пан Руммель испугается, задрожит. Но пан Руммель был спокоен, может быть, даже слишком спокоен. Это повергло фельдшера сначала в недоумение, а потом в чувство какой-то злобы.

Он высказал вслух затаенную мысль:

— Вот Карикозов какой! Кто тебе предупреждение дал? Карикозов. Кто жизнь спасал? Карикозов. А что с этого Карикозов будет имел? Карикозов остается без работа и без деньги.

Улыбнувшись, пан Руммель в тон ответил ему:

— Карикозов не останется без работы и без денег. Видите это железное кольцо? К вам с этим кольцом подойдет человек, и вы будете работать с ним, как работали со мной.

— А сейчас? — перебил фельдшер, изнемогая от жадности.

— А сейчас это! — и, дав ему две пятирублевки, пан Руммель прибавил: — Уходите! Мы еще встретимся!

ЕЁ ПЕРВЫЙ РОМАН С ТРИНАДЦАТЬЮ ПИСЬМАМИ

Дам неохотно пускали на фронт, если это не были сестры милосердия. Командующие армиями и те почти не разрешали своим жёнам погостить у себя в штабе. Генерал Брусилов за все время войны так и не пустил свою жену не только к себе в штаб, но и в расположение своего фронта.

Ларе не удалось бы попасть в Дикую дивизию, если бы не два обстоятельства. Первое — следуя мудрому совету Юрочки Федосеева, она привезла несколько ящиков с подарками. Второе же, главнее всех подарков, — Михаил Александрович знал не только самое Лару, но знал и брата ее покойного мужа, и ее собственного брата, Сергея Фручера.

Константин Алаев — сослуживец Михаила по синим кирасирам, Фручера же — сослуживец по гвардейской артиллерии. Когда, обвенчавшись с Натальей Брасовой, великий князь жил перед войной в полуопале-полуизгнании в Ницце, Сергей Фручера каждую неделю посылал ему из Петербурга солдатский ржаной хлеб и несколько фунтов гречневой крупы. На чужбине Михаилу, с его простыми здоровыми вкусами, так не хватало черного хлеба и гречневой каши. С милой, застенчивой улыбкой он вспоминал все это, принимая Лару у себя. Он до того растроган был охватившими воспоминаниями — даже проявил несвойственную ему твердость, когда Юзефович заявил, что следовало бы попросить барыню о немедленном возвращении в Петер-

бург и что здесь ей не место.

— Нет, Яков Давыдович, пусть она поживет несколько дней. Тем более что она ведь привезла нашим всадникам гостинцы.

— Но, ваше высочество, штаб армии категорически запретил появление на фронте частных лиц.

— Это запрещение не может касаться *моих гостей*, — последовало возражение, и это "моих гостей" было произнесено так и с таким ударением, что много себе позволявший, властный начальник штаба умолк. И уже совсем прикусил язык, вспомнив, что со дня на день приедет его жена. А перед ней он пасовал, и это маленькое, бледное существо держало в руках темпераментного, резкого татарина-мужа.

Лара осталась. Ей реквизировали комнату в гостинице. Показать ей все, что можно было показать, высочайше поручено было командиру Черкесского полка князю Александру Чавчавадзе. Наилучший выбор. Чавчавадзе был очень светский и любезный человек, и в походной обстановке державшийся, как в салоне.

В дни затишья он обладал искусством делать жизнь удобной, веселой и приятной. В Черкесском полку был хор трубачей, едва ли не единственный в дивизии. Все остальные полки пробавлялись зурначами. Но и у Саши Чавчавадзе были зурначи, опять-таки лучшие.

После Петербурга все было здесь для Лары так ново и ярко. Эти обеды под открытым небом в тени вишневых садиков, обеды без тыловых пересудов и сплетен о царской семье, за последнее время отравивших своим ядом все петербургское общество.

Эти офицеры в черкесках, смотревшие в глаза смерти, совершавшие подвиги, и кто знает, что ждет их через несколько дней в этих же самых равнинах бегущего, живописного в капризных извилинах своих Днестра.

А эти ночи с яркими звездами и заревами где-то далеко пылающих деревень? Эти цветные ракеты австрийцев, чертящих зеленые и красные зигзаги на фоне темных глубоких небес?

Эта повседневная жизнь фанатически покорных судьбе туземцев. Эти острые пики,

прислоненные к соломенным крышам низеньких халуп. Гортанная, непонятная речь смуглых всадников, запах лошадей и кожаных седел, запах и дым костров... Вечерняя молитва, когда, разостлав свои коврики, обратившись на восток, коленопреклоненные туземцы, качая головами и закрыв глаза, сосредоточенные до экстаза, шепчут слова Корана... Лара впитывала в себя все это и, сама не отдавая себе отчета, ощущала если и не перерождение, то во всяком случае какое-то освежающее обновление...

Эти мусульмане, ингуши и черкесы, не говорившие по-русски, учили Лару тому, чему ее не учили в Смольном институте. Учили любить Россию, такую необъятную, таинственную, сумевшую создать эти горские полки, разноплеменные, разноязычные. И они идут в бой за нее, за Россию, идут как на праздник, и так же празднично, без мук и сомнений умирают за нее.

И то, чего не сделали годы светской жизни в Петербурге и за границей, то удалось сделать несколькими дням в прифронтовой полосе. Под настроением бесед о войне и веры в

победу, под настроением этих молившихся с заходом солнца воинственных горцев, под настроением большого и важного, с чем она так близко соприкоснулась и что совершается не только здесь, на маленьком участке, но и на фронте в тысячу верст, Лара углубилась в себя и сделала какую-то переоценку...

Повторяем, это не было перерождение. Не явилось вдруг желание подвига хотя бы сестры милосердия, отдавшей себя целиком заботам о раненых, но явилось желание стать чище и лучше. И опять-таки, не путем аскетического удушения в себе женщины — это никому не нужно и прежде всего ей, Ларе, — а просто она увидела, что надо быть разборчивее, менее распущенной и не только отдаваться, увлекаясь, а то и совсем не увлекаясь, а полюбить, по-настоящему полюбить. Да, эти звездные ночи, эти буковые леса над застывшей холодной сталью сонного Днестра, эти зарева далеких, почти мистических пожаров — все это будило душу, сливаясь в один захватывающий порыв, и, с презрением к самой себе, она вспомнила свой последний роман с выложенным, надушенным и лысым капитаном

генерального штаба. Он "воевал" в Петербурге, окопавшись в своем кабинете под монументальной аркой, на Дворцовой площади. Он питал брезгливое отвращение к войне, к тому, что переживала Россия, и ко всему, что не было спокойным комфортом, узкоэгоистическим окружением его великолепной особы.

И потому, что этот капитан, вылощенный и ледяной, был ее последним "капризом", она вспомнила свое первое увлечение другим капитаном генерального штаба, высоким, с плебейским лицом и с тонкими аристократическими руками. У него были голые, без ресниц, какие-то белые глаза. И когда, много лет спустя, она вспоминала эти глаза, дрожь отвращения охватывала ее.

Окончив институт, она приехала на лето к отцу, губернатору в Юго-Западном крае. В этом городе служил капитан генерального штаба Нейер. Он имел репутацию опытного развратника. Вчерашняя институтка, гибкая, матовая, с миндалинами темных глаз, не могла не привлечь его благосклонного внимания. Рядом с нею губернские дамы, сердца которых он пожирал без остатка, показались ему

вульгарными, и, кроме этого, Лара была еще невинна. Он влюбил ее в себя. Она бегала тайком к нему на холостяцкую квартиру и писала безумные письма.

Нейер холодно развращал ее, и так это продолжалось около двух месяцев. А потом приехал ревизовать губернию видный петербургский чиновник Алаев. Губерния оказалась далеко не в порядке, Алаев же оказался богатым человеком с отличной карьерой не только в настоящем, но и в будущем.

Алаев заметно увлекся губернаторской дочкой. Отец сказал ей:

— Если ты откажешь Алаеву, я погиб! Да и сам по себе Алаев завидная партия.

К этому времени чувственная любознательность Лары — она принимала ее за высшую влюбленность — успела остыть. Больше того, Лара успела возненавидеть грубого циника, не пытавшегося даже, хотя бы девичьих иллюзий ради, обвеять свои отношения хотя бы дымкой поэзии, хотя бы красивой ложью.

И еще до приезда Алаева она прекратила посещения "гарсоньеры" Нейера.

Он бесился, бесился от неугасшей похоти и оскорбленного самолюбия.

Лара хотела спасти своего отца от позорной отставки, да и вполне согласилась с ним, что Алаев действительно завидная партия. Алаев, красивый тридцативосьмилетней правовед, был симпатичен ей и как мужчина, и как симпатичный собеседник. И вот она его невеста, а через месяц-другой и его жена. Но для этого необходимо порвать с прошлым и потребовать у Нейера безумные, компрометирующие письма.

Вот когда уязвленный самец увидел, что Лара все еще пока в его власти.

— Вам угодно получить ваши письма, очаровательное дитя мое? — спросил он с вишельнической улыбкой белых глаз.

— Надеюсь, что вы как порядочный человек...

— Милая моя, полноте вам! Какая там порядочность? Тем более к вам, так вероломно забывшей дорогу ко мне? Какая неблагодарность! Я вам открыл, можно сказать, врата Эдема, научил таким наслаждениям и ласкам... Но не будем предаваться лиризму, бли-

же к делу! Вот вам мой ультиматум: ваших писем у меня тринадцать. Фатальная цифра, кстати! За каждым из них вы будете приходиться ко мне и, уходя паинькой, будете получать по одному... Тринадцать визитов. Право же, мы не будем скучать.

— Вы... вы чудовищный негодяй! — бешеная ненависть душила Лару. Она глаз не могла поднять на него, так он был ей омерзителен.

— Ха, ха, ха! — рассмеялся Нейер. — "Чудовищный негодяй!" Но я не из обидчивых. Да и что такое негодяй? Понятие весьма растяжимое. И разве вся человеческая мораль не растяжима как гуттаперча? На одной точке земного шара почитается злом то, что на другой точке люди называют добром. Но не будем вдаваться в философию. Говорю вам ясно и просто: если вам не угодно получить ваши письма в порядке, мною начертанном, я их все запечатаю в один конверт и отправлю вашему жениху в качестве... ну, свадебного подарка, что ли. Вы девица неглупая и можете учесть все последствия одного свадебного подарка. Итак — либо — либо? Ваша честь в ва-

ших собственных руках.

Лара получила свои тринадцать писем от Нейера, получила ужасной, незабываемой ценой, и той же осенью обвенчалась со статским советником Алаевым.

НА ПОЛЯНЕ ЗА СТОЛОМ

Для всей дивизии подарков не хватило бы. Да и, кроме того, полки Чеченский, Кабардинский, Татарский и Дагестанский находились в стороне от "большой дороги".

А большая дорога начиналась штабом дивизии и кончалась штабом бригады полков Ингушского и Черкесского.

Эта дорога была дорогой Лары, и по ней носился ее автомобиль, весьма неохотно предоставленный Юзефовичем "этой петербургской барыньке".

В душе Саша Чавчавадзе хотел, чтобы все подарки достались его черкесам, но это было бы неловко по отношению к соседям-ингушам, а такой неловкости дипломат Чавчавадзе никогда не допустил бы.

Он совещался с абхазцем, полковником Мерчуле, командиром ингушей, как обставить это маленькое событие в жизни брига-

ды. Мерчуле, тихий, скромный, избегавший всякой помпы, ответил:

— Да что ж, князь, раздадим как-нибудь, да и все тут.

Но Чавчавадзе, неравнодушный ко всему декоративному, восстал:

— Должна быть торжественность. Необходимо подхлестывать их восточное воображение. Хор трубачей. Всадники должны быть одеты празднично. В первую голову одарить вахмистров, унтер-офицеров и всадников по-старше.

— Тех, которые меньше всего нуждаются...

— Да! Но важен престиж! Здесь главный принцип — охранение старшинства. Это именно в духе туземцев.

— Пусть будет так, — покорно согласился Мерчуле.

Меж вековых дубов, на пышной изумрудной поляне толпа офицеров окружила свою гостью и раскрытые ящики. Оба полка в новых парадных черкесках и в цветных башлыках — ингуши в синих, черкесы в красных — выстроены были по сотням. В ясном солнечном воздухе далеко разносились чистые про-

зрачные звуки ослепительно сверкающих медных труб. Марши сменялись "Вещим Олегом" и популярной песенкой "На солнце оружием сверкая". И трубачи, и эффектные красочные пятна — стройные ряды всадников в черкесках, башлыках и папахах, и нарядная группа начальства с красивой молодой женщиной — все это создавало столь желанное для Саши Чавчавадзе праздничное настроение.

По программе первыми одаривались те, у кого были нашивки, Георгиевские кресты и седые бороды.

Надо было видеть, какой радостью вспыхивали глаза этих Георгиевских кавалеров — конвойцев еще Александра II, — когда из рук прелестной ханум они получали кто пачку папирос, кто кусок мыла, кто плитку шоколада или катушку ниток. Не пустячным подарком, а вниманием овладевала ханум сердцами этих сухих, обветренных бойцов, отмеченных шрамами трех войн и служивших при трех императорах.

Это чувство сообщалось Ларе, и она сияла вся, и казалось ей, что лучших минут еще не

было в ее жизни и они останутся незабываемыми. И было еще сознание, что она привлекательна и ею любят и окружающие офицеры, и те, кого она, как добрая фея, дарит своим женским приветом на залитой солнцем поляне, среди исполинских дубов. И это было безыскусственно просто в таком слиянии с девственной мощной природой.

Восторженный Юрочка Федосеев был на седьмом небе.

Когда к Ларе подошел всадник с горбоносым профилем и огненного цвета бородой, Лара смутилась. Так вот он, этот самый Бек-Боров, главнокомандующий персидской армией с крашеной бородой, о ком с восхищением вспоминал Юрочка в ее петербургской гостиной!

Лара невольно растерялась. Что можно дать этому воину с его нероновской бородой, когда персидский шах оплачивал его службу пышными самоцветными камнями? И после этого — коробка габаевских папирос или кусок варшавского мыла...

Подоспел Юрочка. Он сам волновался не менее Лары. Он вынул из ящика и подал ей

большую, в полфунта, пачку душистого табаку.

Положение было спасено. Наградой гибкой, как пальма, ханум был блеск семидесятилетних и все еще молодых, огнем горящих глаз. И старый всадник так гордо отошел со своим подарком, как если бы в этой пачке заключались все сокровища шахской казны.

Стариков сменила молодежь. В юных улыбках белые зубы освещали и смуглые лица, и персиковые бледно-матовые, и коричневые, как бронза.

Чавчавадзе говорил Алаевой:

— Вы завоевали, покорили наших всадников бесповоротно и навсегда! Нет на свете подвига, который каждый из них не совершил бы за вас и для вас!

Чавчавадзе не был бы Сашей Чавчавадзе, если бы не ознаменовал этот день большим обедом у себя, во дворе крестьянской усадьбы, отведенной под его штаб.

Торжественного случая ради были приглашены гости из других полков. Возле крытой соломой галицийской халупы, за деревенскими узенькими столами собрался букет гром-

ких имен и титулов, возможный лишь при таких исключительных условиях, как война.

Рядом с единственной дамой Чавчавадзе посадил старшего по чину гостя — генерала, персидского принца Юзулу-Мирзу из древней династии Каджаров. Черный, как только может быть черен перс, принц Фази, так называли его сокращенно, считался отличным боевым кавалерийским генералом. Даму свою он занимал на французском языке, свободном и бойком, но с сильным восточным акцентом. Под гул веселых голосов, под звон посуды и стаканов, под замиравшие тосты знакомил принц Фази свою даму с теми, кто, по его мнению, заслужил внимания. А внимание его можно было заслужить только военной доблестью.

Сначала, как всегда в новом обществе, для Лары все были на одно лицо: мужчины в папах. Да, в папах, ибо в подражание горцам за трапезой под открытым небом офицеры Дикой дивизии не снимали своих головных уборов.

— Этот блондин с открытым лицом...

— Я его знаю, знаю давно, — откликнулась

Лара, — это принц Мюрат.

— Вы его знаете по вашим петербургским салонам, — последовал ответ, — но вы не знаете, какой это офицер! На двенадцать баллов! Я был с ним на японской войне, а теперь вместе бьем австрийцев. Между двумя войнами мы проходили курс офицерской кавалерийской школы. Какое богатырское здоровье! Мюрат кутит напролет всю ночь, утром возвращается к себе на квартиру, выпивает стакан молока, берет холодную ванну, прямо в манеж и целый день работает, не слезая с седла. Так заматывает самых сильных гунтеров, что от них только пар идет... Это школа! Такие офицеры создавали и создают русскую конницу, единственную в мире. А на японской войне? Получив сквозную рану в шею, он без перевязки идет в атаку и опрокидывает японские эскадроны. Уже здесь, в Карпатах, он спасает положение всей бригады, почти отрезанной, когда на лямках ему были поданы пулеметы...

— Как это на лямках? — не поняла Лара.

— Он с горстью своих людей находился на такой круче — подняться к нему никакой воз-

возможности не было! Тогда Мюрат приказал спустить длинные-длинные веревки, и на этих веревках его люди подтянули пулеметы. Из них он открыл огонь — австрийцы бежали в панике!

— Да, все это необыкновенно и так захватывающе! — вырвалось у Лары. — Слушая ваше высочество, жаждешь сама чего-то необыкновенного! Как это все красиво! Решительно все! Но вы ничего не говорите о себе, а у вас Георгиевский крест, отличие храбрых и смелых.

— Это не более как очередная награда, — молвил Фази, не терпевший говорить о себе. — А вот смотрите, влево от Мюрата, как и он, такой же жизнерадостный, штабс-ротмистр Тапа-Чермоев, бывший офицер собственного его величества конвоя, а теперь адъютант Чеченского полка. Тапа сам чеченец и пользуется большим влиянием среди чеченцев. И по себе, и по своему отцу. Недавно Чермоев выкинул номер. Среди бела дня, увлекшись разведкой, не заметил, как очутился буквально в пятидесяти шагах от окопов противника. Эта дерзость так ошеломила

австрийцев, они даже не стреляли, а уж чего выгодней мишень: всадник в полсотне шагов. Чермоев не был бы горцем, если бы, заметив свою оплошность, бросился наутек. И он сделал так же лихо, как делали его предки чеченцы в борьбе с русскими. Он задержал коня и, молодецки заломив папаху, посмотрел на ошеломленных австрийцев; а потом с гиком, стегнув коня плетью, взвил его на дыбы, и, повернув, как на оси, с места понесся карьером назад, к своим. И это было так ошеломляюще — ни одного выстрела вдогонку. Нет, клянусь Богом, это была картина... Я был в полуверсте и наблюдал в бинокль. Совсем как театральное представление. Нет, молодец Тапа!

В этот момент взгляды Чермоева и принца Фази встретились. Чермоев приподнял свой бокал, принц Фази свой, и оба выпили.

Фази продолжал:

— Я люблю его за многое: и за то, что он знает и любит свой Северный Кавказ и своих чеченцев. Тапа — живая история всех кавказских войн. Память у него изумительная! Пытливый ум и знание предмета в мельчайших

подробностях делают его увлекательным собеседником. Я сам люблю Кавказ — его нельзя не любить — вся моя служба прошла среди горцев, и потому мне все кавказское особенно мило и дорого!..

ГЛАВА, В КОТОРОЙ САША ЧАВЧА- ВАДЗЕ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ СВЕТСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ

После обеда хозяева и гости разбились на группы. Самая большая группа тесным кольцом черкесок сгустилась вокруг Лары. Женщина, да еще такая, как она, редкостью была на фронте. Офицеры не видели здесь никого, кроме галицийских крестьянок и сестер милосердия. Крестьянки были грязны, а сестры милосердия успели примелькаться своими косынками, своим аптечным запахом и своей доступностью. А это, это настоящая дама. Кроме аромата духов, она вся овеяна также ароматом светской жизни Петербурга. Казалось, частицу этой самой жизни, такой манящей, она привезла с собою в складках своего платья, в движениях, в улыбке.

Каждому хотелось быть поближе к ней, коснуться хотя бы рукавом черкески. И за

право это сделать, за право поймать на себе хотя бы мимолетный взгляд ее темных продолговатых миндалин эти мужчины готовы были соперничать между собой, как самцы, со всеми последствиями такого соперничества. И напружинивались локти. Готовые мгновенно обидеться, вспыхивали глаза. Пальцы тянулись к рукояткам кинжалов. Это чувство одинаково овладело не только кавказцами, но и русскими, и прибалтийскими немцами, всеми, кто изнемогал от желания схватить ее, эту гибкую, приятно пахнущую гостью, схватить, как хватали амазонок центавры, и умчаться с нею под густую тень вековых дубов, где утром была раздача подарков... Война разнуздывает и обнажает инстинкты. Самые тонкие мужчины превращаются в дикарей. В атмосфере насилия и торжества тех, кто вооружен до зубов и чьи остree отточены когти, что такое овладеть женщиной помимо ее желания? Эпизод. Эпизод, о котором можно будет вспомнить с приятной самодовольной улыбкой.

И Лара ощутила себя, не могла не ощутить, центром всех этих вождедений. Она его чита-

ла в игре лицевых мускулов и в потупленных взглядах. Это не льстило ей, но и не оскорбляло, потому что она понимала этих мужчин, изголодавшихся, здоровых, цветущих, вечно в движении, на воздухе. Это было естественно, а потому не отталкивало. Совсем другое, чем оставшийся в Петербурге вылощенный капитан. У того это было надуманно, искусственно, а потому и противно.

Один Юрочка доволен был платонической ролью пажа Лары. Этот паж был немного пьян и, как все молодые люди, которые не умеют пить и которым хмельное состояние не идет, был какой-то и смешной, и блаженный, и гордый тем, что он знает Лару давно. В этом месиве мужчин вокруг одной женщины Юрочка представлял их ей одного за другим:

— Лариса Павловна, корнет князь Радзивилл... Ротмистр Тугарин.

Радзивилл ниже ее, а Тугарин значительно выше, рослый и видный. Лара отметила, что лицо у него грубоватое особенной грубоватостью таких же рослых степных помещиков, что в поддевках появляются на конских ярмарках. Да, поддевка, шаровары, высокие

сапоги, но не купец и не барышник. И хотя не видно тонкой породы, но и по манере носить голову, и по осанке, по голосу, по всему угадывается дворянин, помещик. Так и Тугарин. В нем, с одной стороны, что-то степное, господское, с другой — что-то кавалерийское — с такой внешностью нельзя не служить в коннице. И поэтому Тугарин запомнился Ларе, запомнился еще удалью и силой — так и веяло от него и тем, и другим от всей его фигуры, широкой в плечах и в груди.

К Ларе подошел Чавчавадзе. Ему легко было подойти: перед ним, старшим полковником и командиром черкесов, все расступались, и никто враждебно и вызывающе не напряжинивал своих локтей. Он только успел обратиться к Ларе с какой-то любезностью, как перед ним вырос адъютант Черкесского полка Верига-Даревский.

— Начальник штаба дивизии просит ваше сиятельство к телефону.

Телефонная проволока была вестницей чего-то такого, что сразу вдруг изменило общее настроение. Чавчавадзе вернулся другой, озабоченный. От его светскости не осталось и

следа. Минуту назад женщина была здесь украшением, услугою, теперь она была только помехой.

Чавчавадзе сказал Юрочке:

— Федосеев, отведите мадам Алаеву в Тлусте-Място.

А Ларе сказал:

— Я очень сожалею, но мы должны прервать наше милое беззаботное веселье. От имени своего полка еще раз благодарю за подарки и счастливого пути!

Этим "счастливого пути" он подчеркнул, что они более не увидятся и теперь ему уже не до гостей.

Ларе было непонятно и ново: и этот холодок, и то, что все сразу стали строгими, деловыми, и что на нее никто уже не обращал внимания. Офицеры садились на лошадей, поданных вестовыми, и уезжали.

Дорогой, сидя с Ларой в автомобиле, успевший отрезветь Юрочка объяснил:

— Это, конечно, между нами, Лариса Павловна. Ночью мы перейдем в наступление и будем рвать фронт.

— Юрочка... хоть бы издали, хоть бы од-

ним глазком...

— Что вы, что вы! — испугался Юрочка. — Ни под каким видом. Юзефович попросит вас сегодня же уехать!

— Но куда же, куда же, Юрочка? — с отчаянием вырвалось у Лары. Она увидела себя такой неприютной, такой беспомощной. Все было так интересно тут, так заманчиво и вдруг... Нет, нет, это ужасно! Возвращение в Петербург, теперь такой скучный, такой ужасный, постылый и ненужный!..

— Я не хочу в Петербург! Не хочу!

— Ну его совсем, этот гнилой Петербург! — согласился Юрочка. — Знаете, что я придумал? Ведь вы свободны как ветер? В Петербурге ни с чем не связаны?

— Ничем решительно! — твердо ответила Лара, вспомнив вылощенного капитана.

— И отлично! Поезжайте в Киев. Там бьется жизнь, там чувствуется на каждом шагу тыл. Центр киевской жизни — "Континенталь". Остановитесь в нем, и вы увидите, как будет хорошо! Через несколько дней, когда мы закончим операцию, многие из наших туземцев бросятся в Киев отдохнуть, освежить-

ся. Не выходя из "Континенталья", вы будете вновь в Дикой дивизии. Да и я прикачу, если останусь жив.

— Глупости! Конечно, останетесь!

— Не глупости, война!..

КАРИКОЗОВ В БОЛЬШОМ СВЕТЕ

Капитан Сальватичи, он же пан Руммель, успел скрыться в ту самую ночь, когда поручик Джемарджидзе вместе с ингушами и с агентом армейской контрразведки оцепил кофейню "Под тремя золотыми левами" на предмет обыска и ареста видного неприятельского шпиона.

Обнаружилось, что капитана Сальватичи и след простыл. Джемарджидзе в бешенстве сорвал с себя папаху, бросил оземь и начал топтать ногами.

— Удрал, негодяй! Удрал!

Велико было отчаяние. Еще бы, Джемарджидзе присмотрел уже возле штаба полка дерево, на котором должен был висеть австриец, и вот, не угодно ли, такой провал!

Обыск не дал никаких особенных результатов, хотя полицейский нюх Джемарджидзе и привел его к тайной телефонной системе.

Сальватичи успел испортить ее, и поручику Джемарджидзе в виде трофея достался деревянный прямоугольник с оборванными шнурами и без штепселей.

Когда Тугарин угостил Руммеля ударом плети, Джемарджидзе под свежим впечатлением осудил ротмистра:

— Зачем зря бить человека? Что он тебе сделал? Нехорошо!

После обыска Джемарджидзе уже совсем иначе судил:

— Тугарин, ты во всем виноват! Надо было застрелить этого мерзавца!

— Будь я уверен, что это за птица, не задушиваясь всади́л бы пулю!

— Уверен не уверен, птица не птица, надо было стрелять. Начальство потом разобра́лось бы. Но ничего, ты и так молодец, помог снять с него маску! — утешал Джемарджидзе Тугарина и сам утешался.

А Сальватичи сдержал свое обещание. Через два-три дня к Карикозову подошел на улице санитар в новенькой форме. Убедившись, что они только вдвоем и кругом никого нет, санитар на ломаном русском языке задал во-

прос:

— Вы есть господин Карикозов?

— Да, я господин Карикозов.

Санитар показал ему железное кольцо. Фельдшер подмигнул с видом заговорщика. Отношения быстро наладились.

Затем Карикозов устроился в командировку в Киев за медикаментами для дивизионного лазарета.

Стыдясь своего фельдшерского звания и желая походить на офицера туземной дивизии, Карикозов башлыком закрывал свои фельдшерские погоны. Был весьма счастлив, когда солдаты козыряли ему. Да и не только солдаты, офицеры приветствовали его как равного.

Отложив покупку медикаментов на последний день, он занялся собственными делами: ходил в цирк, шатался по кофейням, знакомился с женщинами и успех туго набитого бумажника приписывал своей собственной неотразимости.

Женщинам он выдавал себя за черкесского князя, корнета Дикой дивизии, и нахально врал о своих подвигах. Ему верили, и нельзя

было не верить человеку в косматой папахе, с таким чудовищным кинжалом и с такой зверской физиономией в те минуты, когда, рыча и скрипя зубами, он описывал, как врывался в самую гущу австрийцев и крошил их этим самым кинжалом. Для большей наглядности Карикозов вытягивал из ножен клинок и, послунив палец, проводил им по острому лезвию, делая страшные глаза...

Любовные утехи ничуть не мешали коммерческим оборотам. В кофейне Симадени, в глубине, Карикозов встречался с бородатым персом в высокой каракулевой шапке. В паке-тиках из папиросной бумаги перс хранил небесного цвета бирюзу, а также бриллианты и рубины. Появлялись щипчики, появлялся инстру-ментик для определения количества каратов. Не особенно доверяя друг другу, Карикозов и перс придушенными голосами торговались и спорили.

Обедал Карикозов в маленьких рестора-нах, но ему хотелось пообедать хоть един-ственный раз в "Континентале". Он долго не решался. Не потому, что смущала цена, а по-тому, что ресторан этой первой в Киеве гости-

ницы всегда битком набит военными. Чужие-то еще туда-сюда, но легко напороться на своих "туземцев", и тогда не поможет синий башлык, закрывающий фельдшерские погоны.

Долго колебался Карикозов. Велик был соблазн, но и велик был страх. Наконец, первый победил последний. В эти дни наступления вряд ли кто-нибудь из офицеров уехал бы в отпуск.

Карикозов не обманулся. В ресторане, кроме него, был еще из Дикой дивизии только один вольноопределяющийся, правовед Балбаневский, как и он, закрывший свои погоны башлыком. Фельдшер знал Балбаневского. Он ему продавал кокаин.

Войдя, Карикозов, при всей наглости своей, растерялся — так ошеломила его своим великолепием обстановка. Потoki электричества, зажигающие бриллианты нарядных, с обнаженными плечами дам. Гвардейские офицеры, спекулянты в смокингах, важные метрдотели; передвижные на колесиках столы с дымящимся ростбифом и еще многое такое, чего Карикозов никогда не видел.

Он твердо помнил одно: необходимо отыскать глазами какого-нибудь генерала, а если не генерала, то полковника, и попросить разрешения сесть.

И, о ужас! Он, Карикозов, увидел знакомое по фотографиям лицо с уже седеющей бородкой, увидел адмиральские погоны... Это великий князь Александр Михайлович. Он заведует всей военной авиацией, и его штаб здесь же, в Киеве. Будь что будет! Карикозов, вытянувшись, деревенеющим языком произнес:

— Ва... ва... ше императорское высочество, раз... разрешите с... с... сесть.

В ответ — насмешливая улыбка и такой же насмешливый кивок головы. Чересчур комичен и нелеп был этот неуклюжий "горец". Черкеска, пожалуй, самый красивый, самый воинственный мужской наряд для тех, кто создан для нее, кто строен и ловок и кто умеет ее носить, что весьма нелегко, особенно для некавказцев. А для полных и неповоротливых, для подобных Карикозову, ничего нет убийственнее черкески.

Гора с плеч свалилась: великий князь принял его за офицера. Можно сесть, но где? Сво-

бодных столиков нет. Есть полусвободные, но подсесть к офицеру опасно — того гляди расшифрует маскарад и выгонит вон.

Вот еще удовольствие! Нельзя спокойно за свои деньги пообедать в хорошем месте. А между тем у него, Каракозова, больше в кармане, чем у любого из этих "пускающих пыль в глаза" офицеришек!..

Вот одинокая дама. К ней разве присоединиться? В ее обществе приятней, а главное, безопасней, чем с забубенным ротмистром каким-нибудь.

— Ва! — именно этим кавказским "ва" подумал Карикозов. — Да ведь эта барыня только на днях гостила в туземной дивизии. Видимо, важная барыня, — и великий князь приглашал, и Юзефович, уж на что собака, и тот машину предоставил. Но как и что ей сказать? — затруднился фельдшер, в практике своей выше девиц с Крещатика и сестер милосердия третьего сорта не поднимавшийся.

Ему повезло. Растерянный, топтавшийся среди ярко освещенного ресторана, скромный, незаметный офицер — и она приняла его за офицера — привлек внимание и сочув-

ствие Лары. Он казался ей родным и близким, как была теперь для нее родной и близкой вся Дикая дивизия. Она подозвала метрдотеля, и тот подошел к Карикозову.

— Барыня приглашает вас сесть за ее столик.

И когда он приблизился, все еще несмело, она подбодрила его ласкою во взгляде и в голосе:

— Садитесь, пожалуйста.

— Благодарим вас, мадам! — и, щелкнув каблуками, фельдшер занял свободное место.

"Вот они, дети гор, — мелькнуло в голове Лары, — в непривычной культурной обстановке теряются, а на позициях дерутся как львы. И он такой же. Необходимо его подбодрить".

— А в этих последних боях вы не принимали участия?

— Никаких нет, мадам. Очень секретный поручений здесь, Киев, командирован.

— Вам это неприятно? Вы, несомненно, предпочли бы разделить со своими все опасности?

— Так точно, мадам, ужасно большой до-

сада имеем! Я эти австрийцы вот как резил! — и, схватившись за клинок, Карикозов оскалил зубы и сделал зверское лицо.

"Да, да, все они такие! — восхищалась Лара. — Все они бойцы с колыбели, и война для них — пир".

Увидев, что "герой" беспомощно вертит в руках меню, Лара и тут поспешила к нему на помощь.

— Я вам посоветую, что взять. Есть даже ваш родной кавказский щашлык.

— Есть? Очень обожаем шашлык!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Да, Юрочка был прав.

Киев оказался куда более в соответствии с переживаниями Лары, чем Петербург.

Киев не только великолепен на редкость, но и живописен своей хаотической разбросанностью, весь такой буйный, густо красочный. Знойное солнце, белые стены древних святынь и золоченые купола. Что-то ликующее, певучее, и красота совсем другая, чем стройность линий закованной в гранит северной столицы.

Перед самой войной Лара изъездила юг

Италии, но и после этих увенчанных мировой славой ландшафтов она часами любовалась в саду Купеческого собрания бегущей без конца и края заднепровской равниной с ее песками, нивами, лугами, лесами и деревнями. В обычное время Киев какой-то сонный, глухой, теперь — шумный, бурливый тыл юго-западного фронта. Люди в военной форме, без конца, везде и всюду. Через Киев тянулись не партии, не полки, а целые полчища пленных австрийцев. И на фоне старинного русского города казалась чужой форма: эти серо-стальные мундиры пехоты, синие с желтым шнурами доломаны венгерских гусар и алые фески боснийцев. И такие же чужие лица и чужой говор на всех языках всех народов, населяющих Австро-Венгрию. Дребезжание экипажных колес, пыхтящие грузовики с военным снаряжением, автомобили штабных офицеров и санитарных уполномоченных.

И ко всему этому еще Киев был временной столицей с пребыванием жившей в Киеве с самого начала войны вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Лара мечтала хотя бы о нескольких днях

полного одиночества. Это одиночество нужно было ей, чтобы воссоздать, продумать все вывезенные "оттуда" впечатления. И теперь они чудились еще острее и ярче. Воспоминания всегда сильнее действительности, как талантливый пейзаж сильнее природы. Но не успела она снять номер в "Континентале" и спуститься в холл, как тотчас же очутилась среди старых петербургских знакомых — дам-патронесс, ездивших на фронт, дам, никуда не ездивших, а состоявших при императрице-матери, чиновников, одетых в полувоенную форму, и настоящих военных. Завтракать и обедать приходилось в компании, и это выдался редкий случай, что она сидела одна, когда в ресторан нелегкая принесла Карикозова.

Заказав себе обед, Лара под настроением этой фигуры в кавказской форме вспомнила и ночную прохладу букового леса, и сдавленные голоса туземцев, и светляков, вспыхивавших в прохладной тьме, подобно крошечным электрическим фонарикам... Вспомнила залитую солнцем поляну, синие и красные башлыки, сверкание труб с их увлекающими в

какую-то светлую прекрасную даль звуками... И за все это она прощала Карикозову чавканье челюстями и кромсание рыбы ножом, вытирание салфеткой вспотевшего лба. Пусть! Ведь он же дитя природы — и какой суровой, дикой природы! И если здесь, за столом, он беспомощен и неловок, то в своей родной стихии, несомненно, и проворен, и лих, и отважен.

А Карикозов, хотя и не читал книги "Хороший тон" — он вообще никогда ничего не читал, но своим умом дошел, что в таких случаях кавалеры занимают дам разговорами, и, обсосав баранью косточку, облизав жирные пальцы, он обратился к Ларе с энергичной жестикуляцией и с такой же энергичной мимикой.

— Ей-богу, мадам, совсем не хотим в Киев ехать! Воевать хотел! А полковник Юзефович, начальник штаба, говорит: "Это его высочество великий князь..." Тогда я уже говорю: "Если это великий князь хотел, давай пакет! Еду!.."

Аппетит приходит во время еды. Начав фантазировать, видя, что его слушают, Кари-

козов готов был фантазировать без конца. Пусть это сладостный самообман, пусть, но у этой барыни — он ее больше никогда не увидит, — останется впечатление, что и в самом деле он прапорщик, и не какой-нибудь, а пользующийся исключительным доверием великого князя и его начальника штаба. В изобретательной голове фельдшера уже готов был переход от важной секретной командировки к одному из боевых эпизодов с ним, Карикозовым, в главной роли. Здесь можно будет повторить имевший успех трюк: вынуть хотя бы наполовину кинжал и, состроив свирепую гримасу, послунив палец, провести им по лезвию...

И несомненно, так и было бы. Но тут случилось нечто весьма неожиданное как для самого Карикозова, так и для дамы, готовой его слушать с терпеливой благожелательностью.

Ни он, ни она не заметили, как, громко беседуя между собой, вошла группа офицеров Дикой дивизии. Прямо с поезда — в "Континенталь". Едва успевшие помыться, привести себя в порядок, жизнерадостные, веселые от сознания, что они живы и невредимы после

боев и самое страшное уже позади, проголодавшиеся, спустились они в ресторан.

Они увидели Лару и ее собеседника.

— Это еще что за "туземец"? — похрипывающим баритоном полюбопытствовал Тугарин, не могший разобрать со спины, кто сидит рядом с Ларой.

И они двинулись к столу. Карикозов и Лара только тогда заметили их, когда те подошли вплотную.

— Я сказал, что мы приедем! — воскликнул Юрочка.

И только здесь и он, и все остальные узнали фельдшера.

А фельдшер так испугался, что не мог пошевелинуться и сидел истукан истуканом. Если бы еще он вскочил, как встrepанный, вытянулся, он вышел бы из положения если и не с честью, то хоть кое-как, но то, что он продолжал сидеть, взорвало всех.

— Ты как попал сюда? Пошел вон! — крикнул на него Тугарин.

Этот грозный окрик вывел Карикозова из оцепенения, и он не приподнялся, не встал, а как-то соскользнул и, пригибаясь, рысцою вы-

бежал из ресторана, оставив после себя такой дурной дух, что адъютант Черкесского полка, томный Верига-Даревский поднес к носу надушенный платок.

Лара и сконфузилась, и была возмущена выходкой Тугарина.

А тут ингуш Заур-Бек-Охушев с прямолинейностью горца вознегодовал:

— Вот подлец! Клянусь богом, здесь нельзя оставаться!

— Да, да, нельзя... Перейдем в кабинет! — подхватили все.

— Лариса Павловна, вашу руку, — предложил Юрочка.

В кабинете Лара с гневным огоньком в узких восточных глазах накинулась на Тугарина:

— Как вам не стыдно! Своего же офицера выгонять так... так непростительно грубо? Я бесконечно возмущена вами... я...

К изумлению своему, Лара встретила кругом не сочувствие, а дружный смех.

Тугарин оправдывался:

— Рубить голову вы успеете, Лариса Павловна, послушайте сперва. Помилуй Бог, ка-

кой же офицер? Он фельдшер!

— А если и фельдшер?

— Дайте кончить! Я вас понимаю. Но будь это порядочный фельдшер, мы сплавили бы его тихо и мирно, не ударяя по самолюбию. Но в том-то и дело, что это дрянь, каналья, мошенник, спекулянт — всё, что хотите, и, наверно, выдал себя вам за офицера, да еще нахально врал о своих подвигах.

— Да... он много о себе говорил, — сконфузилась Лара.

— Видите! Как же было его не выгнать?

Вдруг всем сделалось весело, всем и самой Ларе, жертве наглого мистификатора. Не щадя самое себя, описала она и свое умиление "диким горцем", и те турусы на колесах, которыми этот "горец" ее угощал.

В ОТДЕЛЬНОМ КАБИНЕТЕ

И в общей зале, и в кабинетах офицеры Дикой дивизии были, пожалуй, самые выгодные гости. Но в то же время — самые беспокойные. Кутежи их сплошь да рядом кончались выхватыванием кинжалов и шашек, стрельбой во время исполнения лезгинки, ибо какая же настоящая лезгинка обходится без револь-

верной пальбы?

После боев с опасностью на каждом шагу, после суровых испытаний и своих, и чужих, после долгих недель и месяцев лишений появляется желание забыться, желание разгула и встряски нервов не только у кутящих всю жизнь кавалеристов, но и у самых скромных пехотных офицеров. И скандалы с мирной, не воюющей публикой тыла именно тем и объяснимы, что она мирная, не воюющая: озлобление тех, кто рискует жизнью и выносит на себе всю тяжесть войны, по отношению к тем, чья жизнь вне всякой опасности, кто и в мирное время безмятежно пользовался всеми ее благами и срывал цветы удовольствия.

Эти проявления у офицеров вообще — в обострении и в сгущении — давали себя знать и у офицеров Дикой дивизии. Почти каждый, за исключением молодежи, был с прошлым, и довольно бурным прошлым.

Полковник, принц Мюрат. В его послужном списке было несколько войн и несколько дуэлей, а в несколько лет он прокутил два миллиона. И когда от этих миллионов ничего не осталось, он вынужден был променять

блестящий дорогой конный полк на более скромное положение в офицерской кавалерийской школе. А когда ему надоело объезжать лошадей и готовить из молодых поручиков и штаб-ротмистров таких же центавров, каким был он сам, достойный правнук великолепного Иоахима Мюрата, он вышел в запас и уехал в Америку за новым счастьем, за новыми впечатлениями. Там какой-то "король нефти" пригласил потомка неаполитанского короля оборудовать ему конный завод. Мюрат успел поставить завод на громадную высоту, но с первыми же раскатами Великой войны умчался в Россию и вступил в ряды Дикой дивизии.

Это ли не офицер с прошлым?

А Тугарин?

Из Елизаветградского кавалерийского училища он вышел в уланский полк, стоявший в одном из местечек юго-западного края у самой австрийской границы.

Это было громкое дело. С поручика Бакунина кто-то где-то сорвал погоны. Словом, Бакунин вернулся в офицерское собрание без погон. Тогда корнет Тугарин своей властью, на

свой риск, вызвал то тревоге эскадрон, обыскал все местечко, перепорол многих обывателей, и в конце концов погоны были найдены. Вышел слишком громогласный скандал, чтобы его можно было замять. Тугарин был разжалован в рядовые. Простым драгуном Приморского полка воевал в Маньчжурии, отличился, был награжден солдатским Георгием. После войны он был восстановлен в правах и в своем корнетском чине, но, недовольный кем-то или чем-то, вышел уже по своей воле в запас и уехал к себе в имение, где вел беспорядочную жизнь охотника, игрока и кутилы.

Вскоре он стосковался по своей коннице, вернулся в свой уланский полк, но опять ушел после дуэли со своим эскадронным командиром.

А через два года — война, Ингушский полк Дикой дивизии, и рядом с солдатским крестом — белый эмалевый офицерский Георгий. Таков Тугарин.

И уже совсем необыкновенная биография Заур-Бек-Охушева. Как и Тугарин, питомец Елизаветградского училища, он вышел эстандарт-юнкером в Ахтырский гусарский полк и

через месяц, оскорбленный полковником Андреевым, на оскорбление ответил пощечиной. Ему грозила смертная казнь. Бежал в Турцию и как мусульманин был принят в личный конвой султана Абдул-Гамида. Потом, с производством в майоры, он уже начальник жандармерии в Смирне. Но под турецким мундиром билось сердце, любящее Россию. Вспыхивало желание вернуться и, будь что будет, отдаться русским властям. А когда вспыхнула война, Заур-Бек в ужас пришел от одной мысли, что под давлением немцев он вынужден будет сражаться против тех, кого никогда, ни на один миг не переставал любить.

И вот спустя двадцать лет новый побег, но тогда из России он бежал юношей, а теперь из Турции бежал усатый, с внешностью янычара, опытом умудренный мужчина. Высочайше помилованный, Заур-Бек принят был всадником в Чеченский полк, получил три солдатских креста, произведен был в прапорщики, затем в корнеты.

Много было таких в дивизии, как Мюрат, как Заур-Бек, как Тугарин, людей темпера-

ментных, с бушующими страстями, людей, не созданных для повиновения шаблону воинской дисциплины.

Были и офицеры, погрешившие в свое время не только против дисциплины, но и против морали. Но война сглаживает все углы и шероховатости, ибо она сама по себе аморальна не как идея, а как ее осуществление. И потому вчерашний преступник или полупреступник делается сегодня героем и подвигами своими заслоняет свое прошлое...

Но войдем в кабинет вслед за Ларой и ее шумным, ликующим окружением, окружением, с неделю не знавшим, что такое горячая пицца, — на позиции нельзя подтянуть походные кухни, да и поспеть они не могли за быстрым движением, движением в боях. Заказали тонкий обед, желая вознаградить себя за несколько дней вынужденной сухомятки.

И пока обсуждались закуски, стерляжья уха, осетрина и седло дикой козы, подоспели еще "туземцы". Они приехали вместе со всеми, но, за отсутствием свободных комнат в "Континентале", расположились в "Гран-Отеле" и потому запоздали.

Во главе этой новой группы был принц Мюрат. Хотя веселость не покидала его и приветливо улыбалось открытое лицо, но внутри было не по себе. Этот рожденный для войны офицер переживал трагедию. Его последние трофеи и подвиги были в буквальном смысле последними.

Он все еще силен, все еще может гнуть монеты, но уже постепенно лишается ног. Дает себя знать и подагра мирного времени, и ревматизм трех войн, а самое главное, зимние бои в Карпатах с их стужей, когда ему отморозило обе ноги.

Он с трудом вошел, и не в сапогах, а в бархатных валенках. Это нарушало его кавказский стиль, и он, родившийся на Кавказе и кавказец по матери, грузинской княжне, сам это чувствовал более, чем кто-либо.

Он склонился к руке Лары.

— Вы видите перед собой инвалида. Ноги мои изменяют мне, как и я изменял женщинам. Я никуда не гожусь, ни пеший, ни конный. А жаль! Я так мечтал войти во главе своего дивизиона в Берлин.

Лара пыталась утешить его.

Он отрицательно покачал головой, и впервые за все годы знакомства она увидела в его глазах печаль.

Юрочка подсел к Ларе:

— Вы о нас думали? Вспоминали нас?

— Еще бы, все время! И знаете, Юрочка, милый, как это странно. Не было ни одной минуты сомнения. Я считала в порядке вещей, иначе и быть не может, что вы вернетесь благополучно. И только теперь, увидев вас всех невредимыми, только теперь поняла, какой опасности вы подвергались! И мне и жутко, и радостно. И теперь, когда чего, казалось бы, волноваться, — я все же волнуюсь.

— Так бывает, — согласился Юрочка и, понизив голос, как бы проникаясь важностью того, что сейчас скажет, продолжал: — Дивизия лишняя раз покрыла себя славой, но, увы, ценой значительных потерь. Она лишилась нескольких офицеров, и в том числе ротмистра Сарабуновича. Вы его не помните? Незаметный и скромный. Для дивизии же это незаменимая утрата. Он вел свою сотню в атаку под сильным артиллерийским огнем. Его контузило, контузило так — из ушей и но-

са хлынула кровь! Оглушенный, приказал снять себя с коня, приказал двум ингушам вести себя. А через минуту новым снарядам разорваны были и сам Сарабунович, и те, кто его вел. Он представлен к посмертному Георгию...

— Какой ужас, — молвила, содрогнувшись, Лара и уже другим тоном спросила: — Должно быть, очень лихой офицер?

— Лихой? Не скажу! — ответил Юрочка. — Лихость одно, храбрость — другое. Покойный Сарабунович был очень храбр, но лихости в нем не было.

Лихость — это внешнее. Молодцеватая фигура, когда одним видом своим офицер поднимает дух и ведет за собой. Сочетание храбрости и лихости — это уже идеал. Таков, например... — И хотя кругом все двигалось, шумело, искрилось, Юрочка еще понизив голос, наклонившись к Ларе: — Таков, например, Тугарин. Он и в этой операции отличился. Так как имеет уже Георгиевский крест, представлен к золотому оружию... Я вам сейчас расскажу...

Лара, как бы желая остановить Юрочку, уз-

кой холеной рукой почти коснулась его губ.

— Не надо... Потом... Завтра вы придете ко мне пить утренний кофе и все расскажете, все... Я буду внимательно слушать, Юрочка. Такое же ощущение, когда принимаешься за интересную книгу: и желаешь узнать, что дальше, и хочется отдалить предвкушаемое удовольствие. Это одно, а затем, разве можно здесь внимательно слушать?

— Погодите, то ли еще будет! — многозначительно пообещал Юрочка.

И действительно, "туземцы" все более и более входили во вкус хмельного загула своего, но при этом никто ни на один миг не забывал о присутствии дамы. Наоборот даже, все время помнили о ней, окружая изысканно рыцарским вниманием. И потому, что она была единственной женщиной среди них, и потому, что это было в кабинете ресторана, "туземцы" удерживались от ухаживания, стараясь держаться в чисто дружеских рамках. И не будучи искусственным, натянутым, это выходило так славно и просто.

Пили много, очень много, но никто не забывался, не терял чувства меры.

Лара не отставала от компании и пила шампанское. Оно кружило ей голову, но еще более кружилась голова от новых впечатлений. Обеды в мужском обществе, в кабинетах, не впервые были ей, но впервые она видела этот загул, горячий, темпераментный, с обычаями, каких нигде, кроме как среди кавказцев, не сыщешь.

Пели хором "Алаверды", пели другие застольные песни. Заур-Бек вынул свой кинжал и, взяв кинжалы трех соседей, держа на голове стакан, до краев налитый вином, жонглировал клинками. И было страшно за него. Малейшее неловкое движение, промах, и отточенный кинжал поранит самого жонглера. Но Заур-Бек не только не промахнулся ни разу, но и не пролил ни одной капли вина. Стакан словно приклеен был к его твердому, лоснящемуся черепу. Пример Заур-Бека зажег всех остальных, и всем хотелось проявить свою джигитскую удаль и ловкость.

Принц Мюрат с большим румяным яблоком в руке, поманив за собой Веригу-Даревского, тяжело ступая подагрическими ногами, вышел на середину кабинета.

Верига, знаящий в чем дело, положил яблоко себе на ладонь. Мюрат, отступив, выхватил шашку. С молниеносной быстротой сверкнул тонкий кривой клинок. Этим страшным ударом можно было бы снести голову...

Лара сначала ничего не поняла. Яблоко осталось на ладони адъютанта Черкесского полка, но когда Верига свободной рукой отделил верхнюю половину яблока, Лара поняла: эффект рубки был не только в том, чтобы не отхватить пальцев, державших яблоко, но и в том, дабы так разрубить его, чтобы половинки остались на месте, давая впечатление целого яблока.

И уже после великолепного трюка Лара осознала всю опасность его и, закрыв лицо руками, попросила:

— Больше не надо, ради бога, не надо!

Закончилась лезгинка под звуки пианино и под сухое щелканье револьверных выстрелов, изрешетивших паркет...

ТОТ, КОГО НЕТ, НО О КОМ ГОВОРЯТ

Если шорох и говор ночи воспринимаются как-то особенно значительно, да и в самом де-

ле таят в себе какую-то значительность, в такой же мере шумы, голоса и зовы утра как-то особенно приятно ласкают слух, наполняя душу чем-то бодрящим.

Лара именно так воспринимала этот смешанный гул проснувшегося города: и звон дальних колоколов, и громыхание трамваев, и то сердитое, то умоляющее завыванье автомобильных сирен, и голоса внизу — все это и властно вливалось, и нежно лилось в ее открытое окно, смягченное и облагороженное тем свежим и ясным, что бывает лишь по утрам и никогда больше.

И с такою же остротой ощущений поняла она, как чужд ей оставшийся в Петербурге капитан и как одинока она душою и телом. Это гибкое тело потягивалось в истоме под полуспущенным одеялом. И так же ясно и четко замелькало все вчерашнее. И нелепый фельдшер с его хлестаковским враньем не был ничуть противен, а скорее забавен. И уж совсем забавно было его бегство, сопровождаемое медвежьей болезнью. Отчаянно перетрусил, бедняга... И Лара как-то весело, юно засмеялась, и звуки собственного смеха подхлесты-

вали ее, и она хохотала неудержимо, находя в этом прямо физическое удовольствие. А в кабинете было совсем хорошо. Да, эти кавказцы умеют и кутить, и веселиться, и даже русских научили этому. Это не было тупое, скучное пьянство. Было много выпито, но и много проявлено удали. Этот Заур-Бек с головой султанского янычара?.. Бесподобно жонглировал острыми как бритва кинжалами. А Мюрат?.. И только теперь Лара испугалась по-настоящему и за янычара, и за Веригу. Ошибись чуть-чуть Мюрат, мог бы отхватить Вериге несколько пальцев.

А Тугарин? Этот ничего не показал, но прав Юрочка: весь он лихой и дерзкий и, несомненно, привык и умеет властвовать... Как он прикрикнул на этого несчастного фельдшера... Неудивительно, что фельдшер... и опять она засмеялась.

У изголовья, на мраморной тумбочке, плоские квадратные часики на бриллиантовой браслетке показывали девять. С минуты на минуту может постучать Юрочка. Правда, он свой, и она менее всего видит в нем мужчину, а все-таки надо быть в порядке, не для

него, а для себя...

А вот и он.

— Браво, Лариса Павловна! Я не ожидал, что вы будете уже в полной боевой готовности. Ведь мы разошлись в третьем часу. Вас не утомил наш вчерашний загул?

— Нисколько! Новое, интересное никогда не утомляет. Юрочка, милый, нажмите кнопку у дверей. Нам принесут кофе.

Юрочка, позвонив, сел, держа между коленями шашку.

— Вы с утра уже при всех ваших доспехах?

— Для меня не утро, а день. Я успел побывать в комендантском управлении...

За кофе Юрочка продолжал начатый накануне в кабинете рассказ. С громадным удовольствием говорил он о своей дивизии, восхищался ею с пылкостью молодого любовника.

— Этим наступлением наша дивизия золотыми буквами вписала свое имя в историю русской конницы. Это было красиво и как общее, и как отдельные героические эпизоды. И не знаешь, кого больше выделять — всадников или офицеров? И те и другие сопернича-

ли в доблести. Помните трагический конец Сарабуновича? Вслед за убившим его снарядом австрийцы положительно засыпали весь участок шрапнелью. И под этим адским огнем ингуши бросились вытаскивать Сарабуновича и павших с ним всадников. И вытащили, но ценой нескольких убитых и раненых.

— Бесплезный подвиг! Зачем еще эти новые, как вы говорите, жертвы?

— Бесплезных подвигов, Лариса Павловна, нет на войне, — возразил Юрочка, — подвиг, не имеющий даже практического значения, всегда имеет значение воспитательное, моральное. Помните, я вам рассказывал, что горцы считают позором оставить своих убитых на позициях? Но это не только по отношению к своим по крови и религии, нет, они и русских офицеров, так же рискуя собой, выносят из боя. А если нельзя вынести, уползают вместе, будь это раненый, будь это бездыханное тело. И каждый из нас, идя в атаку, уверен, что если, не дай бог, придется плохо, "туземцы" так не оставят. Отсюда надежная спайка. Спайка таким прочным цементом,

как чувство долга и кровь... Да, вас интересовал Тугарин?

— В такой же мере, как и все, — вспыхнув, ответила Лара. Юрочка, не заметив этого, продолжал:

— Офицер на 12 баллов. Вот в ком и храбрость, и лихость.

— А что такое храбрость? — спросила Лара.

— Это общепринятое понятие, но именно как общепринятое нуждается в пояснении. Говорят, храбр тот, кто не боится, кто не трус, но... но ведь тот, кто менее всего боится, кто менее всего трус, не хочет же, однако, умереть, погибнуть. Не хочет! Жажда жизни сильна в нем. Так как же? Вот мы и подошли к весьма любопытному вопросу. Конечно, умирать даже за такие прекрасные идеалы, как Родина, никому неохота, даже лучшему из лучших, отважнейшему из отважных. Но в том-то и дело, что трус не может побороть в себе страха перед смертью, а храбрый — может. Поручик Баранов — мы однажды беседовали на эту тему — привел слова знаменитого Скобелева. Его спросили, что такое храбрость. Знаете, как он ответил? "Храбрость —

это умение скрывать свою трусость". Изумительное определение и по своей лаконичной краткости, и по своей глубине, особенно в устах Скобелева. Его презрение к опасности не знало границ.

— Храбрость — это умение скрывать свою трусость, — задумчиво повторила Лара, тотчас же, уже по-другому, спросив: — Да, так вы начали о Тугарине?..

— Дело Тугарина? Как всякий смелый налет оно просто и ясно. Глубокой ночью Тугарин со своей сотней переплыл Днестр, бесшумно снял все австрийские заставы... и на этом следует остановиться: первый случай борьбы с проволочными заграждениями. У нас, у "туземцев", нет ножниц, да и наши всадники не умеют и не любят обращаться с ними, считая, что резать проволоку не дело джигита. В данном случае роль ножниц с успехом сыграли твердые дагестанские бурки. "Туземцы" бесшумно покрыли скученные ряды заграждений бурками, переползли по ним с кинжалами в зубах и цепкими хищниками обрушились в окопы на ничего не подозревавших австрийцев. И пошла резня! Од-

ним из первых ворвался Тугарин, показывая пример молодецкой рубки. Недобитые австрийцы кинулись бежать и заразили паникой вторые и третьи линии, весь свой небольшой фронт. А бегущих атаковали уже в конном строю наши же "туземцы", успевшие переправиться в другом месте. Вся сотня Тугарина получила Георгиевские кресты, а сам он, как я вам уже говорил, получил золотое оружие. Больше ему уже нечего получать, имеет все, что можно было иметь и за японскую войну, и за эту.

Юрочка умолк, опять не заметив ни вспыхнувшего лица Лары, ни ее легкого волнения.

Она спросила:

— Он холостой, одинокий, ваш Тугарин?

— Был женат, развелся. Не для таких, как он, семейная жизнь. Это человек порыва, человек бури, невоздержанный, властный. У него своя логика, своя мораль, свое отношение к начальству, свое понятие дисциплины — все свое!.. О чем вы задумались, Лариса Павловна?

— Я? Ах да... Нет, ни о чем. Так... Но я слушаю вас, Юрочка, продолжайте.

Но Юрочка не спешил продолжать: улыбнувшись, поправил свой кинжал. Только теперь он заметил, что его собеседница, хотя и пытается, скрыть свою заинтересованность Тугариным, но заинтересована им несомненно. Он знал о связи Лары с вылощенным капитаном генерального штаба и от всей души хотел, чтобы Лара увлеклась Тугариным. Во-первых, капитан был ему антипатичен, а во-вторых, он, Юрочка, относился к Тугарину с чувством, близким к обожанию.

— Да! — вспомнил Юрочка. — Это было после взятия нами Станиславова. Значительно позже. Мы успели также значительно отойти. Штаб нашей бригады стоял в Червонограде, имени княгини Любомирской. Какой дворец! Какие оранжереи! Библиотека! Настоящее магнатовское гнездо! Сама княгиня покинула Червоноград, не успев даже вывезти свои драгоценности. Мы, как могли, бережно относились... В ее спальне и будуаре никто из нас не ночевал. И вот мы свертываемся и уходим. Нас сменяет штаб пехотного полка под командой полковника генерального штаба. Не помню уже, как и почему мы с Тугариным

уходили последними... Уже поданы были лошади, уже водворялись наши заместители. Из комнат княгини доносился какой-то шум, кто-то что-то взламывает... Не хозяйничает ли напоследок кто-нибудь из наших "туземцев"? Входим... и вот, я вам доложу, картина: застаем полковника генерального штаба в тот момент, когда он вытаскивает из им же взломанного туалетного ящика жемчужную нитку. Надо было видеть Тугарина. Бешеный стал. А полковник успел уже сунуть нитку в карман своего френча...

— Грабежом занимаетесь, негодяй! Какой вы пример подаете своим нижним чинам? — загремел Тугарин.

Полковник на секунду сконфузился, а потом нагло:

— Ротмистр, как вы смели войти без разрешения? Потрудитесь немедленно удалиться.

— А вы потрудитесь немедленно положить назад то, что украли.

— Вон отсюда!

— Ах, вон! — Света не взвидел Тугарин и огрел полковника плетью. Тот за револьвер. Тугарин плетью по руке, да так, что револь-

вер выпал.

Полковник орет:

— Я вас предам полевому суду!

Но это, конечно, была пустая угроза. Полковнику невыгодно было раздувать скандал. Так он и проглотил два удара нагайкой и еще жемчужную нитку вернул. Но не в этом дело. Были офицеры, пятнавшие себя грабежом, были и будут. А в том важное: кто отважится избить командира полка в условиях военного времени? Для этого надо быть Тутариным. Поступок безумный...

— Но сколько в этом безумии благородства! — с восхищением вырвалось у Лары. Потом она спросила: — А как зовут негодяя?

— Полковник Нейер.

— Как? — И Лара густо и горячо покраснела.

— Полковник Нейер.

— Высокий блондин?

— Да. Вы его знаете?

— Нет... Но... видела, встречала.

ОТКРОВЕННАЯ ЖЕНЩИНА

В Царском саду было тихо. Дальше голоса и звуки города подчеркивали тишину. Если

бы не эти голоса и звуки, сад мог бы сойти за опушку горного леса — так все было здесь и хаотично, и мощно, и почти первобытно.

Внизу дышал прохладой и сыростью глубокий овраг, и подступали вплотную гигантские, в несколько обхватов, дубы и липы. Их густая зелень нехотя пропускала яркие трепетные пятна полуденного солнца. Вековые деревья вот-вот рухнут в бездну, и только корни, могучие, переплетенные, глубоко ушедшие в рыхлый чернозем, удерживали их. Часть этих корней обнажилась, и они клубками змей тянулись из-под земли.

Лара и Тугарин стояли рядом. В лиственный просвет они видели внизу, в тысяче шагов от себя, шумную зыбь Днепра, железное кружево нависшего над рекой моста и заднепровские дали, бог знает где сливавшиеся с лазурью небес.

Лара смотрела перед собой. Тугарин смотрел на нее.

— О чем вы думаете, Лариса Павловна?

— О чем? — встрепенулась она. — Думаю, как притягивает и такая глубина, и такой необъятный простор. Но глубина как-то вол-

нует и тревожит. Непокойно, тянет вниз, мучительно, неудержимо. А простор хочется созерцать долго-долго... Почему? Он действует благостно, как-то именно благостно. Мне кажется, это у всех так...

— Нет, не у всех. Возьмите какого-нибудь тусклого чиновника. Этот, наверное, не подойдет к самому краю обрыва, как вы. Что же касается далее, он закроется от них газетой и будет читать хронику убийств или отдел наград и производств по службе. Нет, эти ощущения — удел натур ищущих, буйных, дерзающих...

— Неужели я буйная, дерзающая, ищущая? — с какой-то несвойственной ей конфузливой кротостью и с такой улыбкой вырвалось у нее.

— Я мало знаю вас, вернее, совсем не знаю, но думаю, что да.

— Чтобы так думать...

— Надо иметь какие-нибудь основания? — подхватил Тугарин. — Извольте! Я наблюдал вас и на раздаче подарков, и на обеде в Черкесском полку. Я видел, как мужчин тянуло к вам, но это не было только... как бы вам ска-

зать, любопытство одной голой чувственностью...

— Вам угодно, кажется, сказать, — подхватила на этот раз Лара, — что у них явилось желание заглянуть в бездну?..

— Вот-вот. Вы так же волнуете и притягиваете, как вас самих притягивает и волнует... — он сделал широкий жест по направлению к обрыву и тотчас же прибавил: — А вы все-таки сделайте шаг назад, не то сорветесь, и я не успею подхватить вас.

Лара машинально последовала его совету и спросила с каким-то вызовом:

— А вы?

— Что я?

— Тогда, на обеде, и вы испытывали такое же желание заглянуть в бездну?

— Зачем этот вопрос? Кокетство? Вы же сами знаете силу своего обаяния.

— А вдруг бездна окажется высохшим ручейком с плоскими берегами?

— Во-первых, не окажется. А во-вторых, допустим даже и так. Надо жить сегодняшним днем, и если он даст мне иллюзию, то какое мне дело до завтра с его обманом, с его круше-

нием иллюзий?

— Это вообще ваша теория или применительно к военному времени, в том смысле, что надо ловить момент, ловить наслаждения? Сегодня, сию минуту. Завтра будет уже поздно, завтра может ничего не быть.

— Мой взгляд всегда был таков, но, слов нет, война укрепила его.

Она смотрела на Тугарина вдумчивым, оценивающим взглядом. Вот мужчина с головы до ног. Весь, весь с его энергичным, волевым помещичьи-кавалерийским загорелым лицом, со стройным и сильным телом, в короткой черкеске, в папахе, надвинутой на уши, как носят горцы. Это сообщало ему что-то воинственнозвериное. И вот, неглупый и небанальный, он может схватить ее и, сжимая в беспомощный человеческий комочек, бросившись со своей добычей туда, где гуще деревья, грубо взять, насильнически, как брали фавны дриады, как брали амазонок центавры.

И ее чуть насмешливый взгляд был так выразителен, так говорящ, что он спросил:

— Что вы хотите сказать?

— Я только подумала, но если вас интересует, скажу. Вы задали весьма любопытный вопрос. Это вечное, оно всегда останется: взаимное непонимание. Мы, женщины, и вы, мужчины, говорим на разных языках. Вы обыкновенно начинаете с того, чем мы кончаем. Вы идете прямо к телу и очень редко через тело к душе, чаще всего ограничиваясь одним только обладанием. Мы же идем к телу через душу. Сначала любовь, а уже потом чувственное наслаждение и восторги, как следствие любви. Будем откровенны: вы желаете меня, но если бы я позволила себя взять — я не говорю отдалась бы — на другой, на третий день, по дороге в вашу дивизию, вы так же взяли бы в поезде первую попавшуюся женщину. Имейте мужество сознаться. И это вы, Тугарин, далеко не такой, как все. Что же сказать о всех?

— Пусть так! — согласился он с тем же вызовом, который за минуту был у нее. — Но тогда будем же до конца откровенны. Сказанное вами только что полно красоты и поэзии. Но вы-то, вы сами, всегда были верны этой красоте и поэзии?

— Нет, не всегда, должна покаяться, не всегда!

— Так почему же отгораживаетесь от меня барьером сложных чувств? Почему не смотрите на меня, как на тех, других?

— Потому, что вы сами не пожелали бы очутиться в роли тех, других, в сущности, унижительной роли. Тем я позволяла, к тем я снисходила. Порой из жалости, порой из вежливости. Порой это был каприз, вспышка... как тот...

— А я не подхожу ни под одну из этих рубрик? — спросил он с вымученной усмешкой.

— Ни под одну.

— Можно узнать, почему?

И его тон, и улыбка не понравились ей. словно какая-то сетка мешала ему смотреть на нее, рябила и туманила взгляд.

Прислонившись к дереву и подняв голову, Лара почти надменно ответила:

— Ну вот, не хватало только еще, чтобы вы начали меня презирать. Будь с вами откровенной, с мужчиной, и разве можете вы оценить откровенность? Вы предпочитаете, чтобы вам лгали; хотя сами зачастую не верите

в эту ложь. Дайте мне закончить, — повелительно пресекла она попытку перебить ее. — Я вам сейчас нарисую схему. Двое: женщина с таким же прошлым, как мое... а, может быть, с еще более богатым, и мужчина, подобный вам. Она желает его увлечь, он желает быть ее любовником. Если она, как я, вдова, она говорит, что безумно любила мужа и только его одного. Иногда, в виде исключения, допускается еще одно глубокое и сильное чувство. И это тешит вас, ваше мужское самолюбие. Вот, мол, какой я! Я разбудил в этой недоступной женщине то, чего не могли сделать другие. Милый Анатолий Васильевич, поверьте мне, как жестоко смеются эти женщины в душе или в откровенных беседах с подругами. Я не из их числа. Я не унизилась бы до такой комедии. Одно из двух: или я нравлюсь, какая есть, или совсем ничего не надо. Вот вам мой ответ. А теперь, — меняя позу выражение лица и звук голоса, молвила она, — теперь пойдем отсюда. Юрочка с компанией ждут нас завтракать. Мы не спеша пройдемся по Крецатику и... который час? Половина первого... к часу будем в "Континентале".

СМЕЛЫЙ И РОБКИЙ

Оба всю дорогу молчали и тяготились этим молчанием, испытывая какую-то странную неловкость. На людях, в кабинете, где их поджидали друзья, им стало свободнее, легче. Захотелось говорить, говорить о пустяках, только бы не молчать.

Утром подъехали из дивизии еще трое: адъютант Ингушского полка поручик Баранов и поручик Светлов, известный писатель и балетоман, добровольно променявший свой редакторский кабинет в журнале "Нива" на боевую жизнь офицера Дикой дивизии.

Светлов, седой, с крупными чертами, говорил тихо и мягко, был очень сдержанным, очень воспитанным человеком. Его стиль не подходил к общему фону пестрого "туземного" состава офицеров, но даже те, кто вначале сторонился его, в конце концов полюбили. Щадя возраст и седины добровольца с известным литературным именем, его оберегали, но он рвался вперед, будь то атака или рискованная в глубоком неприятельском тылу разведка.

Баранов, единственный из русских в Ин-

гушском полку, не считая Тугарина, безусловно умел носить кавказскую форму. Его тонкая талия была создана для черкески, и в ней, будучи среднего роста, он казался много выше. Его обширный лоб переходил в лысину, а острые черты лица запоминались. За столом лишь Баранов и Светлов ничего не пили, кроме воды; остальные для начала приналегли на водку. Да и нельзя было не приналечь, такая аппетитная была подана закуска...

Отрывочная беседа вращалась вокруг боевых и мирных интересов дивизии. Резким, чеканящим голосом, таким же, как у Тугарина, только более высоким, без его баритонной густоты, Баранов описывал, как он среди ночи спешно послан был отыскать командира Ахтырских гусар, полковника Баландина:

— Я знал лишь одно, что его надо искать на какой-то высоте. Но черт разберет их, эти дурацкие высоты, особенно же ночью. Я старый солдат, третью войну делаю, но никогда не умел, да и не умею, ориентироваться. Взял с собой четырех ингушей. У них какой-то звериный инстинкт... в смысле распознавания местности, даже совсем незнакомой. Не было

случая, чтобы горец заблудился. Я всецело предоставил себя их чутью. И к рассвету мы оказались в расположении ахтырцев. Спрашиваю гусар: "Где ваш полковой командир?" — "А вот там", — показывают на вершину горы. Я слышал, все мы слышали, что Баландин — офицер выдающейся храбрости, что у него убито семь адъютантов, но все же не мог себе представить его под таким обстрелом, на такой незащищенной точке, не мог. Шрапнели поминутно рвались над самой горой, да и ружейным огнем весьма усердно обстреливали ее. Спешил я своих ингушей, спешил сам, и ползем наверх. Чем выше, тем чаще свистят пули. Каково же ему там, наверху? Окликаю: "Командир Ахтырского полка здесь?"

Откуда-то голос:

— Кто? Зачем?

Я в ответ:

— Адъютант Ингушского конного полка, — и так далее.

Тот же голос:

— Подымайтесь ко мне!

Оставив ингушей, ползу один и вижу: си-

дит Баландин, вымытый, выбритый, выхо-
ленный и делает себе маникюр, шлифует ног-
ти замшевой подушечкой...

— Вот это я понимаю! Под пулями делает себе! — с восхищением вырвалось у молодого корнета.

Даже Лара смотрела выжидающе узкими миндалинами восточных глаз.

Баранов, сделав паузу, продолжал:

— Да, но все эти маникюры, ухаживание за собой, словом, такой сибаритский комфорт может позволять себе на войне только Георгиевский кавалер, только офицер общепризнанной отваги. У всякого другого это является и смешным, и ненужным, и претенциозным, но, прибавляю, даже и Георгиевский кавалер имеет право позволять себе это в полосе успехов и продвижения вперед, а не когда нас бьют и мы откатываемся назад...

Понаслышке все знали Баландина, кавалерийский офицер не мог не знать его. Баландин был кумиром не только своего полка, но и всей кавалерийской дивизии, куда входили ахтырцы.

В Ларе сказала женщина, ее вопрос был:

— А внешность его такая же героическая?

— Внешность? — переспросил Баранов. — Внешность — ничего героического. Невысокий, плотный, с обыкновенным широким лицом.

Кто-то сказал:

— Конечно, офицер исключительной доблести, но вправе ли он так рисковать собой?

Переглянулись Лара и Юрочка, сидевшие наискосок. На эту тему они уже говорили. Спор сделался общим. Одни были на стороне Баландина: высота, где Баранов нашел Баландина, являла собой редкий наблюдательный пункт, вся неприятельская позиция, как на ладони. Следовательно, уже не бесполезная храбрость. А затем, такой командир может творить чудеса. Люди пойдут за ним в огонь и в воду.

— Это не наш Секира-Секирский, — вставил Заур-Бек.

Все расхохотались неудержимо, весело. Только одна Лара недоумевала.

Ротмистр Секира-Секирский считался самым отчаянным трусом во всей дивизии. А между тем этот громадного роста усач вид

имел на редкость молодцеватый. Едва Заур-Бек назвал его имя, все живо представили себе его колоссальную фигуру в черкеске и, о ужас, в желтых гетрах и в желтых шнурованных ботинках. До такой профанации горской формы никто еще не доходил никогда.

Начали вспоминать. Сотня Секирского идет в наступление, а сам же он, на своем монументальном гунтере, мчится назад, где нет свиста пуль и разрыва шрапнели. Баранов вспомнил также один эпизод в Карпатах, но вспомнил, что за столом сидит дама, и осекся. Но и намек было довольно: кое-кто засмеялся, кое у кого лукаво заблестели глаза.

А дело было так: зимой в Карпатах горцы сидели в окопах, к великому неудовольствию своему изображая пехоту. Офицеры согревались в землянках. А Секира-Секирский не только согревался, но и исполнял потребности, боясь выйти на воздух. Однажды спустился в землянку полковник Мерчуле, командир ингушей. Уж на что человек деликатный, и он возмутился:

— Секира, нельзя так распускать себя, пре-
вращать землянку черт знает во что.

Молодцеватый ротмистр плачущим голосом взмолился:

— Господин полковник, я не могу, мы погибнем. Мы все тут погибнем!

Но Секира не погиб, он умел беречь великолепную персону свою. Он часто ездил в отпуск в Петербург и Киев и там, в тылу, проявлял большую храбрость, подтягивая молодых офицеров, солдат, ресторанных лакеев и штатскую публику. Страшный вид громадного усача с кинжалом производил потрясающее впечатление, и ему все сходило.

ЖУТКИЕ ПРИЗРАКИ

"Туземцы" лишены были общества своей дамы: Лара приглашена была к своей петербургской знакомой, находившейся в окружении императрицы Марии Федоровны. Молодежь кутила где-то за Днепром, а Светлов обедал в обществе крупного чиновника, такого же, как и он, балетомана. Пообедав в "Континентале", часть "туземцев" поднялась в номер Тугарина, чтобы решить дальнейший образ действия — оставаться ли дома или поехать за Днепр и этим доставить удовольствие себе и молодежи? Меньшинство вместе с Барано-

вым призывало к благоразумию: поболтать часок-другой и лечь спать. Большинство же возмутилось:

— Ложиться спать в такое детское время? Закатимся за Днепр. Там, говорят, удивительный хор, женщины одна другой краше!

На этот раз, к всеобщему удивлению, Тугарин не пристал к большинству:

— Нет, в самом деле, чего мы будем носиться как угорелые. И здесь хорошо... Никуда не тянет...

Заур-Бек погрозил ему:

— Знаем, отчего тебя никуда не тянет!

— Ничего ты не знаешь... А просто надоел мне этот загул. Скучно тебе без вина? Я потребую вина, и будем сидеть.

Подъехал Светлов, так и насыщенный весь новостями. С обеда с человеком из высших сфер он унес много впечатлений.

— В ставке был принят бежавший из австрийского плена генерал Корнилов. Побег был совершенно исключительный, прямо сказочный. Корнилов две недели ничего не ел, чтобы вызвать упадок сил. Его перевели в госпиталь, откуда он и бежал. Корнилов ски-

тался более двадцати суток, днем, как зверь, забившись в лесную чащу, а ночью шел к румынской границе, питаюсь сырым картофелем, да и то не всегда. Только переплыв через Дунай и заявив румынской пограничной страже, кто он, беглец почувствовал себя в безопасности.

В ставке он сделал подробный доклад обо всем, что наблюдал, видел и слышал в плену.

Германцы, не надеясь разбить нас силой оружия, тратят большие деньги на революционную пропаганду в нашей армии и в нашем тылу. Верные пособники их — наши же русские социалисты, как живущие в Швейцарии, так и свои собственные. Германо-австрийский штаб обрабатывает военнопленных из южных губерний, доказывая, что они украинцы, и Россия не только чужда им, но и глубоко враждебна. Украинцев хорошо одевают и кормят, надеясь, когда пробьет час, использовать их против России.

— Когда пробьет час? Как это понимать? — спросил недавно контуженный, а потому с особенным вниманием вслушивающийся Верига-Даревский.

— Как это понимать? — переспросил Светлов. — Конечно, эти украинские части формируются не для войны, протекающей в нормальных условиях. Было бы чудовищным, да и прямо невозможным вооружить военнопленных и бросить их на их же собственную армию.

— Значит, мы тоже поступаем чудовищно, — возразил Баранов, — формируя из военнопленных чехов чешские дружины, а из военнопленных сербов — сербскую дивизию? При этом те и другие уже на фронте и дерутся против своих же...

— Это совсем другое, — возразил в свою очередь Светлов, — и чехи, и сербы шли в русский плен во имя великославянской идеи, шли именно затем, чтобы штыками своими содействовать освобождению австрийских славян... Предусмотрительные немцы почти не сомневаются, что революция в конце концов у нас будет, и вот тогда-то они, осуществляя давнишнюю свою программу отторжения Украины, для закрепления этой Украины за собой наводнят ее несколькими корпусами из наших украинизированных по берлинскому

и венскому образцу военнопленных.

— Это мы еще посмотрим, — с вызовом бросил Тугарин, — слишком рано задумали немцы делить шкуру северного медведя. Крепко еще стоит он на своих четырех лапах и доказал, что здорово умеет огрызаться. И если уж до сих пор не справились с этим медведем, и он продолжает наносить чувствительные удары, не имея ни патронов, ни снарядов, то через несколько месяцев, когда мы будем снабжены через край, мы их раздавим... Я уже не говорю об австрийцах, но и Германия, недоедающая, мобилизовавшая стариков и мальчишек, посылающая на фронт горбатых и хромых, трещит по всем швам...

— Так ли это? — тихо, не горячась, он никогда не горячился, усомнился Светлов. — Именно в том, что они посылают хромых и горбатых, в этом я вижу грозную вещь для нас. Жертвуя, как пушечным мясом, ненужно калеча свои кадры, цвет своей армии они берегут, делая то, чего не делали мы, к сожалению. Мы и преступно, и глупо в первый месяц войны бросили в огонь и нашу гвардию, и наше профессиональное офицерство, все то,

что надо было беречь до последнего решительного удара и для того, чтобы задушить навязываемую нам революцию.

— Неужели сами-то вы серьезно верите в возможность революции? — задало вопрос несколько голосов вместе.

— Я не верю в нее, но я ее не исключаю, не исключаю потому, что не верю в прапорщиков, заменивших выбывших настоящих офицеров. Эти штатские господа в офицерской форме в большинстве своем не хотят воевать и, кроме того, они еще и с политической левизной. Я не верю в эти миллионные армии из скорообученных солдат, а то и совсем не обученных. Они так же охотно дезертируют с фронта, как и сдаются в плен. Цифры самые убийственные. Русских военнопленных в Германии около двух с половиной миллионов, а в бегах около миллиона. Да, да, в бегах. Их невозможно переловить. Извольте-ка переловить миллион шкурников, желающих скрываться и ни под каким видом не желающих воевать? В Петербурге согнано около двухсот тысяч записных. Тоже горючий материал для революционной демагогии. Все это городская

накипь в солдатских шинелях. Да и разве место подобным скопищам в столице? Охранять спокойствие и порядок в столице и охранять царствующую династию должна гвардия. А гвардия вся на фронте, да и то в разгромленные, опустошенные части влилось скороспелое воинство, весьма склонное сдаваться в плен и дезертировать. Сохрани и помилуй нас Бог от революции вообще и особенно во время войны. Но, повторяю, она возможна, и самоутешением было бы закрывать глаза...

Седой романист-балетоман умолк, и все молчали кругом. Даже самых смелых охватила какая-то растерянность. Читалось на лицах одно и то же: если кругом такое трагическое сплетение из преступности, недомыслия, бесталанности и предательства, ибо делающие революцию — предатели, то во имя чего красивые порывы, подвиги и отдельные яркие, героические страницы? Во имя чего, когда что-то слепое, темное сводит на нет и порывы, и подвиги и рвет, и топчет яркие страницы? У самых сильных, самых стойких должны опуститься руки...

И выражая вслух овладевшее всеми на-

строение, Тугарин, как бы очнувшись, молвил:

— Слов нет, много правды в том, что сказано сейчас Валерианом Яковлевичем. Но Валериан Яковлевич романист, человек воображения, а потому повышенной чувствительности. Он весь под влиянием услышанного час назад. Его пугает количество военнопленных и дезертиров. Конечно, это влияние прискорбное, но неизбежное при многомиллионных армиях. В наше время нет профессиональных бойцов, нет ландскнехтов. Те не сдавались и не убегали. Пример — наша "туземная" дивизия. У нас есть живые в строю, есть убитые на поле брани, наши горцы одинаково презирают как плен, так и самовольное оставление фронта. Почему? Потому, что их воинствующая религия устами и примером отцов и дедов воспитывает их с детства лихими джигитами, и воспитывает в традициях доблести!..

— Вы кончили? — спросил Светлов и, получив утвердительный ответ, продолжал: — Тугарин лишний раз доказал, что мы находимся в исключительных условиях. В своих

"туземцев" мы верим, как они верят нам... В этом наше преимущество, и в этом наш плюс...

— А в чем же наш минус? — не выдержал кто-то нетерпеливый.

— Минус же в том, что мы замкнуты в нашей дивизии, как в благодатном оазисе, и почти не видим и не знаем, что делается за его пределами. Мы не сталкиваемся с армией и не знаем ее армейских настроений. Наше собственное боевое и политическое благополучие невольно заставляет думать, что и вне нашей дивизии, вне нашего маленького государства, в необъятном государстве все обстоит благополучно. И если бы не моя сегодняшняя встреча с человеком, по положению своему знающим очень многое, я и сам был бы спокойнее да и не смутил бы ваш покой. Но, по-моему, лучше знать горькую правду, чем тешить себя сладостными иллюзиями. Перед двойной опасностью, я убежден, дух наш не только не угаснет, а воспрянет с новой силой, и мы будем бороться, бороться на два фронта.

— Бороться на видимом фронте с видимым противником, это мы умеем, это мы блестяще

доказали, — покручивая свой янычарский ус, подхватил Заур-Бек, — а вот как бороться с бесплотными силами, с наваждением, с призраками... Здесь одной джигитской храбрости и наших кавказских кинжалов и шашек недостаточно...

И опять воцарилось тягостное молчание.

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ ПОЕДИНОК

У Лары вошло в привычку, и привычку желанную, видеть Тугарина. Видеть не только ежедневно, но и по несколько раз в день. Но оставаться с ним с глазу на глаз она подчеркнуто избегала. А это было совсем не трудно: Лара и Тугарин почти все время неотделимы от группы "туземных" офицеров.

Эта группа то уменьшалась, то увеличивалась. Одни возвращались в свои полки, другие ехали дальше, в Петербург и Москву, желая как можно полнее использовать отпуск свой. Но вместо них прибывали новые офицеры в папахах и черкесках.

Улучив однажды минуту, когда они остались вдвоем, Тугарин жадно, нетерпеливо, боясь, что вот-вот помешают, спросил:

— Лариса Павловна, почему вы меня избе-

гаете?

— Я вас избегаю? Наоборот, мы проводим вместе все время.

— Нет, я не об этом, — с досадой вырвалось у него, — почему вы не хотите быть со мной, только со мной?

— Потому что... вспомните нашу беседу в Царском саду. Мы говорим на разных языках, но от вас зависит, чтобы наш язык сделался общим. Мне приятно видеть вас, чужие ни сколько не мешают мне.

— А мне мешают, — подхватил он.

— Вот-вот! Вам мешают. Остаься вы наедине со мной, вы тотчас же бросились бы меня целовать...

— А вы не хотите моих поцелуев?

Она смотрела на него неуловимым взглядом, где было и что-то притягивающее, и что-то нежное, и что-то насмешливое. Вслед за глазами должны были заговорить губы. И они уже шевельнулись, но — встреча была в холле гостиницы — к ним подходил великолепный усач Секира-Секирский. Сняв папаху, он галантно склонился к руке Лары.

Тугарин мысленно отправил его ко всем

чертям. А Секира счел своим долгом заниматься интересную петербургскую даму.

— Всадники моей сотни с восторгом вспоминают ваши подарки. То были дни затишья, то был пикник... А едва только вы уехали, начался ад. Восемь дней и ночей в непрерывных боях. У меня было одиннадцать конных атак.

Тугарин кусал губы. Он даже пропустил без внимания бахвальство Секиры, никогда за всю войну не принимавшего участия ни в одной атаке.

А Лару забавляло это вранье. Она провоцировала колоссального ротмистра, и он потерял всякое чувство меры.

В этот же день они обедали втроем — Лара, Тугарин и Секира-Секирский. Секира говорил без умолку, а Тугарин был молчалив и мрачен. Будь на месте Секиры кто-нибудь другой, Тугарин давно бы, придравшись к чему-нибудь, наговорил бы ему дерзостей. Но, зная, что Секира беспомощен, труслив, а если на него прикрикнуть, то и жалок, Тугарин не хотел и не мог бить лежачего. А между тем так хотелось на ком-нибудь или на чем-нибудь

сорвать строптивное сердце свое.

Взгляд его упал на вошедшего в ресторан подполковника генерального штаба. Лысый, бледный, выхоленный, с моноклем в глазу, одетый с иголки: новенький френч, новенькие темно-синие бриджи и мягкие шевроновые сапоги.

Подполковник, прищурившись, осмотрелся с полубрезгливой, полупрезрительной гримасой. Когда он увидел в глубине великого князя Александра Михайловича, гримаса сбежала, сменившись почтительным выражением. Подполковник, вынув из глаза монокль, подошел к великому князю и спросил разрешения сесть и, уже вновь "надев" брезгливо-презрительную маску, занялся поисками места. И вот тут-то он увидал и узнал Лару. Эта встреча повергла его в неприятное удивление. Так вот где она очутилась, эта исчезнувшая из Петербурга беглянка, и вдобавок в обществе офицеров Дикой дивизии; это уж совсем дурной тон...

И подполковник секунду колебался — подойти или не подойти? И решил подойти. Разумеется, никаких упреков. Это было бы ме-

щанством. Упреки потом, а сейчас он будет светским человеком и только.

И с наигранной улыбкой он приблизился к ней.

— Лариса Павловна, вы ли это? Вы ли? Вот неожиданная, негаданная встреча! Я знал, что вы уехали в неизвестном направлении, хотя нет: кто-то мне говорил, что вы куда-то повезли какие-то подарки...

Секира, увидев перед собой подполковника, да еще генерального штаба, выжидательно встал. Тугарин же остался сидеть как сидел.

— Вы разрешите пообедать в вашем миллом обществе? — спросил подполковник Лару, как бы не замечая тех, кто был с нею.

— Пожалуйста. Господа, позвольте вас познакомиться — капитан Шепетовский.

— Подполковник, Лариса Павловна, подполковник, — веско поправил Шепетовский, — вы меня можете поздравить с монаршей милостью, я на днях произведен. Видите, на погонах два просвета, два, а был один.

Шепетовский, не глядя, протянул руку обоим офицерам и сел.

Хотя Лара была спокойной, хотя Шепетовский держал себя с преувеличенной корректностью, но Тугарин чутьем самца угадал, что это именно и есть последний роман Лары.

Шепетовский, тщательно обдумав, заказал обед, откинулся на спинку стула, поблескивая моноклом.

— А вы, я вижу, Лариса Павловна, не скучаете. О женщины! Вы свободны как ветер, вы можете порхать без конца, тогда как мы, мужчины, полны дел и хлопот. Я, например, вы думаете, я очутился в Киеве собственного удовольствия ради?

— Я этого совсем не думаю.

— И вы совершенно правы. Я получил серьезную, ответственную командировку на юго-западный фронт.

Будь Лара одна, Шепетовский этим бы ограничился, но дальнейшее было уже сказано не для нее, а для этих "туземцев", пусть проникнутся уважением.

И громко, отчетливо он продолжал:

— Я еду на юго-западный фронт для организаций кавалерийских набегов в неприятельском тылу.

Эффект получился, но совершенно обратный тому, коего ожидал сам Шепетовский. Тугарин спросил его:

— Позвольте узнать, господин подполковник, сами-то вы кавалерист?

Шепетовский впервые удостоил взглядом Тугарина. Решительное лицо и, кроме этого, еще какой-то вызов... Не нарваться бы с этой армейщиной, да еще надевшей кавказскую форму.

И, растягивая слова и уже не глядя на Тугарина, Шепетовский ответил:

— Я начал службу в гвардейской пехоте, но Академия генерального штаба мановением волшебной палочки превращает пехотинца в...

— В табуретных Мюратов и Зейдлицев? — перебил, подхватывая, Тугарин. — Имея кабинетное понятие о коннице, они думают нас, боевых кавалеристов, поучать набегам в тылу?

— Ротмистр, вы... вы... забываетесь, — прошипел подполковник.

— Ничуть. Я критикую не вас лично, а всю систему, весь ваш генеральный штаб, кото-

рый все умеет и все знает.

Шепетовский обратился с каким-то вопросом к Ларе. Ему подали раковый суп, но аппетит был уже испорчен. Побледневший Секира сидел ни жив ни мертв. Он даже отодвинулся от Тугарина, а в глазах Тугарина вспыхивали задорные, веселые огоньки. Он подозвал к себе лакея.

— Скажи там, чтобы кликнули сверху моего денщика.

Через минуту перед Тугариным вырос красивый всадник-грузин с Георгиевским крестом, коим удостоили за участие в бою со своим ротмистром, что в денщицкие его обязанности совсем не входило. Но, во-первых, он любил своего барина, а во-вторых, в жилах его текла горячая грузинская кровь.

— Майсурадзе!

— Что прикажете, ваше высокоблагородие? — лихо вытянулся денщик.

— Кто был первый офицер генерального штаба?

— Моисей, ваше высокоблагородие.

— Почему?

— Потому что сорок лет бесцельно и беспо-

лезно водил евреев по пустыне, — без запинки отрапортовал Майсурадзе.

— Спасибо, молодец. Можешь идти.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие.

Дрожа от злости и сделавшись из бледного зеленым, Шепетовский отодвинул тарелку с начатым раковым супом. И, глядя на Лару, как если бы она была виновницей всего, заговорил:

— Это... это... недопустимое безобразие... Я... лично я выше всяких оскорблений, но когда оскорбляют мундир, мундир, который я имею честь носить, и... мало этого, когда делают нижних чинов участниками этого... этой возмутительной травли, я этого так не оставлю... Неуравновешенный ротмистр понесет должное...

— Уравновешенный подполковник, — перебил Тугарин, — я готов дать вам удовлетворение... и не только вам, а всем тем офицерам генерального штаба, которые пожелали бы защищать белоснежную чистоту своих серебряных аксельбантов...

Секира-Секирский не выдержал: этот сумасшедший Тугарин натворит бог знает что, по-

дальше от греха.

И громадный усач, откашлявшись, чтобы прогнать неловкость, буркнув что-то про себя, боком, нерешительно встал и так же боком, нерешительно удалился. Уже миновав опасную зону, Секира-Секирский выкатил грудь колесом и стал, как всегда в мирной, не боевой обстановке, молодежавый, бравый, одним видом внушающий кому страх, кому удивление, кому восхищение. Исчезновение его не было замечено ни Ларой, ни Шепетовским, ни Тугариным.

Шепетовский, опять-таки глядя на Лару, ответил своему противнику:

— Обер-офицер не имеет права вызывать на дуэль штаб-офицера.

— Ах вот как! Вам угодно прикрыться своими девственными подполковничьими погонами. А если бы ваше производство на несколько дней запоздало, и вы были бы еще капитаном? Вы приняли бы мой вызов? и, наконец, если при всех, сейчас, я вас оскорблю действием? — сам себя взвинчивал Тугарин, и насмешливые огоньки его глаз уже сменились гневными искрами.

Шепетовский молчал. Это самое лучшее. Одно, самое невинное, слово может погубить все; под этим "все" Шепетовский разумел свою карьеру. Пощечина, да еще в ресторане, на глазах великого князя — это конец всему. С пощечиной уже не доедешь до юго-западного фронта для организации кавалерийских набегов в неприятельском тылу.

Единственный выход — предупредить оскорбление действием и за оскорбление словами застрелить безумного ротмистра. Но опять-таки неизбежен скандал, а самое главное, он, Шепетовский, ни за что не отважился бы прибегнуть к оружию, хотя был при отточенной шашке, а в заднем кармане бриджей у него лежал браунинг.

Встать и уйти? Заметят. И так уже замечают. Их стол делается центром внимания, по крайней мере для ближайших соседей.

К великой радости Шепетовского, положение спас не кто иной, как сам Тугарин.

Он спросил Лару:

— Лариса Павловна, вам желательно общество этого господина?

— Ради бога, уведите меня отсюда!

— Вот именно это я и хотел вам предложить. Вашу руку.

И он увел ее, а Шепетовский, расплатившись, довольный, что все кончилось благополучно, поехал обедать в отдельный кабинет гостиницы "Европейская".

Насытившись в единственном числе, застрахованный от всяких сюрпризов, Шепетовский, прихлебывая кофе и дымя папироской, начал обдумывать суровый и беспощадный рапорт начальству. Этим он разом убьет двух зайцев, даже трех: восстановит свою собственную честь, честь оскорбленного мундира офицера генерального штаба и разделается с любовником Лары.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДВА РАЗНЫХ МИРА, ДВЕ РАЗНЫЕ СОВЕСТИ

События замелькали с такой стремительностью — воображение едва поспевало за ними, а мозг никак не мог ни объять, ни вместить. Это была не жизнь, а кинематограф. Но какой страшный кинематограф! Какая трагическая смена впечатлений...

Бунт в столице. Бунт запасных батальонов, давно распропагандированных, не желающих воевать, а желающих — это выгоднее и легче — бездельничать и грабить.

Петербург, такой строгий и стильный, очутился во власти взбесившейся черни.

Слабая, бездарная власть потеряла голову. Не будь она бездарной и слабой, она легко подавила бы мятеж, подавила бы только с помощью полиции и юнкеров. Новая революционная власть — в руках пигмеев. Эти пигмеи, в один день ставшие знаменитыми, убеждены, что это они вертят колесо истории. А на самом деле это колесо бешено мчит уцепив-

шихся за него жалких, дрожащих пигмеев.

Мчит. Куда? К геростратовой славе или в бездну?

Пожалуй, и туда, и туда.

Рухнула тысячелетняя Россия, сначала княжеская, потом царская, потом императорская.

Два депутата Государственной думы, небритые, в пиджаках и в заношенном белье, уговорили царя отречься. И он покорно сдал не только верховную власть, но и верховное командование.

Подписав наспех составленное на пишущей машинке отречение, самодержец величайшего в мире государства превратился в частное лицо, а через два-три дня — в пленника.

Низложенный император, теперь уже только семьянин, спешит в Царское Село к больным детям, но какой-то инженер Бубликов, человек со смешной, плебейской фамилией, отдает приказ не пускать поезд к революционной столице, и поезд, как затравленный, судорожно мечется между Могилевым и станцией Дно, никому неизвестной, вдруг по-

павшей в историю, как попали в нее маленький Бубликов и маленький адвокат Керенский.

При этом первом демократическом министре юстиции медленно догорело великолепное старинное здание окружного суда и были выпущены из тюрем все уголовные преступники.

Революция началась, как и все революции, — под знаком отрицания права и под знаком насилия.

Тысячи недоучившихся студентов, фармацевтов, безработных адвокатов, людей, ничему никогда не учившихся, надев солдатские шинели, нацепив красные банты, хлынули на фронт убеждать солдат, что генералы и офицеры — враги их, что генералам и офицерам не надо повиноваться и отдавать честь, ибо это унижает человеческое достоинство. Этим гастролеров обезумевшие солдаты носили на руках и верили им гораздо больше, нежели тем, кто около трех лет водил их в бой и вместе с ними сидел в окопах под неприятельским огнем.

Темные разнородные силы, сделавшие ре-

волюцию, выбрали удобный момент. Еще два-три месяца, и, оставаясь русская армия стойкой, дисциплинированной, Россия победила бы, победила бы даже без наступлений. Держаться было легко, имея под конец такую же мощную артиллерию, какая была у противника. Целые горы снарядов громоздились под открытым небом на всем пространстве необъятного фронта. Этих запасов смертоносного металла с избытком хватило бы, чтобы под осколками его полегла истощенная, измученная германская армия.

Но теперь, когда русские дивизии и корпуса превратились в митингующие дикие орды, если и опасные кому-нибудь, то только своим же собственным офицерам, — теперь немцы могли вздохнуть свободно. Теперь для них восточный фронт был вычеркнут, остался один только лишь западный.

Успехи фаланг Макензена с их артиллерийским пеклом побледнели перед этой неслыханной бескровной победой.

Революционная власть демагогически, с маниакальным упорством вдабливала в головы людей в серых шинелях:

— Солдату — все права и никаких обязанностей!

И армия — не могло быть иначе — разлагалась. Особенно удачно протекало разложение в пехоте. Кавалерия, более дисциплинированная и в силу меньших, нежели у пехоты, потерь, имевшая в рядах своих кадровых солдат и офицеров, не так поддавалась преступной пораженческой агитации.

Но все же частями, в коих совсем не чувствовалась буйная и безумная, сменившая империю анархия, были мусульманские части: Дикая дивизия, Текинский полк и крымский конный Татарский.

Дикую дивизию революция застала в Румынии.

Тщетно пытались полковые и сотенные командиры втолковать своим "туземцам", что такое случилось и как повернулся ход событий. "Туземцы" многого не понимали, и прежде всего не понимали, как это можно быть "без царя". Слова "временное правительство" ничего не говорили этим лихим наездникам с Кавказа и решительно никаких образов не будили в их восточном воображении.

Они постановили так:

— Царю не следовало отречься, но если он отрекся — это его державная воля. Они же, "туземцы", будут считать, как если бы ничего не изменилось. Революция их не касается, и если русские армейские солдаты безобразничают и оскорбляют своих офицеров, то для них, "туземцев", свое начальство есть и останется на такой же высоте, как это было до сих пор. У армейских солдат — своя совесть, у горцев Кавказа — своя. И в силу этой самой совести, повинувшись офицерам и своим муллам, они без царя будут воевать с такой же доблестью, как воевали при царе.

И еще не могли они понять, как это военный министр может быть из штатских людей. Как это можно отдавать воинские почести человеку в пиджаке и в шляпе. Вначале хлынувшие на фронт агитаторы из адвокатов и фармацевтов, загримированных солдатами, пробовали начать разрушительное дело свое среди "туземцев", но каждая такая проба неизменно завершалась весьма плачевно для этих растлителей душ.

В лучшем случае "туземцы" избивали их

нагайками, в худшем — выхватывали кинжалы, и тогда уже офицеры вмешательством своим спасали жизнь агентам Керенского.

Агенты, у коих при неуспехе наглость сменялась трусостью, униженно благодарили офицеров, получая от них весьма назидательную отповедь:

— Пусть ваши революционные головы хоть слегка призадумаются над этим: вы зачем шли к нам в дивизию? Чтобы расшатать авторитет наш среди всадников, как это вы сделали в армии? Но именно потому, что авторитет наш остался в полной мере и не вам поколебать его, потому-то вы и целы и не превращены в котлеты кинжалами горцев. Да будет это вам уроком. Не суйтесь больше к нам! Лозунги ваши здесь не ко двору, не могут иметь успеха. Чем вы берете в армии? Тем, что говорите: "Вы теперь свободные граждане, бросайте фронт и с винтовками ступайте в тыл делить помещичью землю". И армейцы, с их отвращением к войне, с шкурническим страхом быть убитыми, с их жадностью к чужой земле, слушаются вас. Для наших же горцев война — желанная стихия, а смерть в

бою — почетный удел джигита, вот почему вас встречают не аплодисментами, а нагайками и кинжалами. Кроме того, наши горцы не собираются делить чужую землю — им достаточно своих аулов и своих пастбищ; унесите же подобру-поздорову ваши ноги да и товарищам вашим передайте, чтобы обходили "туземцев". Больше мы никого из вас выручать не будем. Пусть они режут вас, как баранов! Да вы и не стоите лучшей участи. Все вы мерзавцы, предатели и ведете Россию к гибели!

С тех пор закаялись агитаторы смущать горцев, избегая даже показываться по соседству с Дикой дивизией. На что Керенский, и тот, несмотря на все свое желание посетить Дикую дивизию, так и не решился приехать. Ему дано было понять, что его дешевое красноречие не только не будет иметь успеха, а, фигурально выражаясь, он будет встречен "мордой об стол".

МЕЧТЫ О ДИКТАТУРЕ

Это уже не был нежно разметавшийся на холмах и долинах весь в зелени Киев. Это не были апартаменты "Континенталя". Это был маленький номер маленького загрязненного

отеля в провинциальном городе Яссы, временной столице Румынии. Немцами занят был Бухарест. Королевская семья и весь двор переехали в Яссы.

Но офицеры Дикой дивизии, собравшиеся в маленьком номере гостиницы "Траян", были все те же! Революция почти никого из них не сломала, не поколебала, не принизила, и этим в значительной степени обязаны они были своим всадникам, тоже не сломленным и не поколебленным.

Когда армейские солдаты избивали своих офицеров, оскорбляли, плевали в лицо не только в переносном, а в самом подлинном значении слова, — среди этого безумия и полного развала "дикие" горцы казались еще дисциплинированнее, чем до революции.

Яссы были таким же тылом для румынского фронта, каким был Киев для юго-западного. И в Яссы, как и в Киев, укрывались офицеры "туземной" дивизии отдохнуть и развлечься.

В табачном дыму, за стаканом местного вина обсуждались события. Обсуждались в сотый, а может быть, в тысячный раз. Наблюдавшее всегда и остро, и жгуче, и ново являет

собой незаживающую рану.

Адъютант Чеченского полка Чермоев, с заметным кавказским акцентом, приятным и мягким, поблескивая умными живыми глазами, убеждал:

— Если бы конвой государя состоял не из казаков, а из наших горцев-мусульман, как это было при Александре II, конвой не допустил бы отречения.

— Как это мог бы конвой не допустить? — не понял Юрочка и обиделся за государя.

Баранов, не дав ответить Чермоеву, накинулся на Юрочку со свойственной ему, Баранову, резкостью, не допускающей возражения:

— Вот-вот, все вы такие! Все вы в шорах! Потому и нет царя, потому погибла Россия. Я знаю, знаю наперед, что вы скажете! Раз, мол, царь отрекся, верноподданные должны покорно с этим примириться. А между тем как раз наоборот. Долг верноподданного рассуждать, а не слепо повиноваться. Отречение было вырвано у государя силой или почти силой, а поэтому надо было аннулировать это отречение тоже силой! Чермоев прав! Тузем-

цы конвоя не приняли бы этого пассивно. Они по-своему расправились бы и с теми, кто приехал "отрекать" государя, да заодно и с теми генерал-адъютантами, которых он осыпал милостями и которые отблагодарили его, участвуя в заговоре против него.

— Баранов не знает полумер и полутоннов, — заметил Юрочка, — что же, по-вашему, Алексеева и Рузского следовало повесить?

— Тут же, перед поездом, на фонарных или каких там еще столбах! — горячо подхватил Баранов. — Изменники, изменники с генерал-адъютантскими вензелями! Разве все загадочное поведение Алексеева в ставке не измена? Разве поведение Рузского в Пскове не измена? А как он осмелился кричать на государя и, вырвав у него вместе с приехавшими депутатами Думы отречение, воспротивился вернуть, когда спохватившийся государь потребовал назад? Это не измена? Помните, по воле государя нашей дивизии приказано было грузиться, чтобы идти в Петроград и не допускать никаких мятежных выступлений? И уж будьте спокойны, революции не было бы, — уверенно пообещал Баранов. — И что

же? В самый последний момент приказ был отменен, и мы остались на фронте. "Туземцы" в Петрограде — это не входило в план алексеевых и русских. А получилось вот что! — порывисто подойдя к окну, Баранов широким жестом показал вниз на площадь с загаженным фонтаном посередине. Площадь была запружена скупающими, одуревшими от праздности и безделия русскими солдатами. Всклоченные, невымытые, в расстегнутых гимнастерках, с нацепленными куда попало красными бантами, они давно утратили не только воинский, но и человеческий вид. Это была толпа, луцившая семечки, готовая митинговать, грабить, насильничать, делать все, что угодно, только не подчиняться своим офицерам и не воевать.

И хотя эта картина была до отворачивания знакома, но вслед за Барановым и все остальные подошли к окну. Летний воздух, пыльный и мутный, прорезался певучим сигналом — гудком королевской машины.

Сухой, горбоносый профиль короля Фердинанда. Рядом — его начальник штаба генерал Предан. Толпа русских солдат препятствовала

движению. Королевская машина замедлила ход. Солдаты с неприятной тупостью смотрели на союзного монарха. И ни одна рука не потянулась отдать честь, ни одна! Какая там честь, когда этим солдатам внушалось, что здешнего короля надо так же свергнуть, как свергли они у себя "Николая".

Баранов, покраснев, захлопнул окно. И все кругом вспыхнули. Было стыдно, мучительно стыдно за русскую армию...

Что должен был думать о ней этот русский фельдмаршал в голубой форме румынского генерала? А ведь всего несколько месяцев назад он пропускал мимо себя русские полки, шедшие на фронт, и, сам солдат с головы до ног, восхищался их молодецким видом, выправкой, подтянутостью. Казалось, с такими бойцами можно опрокинуть какую угодно мощь, даже германскую!

Казалось тогда... А теперь...

И Тугарин, вслух заканчивая предполагаемые мысли румынского короля, после некоторой паузы молвил:

— Да, был царь, была армия, а нет царя, нет и армии, вместо армии — сброд, сво-

лочь... И от стыда, и от боли так горит лицо, так горит, как если бы тебе надавали пощечин...

— А главное, главное, — подхватил Юрочка, — весь ужас тех, кто понимает и болеет, ужас в сознании нашего собственного бессилия, нашей полной беспомощности. Никто и ничто не в состоянии прекратить этот стихийный развал. Мы, то есть не мы лично, а Россия и с нею армия, да и мы, пожалуй, мы обреченные! Все катилось по наклонной плоскости, докатилось и рухнуло в бездну...

— Опомнись, Юрочка, если все мы будем думать, как ты, сохрани и помилуй бог! — возразил Тугарин. — Тогда мы, разумеется, обреченные. Но нет же, нет, тысячу раз нет! Все это, — и он показал на окно и на площадь, — можно остановить на самом краю бездны, и не только остановить, а и железной рукой взнудать, навести порядок! И эта рука должна явиться справа, а, смахнув слюнявую керенщину, она явится слева. И тогда вся эта орда, пускавшая папиросный дым чуть ли не в лицо Фердинанду, будет закована в цепи такой дисциплины, какой никогда не снилось

ни одной императорской армии! Это будет полчище аракчеевских шпицрутенгов! — твердо, как-то пророчески звучал голос Тугарина.

И все поверили, поверили, что так именно и будет, если не явится диктатура справа, она придет слева.

— Но что же делать? Где выход? — с тоской вырвалось у Юрочки.

— Выход? — резко переспросил Тугарин. — Выход единственный. Выжечь каленым железом гнойник, ударить по тому самому месту, где началось, откуда пошла зараза. Захват Петрограда, беспощадное физическое уничтожение Совета рабочих депутатов, несущего большевизм, и твердая национальная власть! Все это может проделать одна кавалерийская дивизия, лучше всего "туземная"! Но, конечно, не с таким ничтожеством и трусом, как наш Багратион, во главе.

Эта беспощадная характеристика ни в ком не встретила возражения.

Великий князь Михаил уже давно покинул дивизию. Вначале он командовал конным корпусом, а потом назначен был на пост гене-

рал-инспектора кавалерии. Дикую дивизию получил князь Багратион, пустой человек, бесталанный генерал, болтун, трусливый не только на боевом поле, где он, кстати, ни разу не был, но и в житейском, и в политическом значении слова.

— Великий князь, — продолжал Тугарин, — теперь гатчинский узник. Эта сволочь из Совета рабочих депутатов контролирует каждый его шаг. А нам, нам он нужен был бы как знамя. Его можно освободить, похитить, наконец, вместе с ним войти в Петроград и провозгласить императором...

— Но ты же сам знаешь великого князя, — ответил кто-то, — великий князь питает отвращение к власти. Вспомни, как легко он сдал ее, сдал свое право на престол после отречения государя.

— Как смеет он питать отвращение к власти, когда Россия гибнет? — с засверкавшими глазами ударил по столу Тугарин. — Силой заставили бы идти вместе с нами. Лучше ему быть нашим пленником, своих верноподданных, чем пленником засевшей в Смольном черни — черни, предводимой адвокатишка-

ми и фармацевтами. Если мы настоящие монархисты, любящие родину, мы должны действовать революционно, откинув мертвую дисциплину, откинув слепое повиновение. В этом я вполне схожусь с Барановым. Если бы все офицерство мыслило так, все было бы иначе, и государь стоял бы во главе армии и не был бы сослан в Тобольск. Даже после отречения его надо было увезти на фронт и, не считаясь с его волей, "заставить" продолжать быть императором. Потребовать усмирения Петрограда. И усмирили бы. Усмирили бы железом и кровью. Но, повторяю, даже теперь не поздно. Весь вопрос в сильном, смелом человеке, который повел бы и за которым пошли бы. Генералы наши провалились на экзамене. Да и зачем непременно генерал? Пусть это будет боевой полковник, пусть это будет ротмистр, поручик, мы ему все подчинимся, а с таким, как Багратион, будем до конца пить из чаши унижения и позора...

НАКАНУНЕ СОБЫТИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Лара жила на Шпалерной, у Таврического сада. Из своих окон видела начало револю-

ции: центром и мозгом начала был Таврический дворец с Государственной Думой. А Государственная Дума была популярна в так называемых "массах", и только слабость растерявшегося председателя ее, Родзянки, допустила самочинно и самовольно сформироваться Совету рабочих и солдатских депутатов.

Будь Родзянко сильнее, он мог бы задержать в своих руках всю полноту власти и снести голову демагогическому младенцу без рода, без племени, со смешной кличкой "совет рабочих депутатов". Как будто в России ничего, кроме солдат и рабочих, не было и как будто лишь только они, эти темные люди, могли управлять страной.

Лара видела из своих окон одурелые толпы, серые, скучные, расцвеченные красными бантами, флагами и красными гигантскими плакатами на нескольких древках, несомых несколькими людьми. Безвкусное обилие красного цвета угнетало и раздражало всех тех, кто среди этого буйного помешательства сохранил ясность рассудка.

Лара видела из своих окон, как пьяное ху-

лиганье нападало на офицеров, снимая с них оружие, срывая погоны. Видела, как такие же пьяные банды врывались в подъезды особняков, официально — желая найти оружие, неофициально — желая пограбить.

Лара видела, как прошел к Думе гвардейский экипаж из матросов, один к одному, богатыри и красавцы. Вел этих богатырей их командир, тоже красавец, великий князь Кирилл Владимирович, пожалуй, один из всей династии не потерявший голову и попытавшийся что-то сделать и спасти. Спасти хотя бы остатки рухнувшей империи.

Он предложил свои услуги Родзянке не как великий князь, а как обыкновенный смертный, имевший в своих руках отдельную воинскую часть. И еще можно было бы что-то наладить, что-то восстановить, что-то сбегать, но Родзянко, теряясь все более и более под напором слева, дал неопределенный ответ:

— Мы будем иметь в виду предложение вашего высочества.

И трагедия в том, что Родзянко, честный русский человек и несомненный патриот, и

умом, и душою был, несомненно, не с Керенским, с которым волей-неволей должен был сотрудничать, а с великим князем, сотрудничество коего отверг.

В этой личной трагедии Родзянко была трагедия всего русского дворянства, мягкотело-либерального, так же потерявшего вкус и аппетит к власти, как потерял и то, и другое несчастный государь.

А между тем низы и полуинтеллигентская накипь весьма быстро вошли во вкус власти и обнаружили прямо чудовищный аппетит к ней.

Многое видела Лара из окон. Сама она как-то двоилась в своих ощущениях и переживаниях.

Революция так была гадка, так отвратительна ей, что могла бы свести с ума, если бы не владевшая всем существом любовь. А так как чувство малое и большое всегда прежде всего эгоистично, то и революцию она воспринимала скорее внешне. Все, что не было им, Тугариным, любимым человеком, отходило на второй план. Эти скопища с красными флагами казались скопищами статистов в

плохой постановке плохого театра.

Однажды этих самых статистов ей пришлось наблюдать не только из своих окон, как из ложи, а у себя в квартире. В первые же дни революции, в самом начале марта, к ней ворвалась полупьяная кучка людей в шинелях и без шинелей.

На ее вопрос, что им надо, они отвечали:

— Так что здесь прячутся эти самые кавказские ахвицеры, которые вообще против народной свободы.

— Ищите, — ответила Лара.

Искали, обошли всю квартиру, кавказских офицеров не нашли, но кое-какие драгоценности из туалетных ящиков исчезли вместе с ними.

Позже Лара случайно узнала: эти люди подсланы были полковником — Керенский произвел его в полковники — Шепетовским.

Так мстил отвергнутый любовник.

Вчерашний монархист из соображений карьерного свойства теперь, в силу тех же самых соображений, делал революционно-демократическую карьеру, для чего не без сожаления расстался со своим буржуазным моно-

лем.

Лара подлую выходку Шепетовскому не то что простила, а постаралась забыть о ней, как забыла о самом Шепетовском, и опять-таки потому, что все, бывшее вне ее чувства к Тугарину, казалось таким ничтожным и мелким. Она думала о нем постоянно... Сначала, до революции, думала, что его могут убить на фронте, а позже опасение увеличилось, так как опасность удвоилась и вместо одного фронта было два. Один, как и был, внешний, другой — и он чудился еще страшнее — внутренний. Тугарин так невыдержан и горяч, он так не считается и не желает считаться со всем происшедшим, рискуя на каждом шагу, и Лара вспомнила виденное из окна, как солдаты и хулиганы срывали погоны офицерам. Ни своих погон, ни своей сабли Тугарин живым не отдаст, и мало ли что может случиться?

Никогда еще петербургская весна не была так загажена людьми. Но эта весна казалась Ларе такой прекрасной именно потому, что в душе Лары уже больше года благоухала весна, и, стараясь не замечать людей, она впитыва-

ла в себя очарование ясных, еще холодных, но прозрачных дней. И что-то притягивающее было в сырой жести Таврического сада, в его голых деревьях, в запахе увядших прошлогодних листьев.

И если бы не тревога за любимого человека, и если бы еще не действительность, от которой никуда не уйти, как безмятежно и хорошо было бы на сердце.

Тревоги Лары успокаивал Юрочка, на день, на два, раз в месяц вырывавшийся в Петроград к своим. Он всегда находил часок-другой, чтобы заглянуть к Ларе.

И к ней он был весьма расположен, да и, кроме того, обожал Тугарина. Доставляло удовольствие, выражаясь по-военному, "нести службу связи" между Тугариным и Ларой.

Да, он успокаивал ее, успокаивал слепой верой в свою Дикую дивизию:

— Вы себе представить не можете, как нас боятся все эти армейские! Своих офицеров они в грош не ставят, вчуже больно, а наша черкеска и папаха производят на них магическое действие! Не было случая, чтобы "туземный" офицер один-одинешенек был бы задет

или оскорблен толпой солдат, даже самой разнузданной, утратившей всякое понятие о дисциплине.

— Юрочка, вы мой бром, но все-таки, все-таки... Послушать вас, так все хорошо, даже верить не хочется. Но вы же сами говорили, что у вас есть пулеметная команда из матросов.

— Есть, и, конечно, эта команда сочувствует не нам, а революции, но она — тише воды ниже травы, пикнуть не смеют. Кроме них, вот еще писаря, но и писаря поджали хвост. Ах, вот был номер. Помните фельдшера Карикозова? Он обедал в вашем обществе в "Континентале"?

— Как не помнить: Тугарин так жестоко прогнал его!

— На днях он поступил с ним еще более жестоко. Прибегает всадник-ингуш. Трясется от бешенства. В штаб полка явился с красным бантом Карикозов и давай пропагандировать писарей: теперь, мол, свобода и все прочее. Вы знаете Тугарина?.. Вспыхнул, взял с собой ингуша, по дороге прихватил еще одного и — в штаб. Действительно, Карикозов держал

речь к писарям. Увидел Тугарина, побледнел да так и застыл с открытым ртом. Тугарин одному ингушу: "Сорви красный бант с этого мерзавца". Другому: "Ну-ка, возьми его в плеть "по-туземному"!". Финал плачевный — фельдшер весь в крови вынесен был из штаба, и уж другой фельдшер оказывал ему медицинскую помощь. Молодец Тугарин! Я не знаю, кто еще, разве вот Баранов, мог бы так энергично расправиться!

— Да, но как бы из-за этого молодечества не пришлось бы в конце концов поплатиться...

— Пустяки. Я верю в его звезду. Сильным и смелым везде удача. Кстати, Карикозов после этого урока исчез. Сквозь землю провалился.

В следующий свой приезд, уже летом, Юрочка был озабоченный и таинственный.

— Развал по всему фронту. Бегут, не хотят удерживать позиций, бесчинствуют в тылу. Нас, "туземцев", бросают из Галиции в Румынию, из Румынии в Галицию. Мы какая-то "какета скорой помощи"! Наступаем, затыкаем прорывы, усмиряем солдатские грабежи и погромы...

— Чем же это кончится?

— Кончится катастрофой, если... Но, слава богу, замечается какой-то просвет. Назначенный вместо Брусилова верховным главнокомандующим генерал Корнилов может спасти положение. Он требует введения смертной казни в тылу и на фронте, а также восстановления расшатанной дисциплины. Конечно, и Временное правительство, и Совет рабочих депутатов всячески будут препятствовать ему. Им нужен развал, они боятся поднятия престижа офицеров и генералов. Тогда им смерть, а им этого совсем не хочется, хочется быть у власти, хотя бы даже призрачной. Керенский с наслаждением сменил бы Корнилова, но теперь уже коротки руки. За Корниловым казачество, офицерский корпус, ударные батальоны и, конечно, мы! Ах, я вам нарисую картину, как генерал Корнилов приезжает из ставки в Зимний дворец на заседание Временного правительства. Дело в том, что Керенский и министры-социалисты не прочь в один из таких приездов арестовать Корнилова и назначить в ставку другого генерала, который был бы более сговорчивым или, пожа-

луй, вернее, сам Керенский метит в главково-
верхи.

— Полно, Юрочка, балаганить!..

— Нисколько! Этот самовлюбленный гороховый шут уже и теперь мнит себя Наполеоном и гримируется под него. Правда, вместо серого походного сюртука у него демократическая кофта какая-то, но за борт этой самой кофты он закладывает руки вполне наполеоновским жестом. Большевики? Он их боится, попустительствует им, как крысам одного и того же подполья. В один прекрасный день скажут: "Пошел вон!" этому адвокату-Наполеону, и вместо Керенского в кровати императора Александра III в Зимнем дворце будет спать Ленин или Троцкий... Так вот, чтобы предупредить это... Но теперь я вам опишу совещание верховного с Временным правительством. Положительно что-то персидское или мексиканское. Да и в самом деле, может ли Корнилов доверять кабинету министров, где заседают неврастеники-кокаинисты, одержимые манией величия, наполеоны в демократических кофтах и где имеются еще махровый негодяй Некрасов, немецкий агент Чер-

нов и террорист-бандит Савинков? В эту темную компанию волей-неволей попадает честный солдат, желающий спасти Россию и с достоинством закончить войну, для чего необходимо в первую очередь свернуть шею большевикам. Такого беспокойного генерала могут арестовать и сместить, как я уже сказал, либо сделать еще кое-что похуже. В лабиринтах Зимнего дворца так легко исчезнуть, да еще при благосклонном участии такого профессионального убийцы, как военный министр Савинков.

— Юрочка, вы там у себя на фронте глотаете французские романы...

— Наша безумная действительность затмит любой авантюрный роман. Необходимо вам сказать, да я и говорил это, кажется, раньше, что кроме нашей дивизии есть еще одна мусульманская часть. Раньше называлась Туркменским дивизионом, а теперь это конный Текинский полк. Бронзовые люди из среднеазиатских степей, рослые и видные, куда крупнее наших "туземцев", и все на чудесных жеребцах, серых в яблоках. В бою это одно великолепие! Гиканье всадников, ржание

разгоряченных лошадей и беспощадная рубка. Недобитых всадником врагов загрызает жеребец...

— Юрочка, не фантазируйте!

— Честное слово, не фантазирую! — обиделся Юрочка. — Корнилов, служивший в Туркестане и знающий все местные наречия, взял туркменов к себе в ставку и сделал их как бы своим личным конвоем. Преданы они ему безгранично! Готовы жизнь за него отдать!.. Вот уж действительно "до последней капли крови". Едучи на совещание в Петроград, он берет с собой две сотни туркменов с пулеметами и десять верных ему офицеров. Одна сотня рассыпается на площади перед Зимним дворцом, другая занимает все ходы и выходы в той части дворца, где происходит совещание. А рядом с залом совета — вооруженные до зубов офицеры. При таких условиях извольте арестовать главнокомандующего, когда он сам в любой момент может арестовать все правительство...

— И вправду, что-то мексиканское! — молвила Лара. — Но ведь это же все ненормально, чудовищно ненормально...

— А разве все кругом нормально? Разве вся Россия не сплошной дом умалишенных? В таком порядке, под такой же охраной покидает Корнилов совет министров и возвращается к себе в ставку.

— Но так долго продолжаться не может...

— Конечно, не может... — и хотя Лара и Юрочка были только вдвоем и во всей квартире больше никого не было, Юрочка осмотрелся и понизил голос: — Поэтому-то и надвигаются события чрезвычайной важности. Уже назначено Московское совещание. Ничего из этого совещания не выйдет, будут говорить справа и слева, но не поймут, не захотят понимать друг друга. Патриотизм военных кругов встретится с демагогией болтунов и политических мошенников. Единственный выход — переворот. И он уже намечен Корниловым. По слухам, даже Керенский тяготится тиранией большевистского Совета и не прочь войти в соглашение с Корниловым. Но, во-первых, этому господину нельзя доверять, а во-вторых, не планы этой комической фигуры важны, а важно то, что в сентябре нас, "туземцев", могут бросить в Петроград для наве-

дения порядка и для надлежащей расправы с кем следует...

— Давно бы пора! — воскликнула Лара. — Как это было бы хорошо! Вы думаете, удастся?

— Кто может оказать нам сопротивление? Кто? Эти разложившиеся банды трусов, не бывавших в огне, не умеющих владеть оружием и опасных лишь мирному обывателю? Только бы нам дойти, физически дойти до Петрограда, а уж успех вне всяких сомнений! Если только первые наши разъезды ворвутся в предместье столицы, встанут все военные училища, встанет все лучшее, все то, что жаждет только сигнала к освобождению от шайки международных преступников, засевших в Смольном, как ждем все мы этого часа возмездия!

Лара молвила мечтательно, с какой-то блуждающей улыбкой:

— Итак, почему знать, быть может, вашей дивизии суждено сыграть историческую роль в деле освобождения России?..

НА ВЕРШИНЕ "ВЛАСТИ"

Совет рабочих и солдатских депутатов, державший в своих руках судьбу России и до

поры до времени только терпевший немощное Временное правительство, являл собою весьма пестрый зверинец. Главную роль, конечно, играла в нем интеллигенция, замаскированная "под рабочих и под солдат". Настоящие же рабочие и солдаты, допущенные из политических соображений, были на положении серой скотинки. Нужны были их голоса. Эти голоса серая скотинка слепо и покорно отдавала тем, кто ею руководил.

Руководили сплошь германские и австрийские агенты. Было несколько офицеров генерального штаба из Берлина и Вены. Надев солдатские шинели и забронировавшись псевдонимами, эти лейтенанты и майоры делали все зависящее от них и возможное, чтобы в самый кратчайший срок развалить еще кое-как державшиеся остатки и обломки русской армии и русского флота. Им помогали в этом большевики.

Помогали австро-германцы, очутившиеся в русском плену и после революции попавшие из сибирских концентрационных лагерей в Совет рабочих и солдатских депутатов. Одного из этих военнопленных, Отто Бауэра,

австрийского социалиста, провел в совет его друг Виктор Чернов, министр земледелия Временного правительства.

Чернов осуществлял аграрную реформу с гениальной прямолинейностью. Он говорил крестьянам:

— Выжигайте помещичьи усадьбы! Выжигайте дотла эти галочки гнезда, чтобы ваши кровопийцы больше никогда не вернулись!

Чернов в товарищеском порядке сообщал Отто Бауэру все тайны Временного правительства, а Бауэр сообщал эти сведения через своих курьеров венскому правительству.

Это было известно, и на совещаниях в Зимнем дворце военный министр Савинков предупреждал запиской генерала Корнилова, чтобы тот держал про себя свои планы как наступления, так и обороны, ибо это может стать известным неприятелю. Савинков не любил Чернова. Чернов не любил Савинкова. Эта взаимная антипатия родилась еще давно, в дни царизма, во время совместной подпольной работы.

Да и в рядах Совета рабочих депутатов Савинков имел немало врагов и совсем не имел

друзей.

Особенно ненавидел его Троцкий. У них были старые, тоже эмигрантские счеты.

По слухам, когда-то в Париже Савинков отбил у Троцкого женщину и, мало этого, еще публично дал ему по физиономии. Ничего невероятного в обоих случаях не было.

Троцкий тогда еще не был "демоничен", а был только смешон в своем подчеркнутом безобразии. Савинков же с его львиным профилем и бледным, холодным лицом был овеян славой бесстрашного убийцы, террориста, и от его фигуры веяло жуткой недоброй силой. Троцкий трусливо, из-за угла посылал других метать бомбы в министров и великих князей. Савинков же лично бросал бомбы в "прислужников ненавистного царизма". И вот эти два революционера очутились у власти. Троцкий заседал в Смольном институте, Савинков — в Зимнем дворце. Оглядываясь назад, Троцкий вспоминал пощечину, а заглядывая вперед, видел, что Савинков, этот единственный волевой человек во Временном правительстве, если удержится военным министром, будет для большевиков опасным и

нежелательным противником. А с большевиками ему не по дороге. Во-первых, он ни с кем не пожелает делить власть, а во-вторых, он не пораженец и по-своему любит Россию... В революционности своей мечтатель-романтик, он никогда не был платным агентом чужеземной политической полиции.

Кто-нибудь из них должен свернуть голову другому. Весь вопрос: кто кому?

Савинков поддерживал Корнилова. Поддерживал выдвинутое верховным главнокомандующим требование смертной казни, карающей дезертирство и неповиновение военному начальству.

Совет рабочих депутатов забил тревогу, боясь, что Корнилов и Савинков восстановят в армии боеспособность и порядок.

Керенский, со свойственным ему истерическим пафосом, восклицал, что как до сих пор его рукой не подписано ни одного смертного приговора, так и впредь не будет подписано.

Это говорилось для популярности, говорилось в толпу на митингах, с театральных подмостков и с арены цирка.

Но за кулисами, особенно после доброй порции кокаина, Керенский готов был пойти за Савинковым. Этот бледный, с решительным видом, с холеными руками человек, одинаково владевший как браунингом, так и ножом, был гранитно-монументален рядом с набитой паклей и ватой мягкой куклой. И гранит подавлял паклю.

Гранит внушал кукле:

— Если мы не раздавим товарищей из Смольного, товарищи из Смольного раздавят нас! Июльские дни — первое предостережение. Вы, Александр Федорович, на свою голову дважды спасли Троцкого. Когда преображенцы хотели его расстрелять и когда вы поспешили к нему на квартиру, воспротивившись его аресту...

Керенский, мигая дряблыми, набухшими веками, не мог ничего ответить. В самом деле, что можно было ответить?

Да, действительно, он дважды спас Троцкого. И не потому, что Троцкий был симпатичен ему или же политически приемлем, а потому, что Троцкий в глазах его был крупным революционным волкодавом, а он, Керенский, ря-

дом с этим волкодавом чувствовал себя такой маленькой, беззащитной дворняжкой...

В революционных кругах деление на касты и чиновпочитание куда сильнее развито, чем в любом монархическом государстве.

Человек с львиным профилем посвятил Керенского в свой план:

— Большевики опираются на матросов. Мы же, Временное правительство, не опираемся ни на кого и ни на что. Мы висим в воздухе. Нам необходимо опереться на армию или, вернее, на ее части, не потерявшие дисциплины и не превратившиеся в орды шкурников и дезертиров.

— Другими словами, еще сохранивших повинение генералам? — с тревогой вырвалось у Керенского. Он не так опасался большевиков, как генералов.

Собеседник поспешил успокоить его.

— Есть генералы и генералы. Лично я, например, вполне доверяю Корнилову. Он республиканец, не честолюбив и не метит в диктаторы, несомненный патриот и несомненный демократ как по убеждениям, так и по крови. Чего же еще? Это желанный для нас

союзник. За этим союзником реальная сила: именно те остатки еще сохранившейся армии, о которых я только что говорил.

И Савинков развивал дальше свой план, и Керенский начал склоняться...

А потом Керенский весь разговор этот передал министру путей сообщения Некрасову, самодовольному упитанному господину, на днях женившемуся на буржуазной девице, которой очень хотелось быть супругой министра, хотя бы и революционного. Обряд происходил в церкви Зимнего дворца, и шафера держали над головами новобрачных усыпанные драгоценными камнями венцы, принадлежавшие свергнутой династии.

Подумав, Некрасов ответил:

— Александр Федорович, вы знаете Савинкова? Знаете его непомерное честолюбие? В случае успеха он обойдет всех нас, обойдет и Корнилова, на спине которого мечтает выехать к власти. Ясно, что Савинков желает выскочить в диктаторы. А тогда, первым делом, он всех нас пошлет к черту!

В голове Некрасова это "пошлет к черту" преломлялось так: "Прощай благополучие,

прощай тонкие обеды и ужины в Зимнем дворце, прощай все, связанное с властью, хотя и эфемерной. И это на лучший конец. А на худший — Савинков не задумается"... И Некрасов вслух пояснил свою мысль:

— Савинков не остановится перед тем, чтобы заодно с большевиками перевешать и всех нас.

Теперь уже Керенский в свою очередь подумал: "Тогда прощай вина из царского погребка, прощай императорский поезд, беседы по прямому проводу, выступления на митингах с поклонницами-истеричками..."

И погасший, подчинившийся воле Некрасова, он беспомощно спросил:

— Так как же быть? Отставить все?

— Нет, зачем же отставить! — с хитрой улыбкой на раскормленной физиономии возразил министр путей сообщения. — Не надо! Внешне идите навстречу Савинкову и Корнилову. Даже, по-моему, следует, чтобы они выступили! А вот когда они выступят, забейте тревогу, объявите их изменниками делу революции, врагами народа. И тогда они оба полетят. Мы их перехитрим. Они думали свернуть

нам шею, а выйдет наоборот! И надо спешить, пока не поздно. Не по дням, а по часам растет популярность Корнилова. Ну разве вы не согласны со мной?

— Да, но... но большевики?

— Что большевики? С ними как-нибудь... обойдется. Верьте мне: опасность справа гораздо страшнее, чем слева. Здесь нужна тонкая политика. Мне надоел Савинков и надоел этот генерал, как башибузук приезжающий на заседания совета министров со своими текинцами и пулеметами. Они хотят спровоцировать нас, а мы спровоцируем их!

В тот же день Савинков спросил Керенского:

— Ваше окончательное решение, Александр Федорович? Завтра выезжаю в Могилев, в ставку, и буду совещаться с Корниловым. Могу я с ним говорить и от вашего имени? И если да, могу я сказать следующее: Александр Федорович уполномочивает вас двинуть на Петроград кавалерийский корпус с целью разгона Совета рабочих депутатов, дабы "освободить Временное правительство от его тирании". Вы подписываетесь под

этим?

— Вполне!

— Теперь дальше. В случае успеха, о неуспехе не может быть и речи, мы создаем диктатуру. Это будет триумвират: вы, я и Корнилов. Вся полнота власти будет в наших с вами руках, а генерал Корнилов останется верховным главнокомандующим, останется хозяином фронта и военным специалистом. Да и он сам вполне удовлетворится этой ролью. Как я уже сказал, он не честолюбив и в бонапарты нисколько не метит. Итак, в принципе все решено. От слов перейдем к действию.

— Перейдем, — как-то вяло отозвался Керенский.

Эта вялость нисколько не удивила Савинкова. Он знал, что минуты подъема и возбуждения, взвинченные кокаином, сменяются у Керенского часами полнейшей апатии, подавленности и ко всему, и ко всем безразличием.

БОМБИСТ-АРИСТОКРАТ ПРИЕЗЖАЕТ В СТАВКУ

Савинков был бомбист-аристократ.

Обыкновенно русские революционеры, чтобы подойти "ближе к народу", одевались неряшливо, не стригли волос, не носили крахмального белья и не особенно чисто мылись.

Савинков же всегда одет был с иголочки, тщательно вымытый, до глянца выбритый и надушенный аткинсоновским "Шипром". Вообще он любил комфорт, любил дорогие рестораны, любил нарядных женщин, ароматные гаванские сигары.

С тех пор как начался в России политический террор, никогда еще и ничьи такие же, как у Савинкова, белые холеные руки не бросали бомб в великих князей и сановников. Вагон Савинкова, вагон военного министра, был прицеплен к курьерскому поезду. Этот поезд шел на Киев, и на полпути, в Могилеве, савинковский вагон будет отцеплен. Военный министр проведет в Могилеве несколько часов, а может быть, и целые сутки.

Обычный вагон-салон, в котором ездили царские министры. Савинков вез с собой адъютанта и конвой из четырех юнкеров. Назначение конвоя — оберегать министерский ва-

гон от вторжения солдат, праздных, не знающих, куда себя девать от безделья. Ими забиты все станции.

И как только поезд останавливался, юнкера в опрятной и ловко пригнанной форме, при винтовках и шашках, занимали оба выхода, принимая на себя натиск буйной разнузданной солдатни.

— Нельзя сюда!

— Отчего нельзя?

— Вагон военного министра.

— Таперь слобода!

Но этим и ограничивались "самые свободные" солдаты. Решительный вид юнкеров отбивал охоту и к дальнейшим пререканиям, и к желанию залезть в сияющий, новенький, — не захватанный и не загаженный, как все остальные, вагон.

Савинков, сидя у окна, дымя сигарой и не показываясь, а украдкой глядя в щель занавески, наблюдал эти сцены.

"Неужели я затем годами скрывался в подполье, — проносила у него мысль, — затем балансировал между тюрьмой и виселицей, затем рвал в клочки своими бомбами цар-

ских министров и генерал-губернаторов, чтобы эта сволочь, потерявшая облик человеческий, бросая фронт, была грозой мирных жителей?"

Он не мог да и не хотел сознаться, что балансировал между тюрьмой и виселицей и метал бомбы не ради этих людей, а именно ради власти, чтобы ездить в таких вагонах-салонах со своим адъютантом и со своим конвоем.

Чем ближе к Ставке Верховного главнокомандующего, тем больше порядка замечалось на станциях и тем меньше было бродячих солдат. Корнилов подтянул не только ставку, но и прилегающий к ней район.

В самом же Могилеве царил образцовый порядок. Местный совдеп хотя и существовал, но с тех пор, как в ставку приехал Корнилов со своими текинцами, притих и держался с оглядкой да с опаской. Вид бронзовых текинцев в белых высоких папахах, загадочных воинственных людей Востока, внушал ужас рабочим и солдатским депутатам, еще недавно, при Брусилове, бывшим здесь не только господами положения, но и терроризировавшим

ставку, этот мозг и центр необъятных фронтов, европейского и азиатского.

Ставка помещалась в двухэтажном губернаторском доме помещичьего типа. После того как в нем около двух лет прожил государь и покинул его уже отрекшимся императором, дом стал историческим. При царе около дома стояли парные часовые Георгиевского батальона. После царя этот отборный батальон разложился. Выходя из ставки, Брусилов здоровался с парными часовыми за руку, этим подчеркивая свою демократичность. При Корнилове парными часовыми были бесменно текинцы.

Рослые, монументальные и в то же время стройные, легкие, гибкие, стояли они, как изваяния, и только особенное что-то, притаившееся в темных восточных глазах, говорило, что это живые люди. Каждого, кто подходил или подъезжал к ставке, текинцы ощупывали взглядом, казалось, до самой глубины души, словно пытаясь проникнуть, не замыслил ли человек этот худого чего-нибудь против их бояра. Корнилова они называли бояром.

Это не были казенные часовые, выстаивающие положенный срок. Это были верные слуги, чуткие стражи и телохранители своего бояра. И этой верной, не знающей границ привязанностью одухотворяли они свой посту вход в ставку.

Савинков, подкативший на автомобиле к губернаторскому дому, с первого взгляда оценил как этих великолепных джигитов с кривыми клычами (шашками), так и преданность их Корнилову, о чем уже был слышан.

По одному мановению своего бояра они готовы не только кого угодно убить, но свою собственную жизнь без колебания отдать за него. И тут же подумал революционный военный министр, что в России не наберется и нескольких человек, способных ради него, Савинкова, или ради Керенского на такое же слепое самопожертвование. И в этом сила Корнилова, и надо ее использовать, но осторожно, умеючи... Хотя Савинков и сейчас думал то же, что днем раньше сказал Керенскому в Зимнем дворце: Корнилов не честолюбив, власти не жаждет, в диктаторы не метит,

и с ним можно пойти рука об руку...

Через несколько минут они сидели в кабинете с глазу на глаз, друг против друга.

Судьба свела лицом к лицу, и не только к лицу, но и как сообщников, двух людей твердых, решительных, с несокрушимой волей. Но каждый из них по-разному направил и свою твердость, и свою волю. Оба не раз рисковали головой. Но Савинков рисковал ею во имя разрушения, разрушения великой России. Корнилов еще в небольших чинах помогал эту великую Россию выковывать и творить.

Это было давно. Нынешний главковерх был тогда капитаном генерального штаба и служил среди этих самых мусульманских бойцов, которые живописными изваяниями в белоснежных папах гордо стояли внизу.

В то время англичане обратили чрезвычайное внимание свое на Афганистан — не дававший им покоя путь русских в Индию. Деньгами и агитацией фанатизировали они афганцев против соседей, а вдоль русской границы возводили форты и даже целые крепости. Об этом знали у нас, но не знали ничего

определенного. Тщетно пытался генеральный штаб проникнуть в тайну англо-афганских сооружений и военных мероприятий.

Посылали разведчиков из "туземцев". Одни возвращались, не умея ничего толком рассказать и объяснить, большинство же не возвращалось совсем. Схваченные и обвиненные в шпионаже, они были заживо сварены в гигантских котлах с кипящим маслом...

Капитан Корнилов добровольно взялся сделать глубокую и тщательную разведку.

Сын сибирского казака от матери калмычки унаследовал он монгольскую внешность с шафранным цветом лица и узкими, косо прорезанными глазами. Он имел некоторую возможность не быть разоблаченным афганцами, по крайней мере тотчас же. Вдобавок еще он владел в совершенстве несколькими местными языками до афганского включительно.

С собой взял он двух верных джигитов-туркменов. Все трое, одетые по-туземному, в халатах и бараньих шапках, ночью перешли границу. У Корнилова под халатом был револьвер, маленький альбом и фотографический аппарат.

Шесть недель о них ни слуху ни духу. В Ташкенте уже считали Корнилова погибшим, сваренным в котле с кипящим маслом. Но он вернулся и привел обоих джигитов. Его альбом весь испещрен был "кроками" возведенных английскими инженерами фортов, а десятки фотографий дополняли эти ценные "кроки".

Но подвиг Корнилова не был оценен в Петербурге. Хотя Корнилов и получил какой-то незначительный орден, однако вместе с этим ему объявлен был выговор "за самовольный переход афганской границы без надлежащего разрешения высших военных властей".

Но это не обескуражило маленького, худощавого капитана с загадочным лицом китайского божка — он рисковал своей жизнью не во имя наград, а во имя России.

И так же для России исследовал он значительно позже с конвоем из нескольких казаков мертвые пустыни китайского Туркестана, куда до него не проникал ни один белый человек.

**КОРНИЛОВ НАСТОЯЛ НА ДИКОЙ ДИ-
ВИЗИИ**

Савинков знал про это, знал и про легендарное бегство Корнилова из австрийского плена. Знал, что на этого человека можно смело рассчитывать. А как мало вообще людей, на которых можно рассчитывать! Савинкову, воспитанному в революционном подполье, с его предательством и ложью, это было особенно знакомо. Как и все хитрые, скрытные люди, Савинков начал с наименее интересного ему, а самое интересное приберегал напоследок.

Закурив сигару и поглядев на свои розовые отшлифованные ногти, он спросил:

— Лавр Георгиевич, каково положение на фронте? Что говорят последние сводки?

— Никогда еще ни одна армия не была в таком постыдном положении, — ответил главковерх, — постыдном и, вообще, я бы сказал, это что-то дико чудовищное! Армия перестала существовать как боевая сила не от натиска, не от поражения, а от агитации... Рига может пасть со дня на день.

— Как? — удивился бы, если бы мог удивляться этот холодный, выдержанный человек. — Там жиденьякая цепочка немцев, наша

же Двенадцатая армия самая многочисленная из всех.

— Да, мы кормим 600 000 ртов на Рижском фронте, — согласился Корнилов, — в окопах же наших еще более жиденькая цепочка, чем у немцев. Неудивительно, если в этих же самых окопах агент-прапорщик Сиверс издает для солдат коммунистическую газету.

— А почему вы не прикажете его арестовать?

— Я приказал большее — повесить его, но он пронюхал об этом и скрылся...

— А на австрийском фронте?

— На австрийском начинается выздоровление. Особенно после расстрелов. Солдатские орды превратятся вновь в армию, но при одном условии: при уничтожении Совета рабочих депутатов. Пока там у вас, в Петрограде, имеется этот гнойник, мы бессильны, и не только Ригу, но и коротким ударом немцы могут взять Петроград.

В последнее сам Корнилов не особенно верил и сам не особенно допускал, но ему нужен был моральный эффект, и он достиг своего. Бледное, как бы застывшее навсегда, ма-

лоподвижное лицо Савинкова отразило какое-то подобие волнения.

— Падение Петрограда? Столицы? Это был бы неслыханный скандал и позор! Что сказали бы наши союзники? Нет, нет, этого не может быть, — и холодные светлые глаза Савинкова встретились с узенькими монгольскими глазками Корнилова.

Корнилов пожал плечами.

— В Петрограде сто двадцать тысяч облепившихся, развращенных шкурников в военной форме и ни одного солдата! Кто мог бы оказать сопротивление немцам? Юнкера? Но грешно и преступно посылать на убой лучшую военную молодежь, эти наши кадры нашего будущего, с тем чтобы растленная, облепившаяся сволочь продолжала тунеядствовать и грабить...

— Да, это более чем страшно... — задумался военный министр. — Тогда... тогда отчего бы вам, Лавр Георгиевич, не усилить петроградский гарнизон какими-нибудь свежими, боеспособными частями?

— Это единственный выход, — ответил Корнилов.

И оба помолчали, глядя друг на друга. И теперь только Савинков понял, что Корнилов сознательно преувеличивает опасность и что усилить петроградский гарнизон желает не столько против немцев, сколько для расправы с Советами...

И хотя в этом же самом кабинете на ту же самую тему эти же самые собеседники уже поднимали разговор, но чувствовалось, что Корнилов потому ходит вокруг да около, что не доверяет Савинкову. Для него Савинков хотя и не Керенский, конечно, хотя и стоящий за дисциплину в войсках, но все же революционер, существо малопонятное и чуждое.

Савинков решил разбить лед сомнений. А это он умел при желании. Голос его зазвучал подкупающей теплотой:

— Лавр Георгиевич, я, как говорят французы, человек "трудный". Я вообще мало кого уважал в своей жизни, но вам я отдаю должное. Вы большой солдат и большой патриот... Вы научили меня думать о генералах несколько иначе, чем я думал до сих пор. Дадим же друг другу аннибалову клятву действовать вместе плечом к плечу во имя Рос-

сии! Сбросим маски, сбросим иносказательность. Наши мысли сводятся к одной точке — Смольный! Вашу руку!

И через письменный стол потянулись и соединились в пожатии крупная, холеная, узкая рука военного министра и маленькая смуглая рука главковерха.

Савинков прибавил:

— Александр Федорович с нами. Я убедил его, убедил, наконец, что невыносимо глупо и унижительно положение Временного правительства рядом с совдепом, этим филиальным отделением германского штаба. И от имени его, Александра Федоровича, я приехал к вам и его именем говорю: давайте общими силами раздавим гадину! Как это вам рисуется технически? Уцелели еще от разложения части, на которые вы могли бы положиться безусловно?

Соображая, Корнилов сузил свои и без того узкие глаза.

— Что же, я могу поручиться за несколько ударных моего имени батальонов. Но, во-первых, они необходимы на фронте. Как организованная физическая и моральная сила они

исполняют обязанности заградительных отрядов. А затем, ведь ударные батальоны — пехота, в таких же стремительных захватах городов, неукрепленных и незащищенных, необходима конница. Да она и больше бьет по воображению... обывательскому воображению, — добавил верховный.

— Это верно, — согласился военный министр, — в декоративном отношении один всадник эффектнее десяти пехотинцев. Но какие же именно кавалерийские части вы имеете в виду? Гвардию?

Корнилов отрицательно покачал головой.

— К моему глубокому изумлению, гвардейская конница так разложилась, как и ожидать нельзя было! Помните, вы приезжали ко мне в Бердичев, я командовал юго-западным фронтом, а вы были нашим комиссаром? Помните, на вокзале караул из кавалергардов? Разве можно было узнать в этих всклокоченных, немых, заросших волосами, в растегнутых гимнастерках людях недавних подтянутых красавцев, по выправке и по внешности не знавших во всем мире никого и ничего равного себе? Изо всей гвардейской кон-

ницы дисциплинированы еще кирасиры... его величества, — машинально, по старой привычке, сказал Корнилов и поправился: — Желтые кирасиры, и только благодаря доблестному командиру своему князю Бековичу-Черкасскому. Вся же остальная гвардейская конница никуда и ни за кем не пойдет. Да то же самое и из армейской я не вижу возможности набрать надлежащий верный кулак. Вся надежда на Дикую дивизию.

— Это немыслимо, — запротестовал Савинков.

— Почему?

— Недопустимо, чтобы кавказские горцы освобождали Россию от большевиков. Что скажет русский народ?

— Спасибо скажет! Когда вы, Борис Викторович, за революционную работу свою сидели в тюрьме, не все ли равно было вам, кто открыл бы вашу камеру для побега — русский или татарин? Я думаю, все равно, лишь бы унести свою голову. Так и здесь.

— Отчасти вы правы, но... — И после некоторой паузы Савинков произнес то, что было для него настоящим поводом для нежелания

бросить на Петроград Дикую дивизию. — Видите ли, подавляющее большинство офицеров этой дивизии, все эти кавказские и русские князья — элемент монархический, реакционный. Дорвавшись до Петрограда, они начнут вешать всех инакомыслящих...

— Если они перевешают Совет рабочих депутатов, честь им и слава!

— Да, но войдя во вкус, они могут не ограничиться Советом. Наверное, так и будет. Они за компанию вздернут и Временное правительство, а это повело бы к восстановлению монархии.

"А, ты боишься за собственную холеную шкуру!" — подумал Корнилов и продолжал вслух:

— Нет, почему же? На Временное правительство никто не посягнул бы. А за Дикую дивизию я прежде всего вот почему: мой приказ или должен быть выполнен, или его нельзя отдавать. В Дикой дивизии я уверен. Мой приказ они выполняют. Она пойдет, дойдет и войдет.

Увидев, что Савинков все еще колеблется, а без него никакие решения не могут быть

приняты, Корнилов постарался найти компромисс.

— Хотя я и не согласен с вами, но дабы не было впечатления, что Россию спасают одни только горцы Северного Кавказа, я могу параллельно двинуть конный корпус... В относительном порядке находятся еще части генерала Крымова. Вы его знаете. Отличный боевой генерал. А его убеждения никак нельзя назвать крайне правыми.

— Генерал Крымов вне подозрений, — подтвердил Савинков, — лично я, однако, предпочел бы одного генерала Крымова без Дикой дивизии.

— Дикая дивизия — своего рода страховка. А что, если корпус Крымова не дойдет? Я надеюсь на него, но полной веры у меня нет. Провал же всей этой карательной экспедиции грозит полным крушением и тыла, и фронта. Это была бы уже катастрофа.

— Пусть будет так! — скрепил Савинков. — Когда вы считаете удобным выступить?

— В сентябре, после Московского совещания, которое, конечно, не приведет ни к чему и будет лишь одним лишним морем митинго-

вой и полумитинговой болтовни.

ПАНИКА В РАЗБОЙНИЧЬЕМ ПРИТО- НЕ

Этот человек вел двойную жизнь в сумбурном, запакощенном, опаршивевшем, но все еще величавом Петрограде. Двойную жизнь: одну — под именем барона Сальватичи в светских гостиных, другую — под более демократическим именем товарища Сакса в Смольном, в Совете рабочих депутатов.

Безукоризненно одевшись у Калина, с моноклем в глазу — это придавало ему еще более хищное выражение, — барон Сальватичи плел какую-то сложную интригу в аристократических кругах, напуганных и пришибленных революцией. "Надо перетерпеть. Действительность ужасная, будет еще ужаснее, — обещал он и тут же спешил успокоить: — Но ненадолго. От Керенского нельзя сразу перейти к порядку и успокоению. Нельзя. Надо пустить к власти большевиков. На две недели, на месяц самое большее, но это необходимо. А тогда их сметет новая сила, и в России вновь будет монархия".

Хотя барон Сальватичи не договаривал, но

все понимали: эта новая сила — немцы! Он гипнотизировал собеседников и собеседниц своей внешностью, своей таинственностью, своим благовоспитанным апломбом и, пожалуй, самое главное, своим могуществом.

Матросская вольница или банда анархистов вселяется в чью-нибудь квартиру, непременно барскую, начинает ее грабить. Тщетно взывает хозяин, бывший сановник или генерал-адъютант, к судебным властям или даже к "самому Керенскому"... Но и судебные власти, и "сам" Керенский — беспомощны. Матросы и анархисты глумятся и над республиканским прокурором, и над Бонапартиком в бабьей кофте.

Но вот барон Сальватичи нажимает какие-то неведомые пружины, и наглые банды покорно уходят из "социализированных" квартир.

Вот почему в салонах слепо верили этому барону. Так и надо, так и должно быть: от Керенского переход к успокоению и порядку невозможен. Необходим промежуточный этап в лице большевиков. А потом придут стройные железные фаланги в касках с остро-

конечными шишаками, и появятся в изобилии на рынке и хлеб, и мясо, и можно будет выходить из дому, не рискуя быть ограбленным или убитым.

В Смольный приезжал товарищ Сакс уже не в костюме от Калина, а в английском френче, в широких бриджах и в желтых ботинках с матерчатыми обмотками защитного цвета. В Совете рабочих депутатов товарищ Сакс был крупной фигурой. Даже нахальный, избалованный популярностью своей в преступных низах Троцкий и тот был как-то особенно почтителен с товарищем Саксом и не задира л кверху клоч своей бороденки, а опускал голову книзу, с собачьей угодливостью поблескивая глазами из-под стекол пенсне.

Смольный институт, выпустивший целые поколения чудных русских женщин, этот архитектурный шедевр великого Растрелли, теперь загрязненный, заплеванный, наводненный всяким сбродом, напоминал разбойничий притон. Туда свозили арестованных буржуев, свозили большие запасы муки, вина, консервов и вообще всякого продовольствия.

Пыхтели грузовики, сновали взад и вперед

вооруженные до зубов солдаты, матросы и темные штатские. Это скопище немецких агентов, выпущенных из тюрем каторжников, военных, писателей, адвокатов и фельдшеров издавало декреты, совершало чудовищные беззакония и допрашивало министров Временного правительства, заподозренных в недостаточной революционности. И министры отчитывались, как напроказившие школьники, боясь на лучший конец ареста, на худший — самосуда этих увешанных револьвера-ми, пулеметными лентами и ручными гранатами дегенератов с бриллиантовыми перстнями на пальцах и с золотыми портсигарами с графскими и княжескими коронами.

И вот этот налаженный, самоуверенный разбойничий быт нарушен.

В панике заметался Смольный:

— Корнилов бросил на Петроград своих черкесов!

— Этот царский генерал желает утопить революцию в крови рабочих!

— Предатель Савинков заодно с Корниловым!

— Арестовать Савинкова!

С грохотом помчались набитые матросами грузовики. Но Савинкова нигде нельзя было найти. Он исчез.

— Подать Керенского сюда!

Серо-землистый, дрожащий примчался Керенский в Смольный на автомобиле императрицы Марии Федоровны. Троцкий, с поднятым кверху клоком бороденки, топал ногами, орал:

— Вы продались царским генералам! Вы ответите за это перед революционной совестью!

Керенский оправдывался, как мог. Его революционная совесть чиста. Он сам только что узнал об этом реставрационном походе на Петроград. Вернувшись в Зимний дворец, он выпустит воззвание ко "всем, всем, всем", где заклеит Корнилова изменником и предателем.

Пообещав прислать воззвание в Смольный для корректуры, Бонапартик отправился сочинять свое "всем, всем, всем" в сотрудничестве с Некрасовым.

Кричали о защите Петрограда, этой крас-

ной цитадели, о сопротивлении до последних сил, до конца, но никто не верил ни в красную цитадель, ни в сопротивление.

Депутаты, воинственными возгласами своими потрясавшие монументальные своды Смольного, имели уже "на всякий случай" в кармане, фальшивый паспорт, дабы, когда корниловские черкесы будут на подступах к красной цитадели, успеть прошмыгнуть через финляндскую границу.

О, если бы можно было взглядом убивать! Депутаты, удирая, на прощанье убили бы сотни тысяч ненавистных буржуев, с нетерпением ожидающих "банды корниловских дикарей", чтобы забросать их цветами.

И у депутата Карикозова лежал в кармане чужой паспорт на чужое имя, но эта карикатурная фигура в черкеске с большим кинжалом и с большим красным бантом проявляла необузданный темперамент и горячилась больше всех:

— Я их знаю, "туземцы"! А кто их знает — не боится! Дикая дивизия? Я сам Дикая дивизия! Я три Георгиевский крест имел, только я бросал этот игрушка от кровавого Николай. Я

буду резить, ва, я буду резить всех! Ингуши, чеченцы, кабардинцы, татары, дагестанцы, черкесы! Все буду резить, — с искаженным лицом иступленно выкрикивал экс-фельдшер Дикой дивизии и в виде финала вытаскивал огромный кинжал свой, слюнил палец и проводил им по лезвию клинка, закатывая глаза и рыча, и скрежеща зубами.

Даже обступившим его матросам, с еще не высохшей на них кровью замученных ими морских офицеров, даже этим холодным убийцам становилось жутко:

— Вот парнишка! Хват! Ну и зверь же! Этот покажет корниловцам! Даром что плюгавый!

Пожалуй, один товарищ Сакс ничего не выкрикивал, ничего не обещал, ничем не похвалялся. А между тем, когда все депутаты заняты были одним — спасением своей депутатской шкуры, — товарищ Сакс чувствовал себя на краю зияющей политической бездны.

Если корниловское наступление увенчается успехом, оно оздоровит армию, и тогда дружным натиском с востока и запада союзники раздавят австро-германцев.

Едва ли не впервые спокойный, выдержан-

ный барон Сальватичи потерял голову. Ему приходилось подбадривать себя кокаином. Он понимал, что вооруженной силой не остановить "туземный" корпус. Нет ее, этой вооруженной силы. Есть растлившийся гарнизон, не желающий ни с кем воевать, ни с белыми, ни с красными. Ни с кем! Тысяча-другая озверелых матросов? Но кому вести их в бой? Да и не знают они сухопутного боя, эти опьяненные собственным величием, буржуазной кровью и награбленными бриллиантами декольтированные, завитые, напудренные и напомаженные гориллы...

Решается судьба двух империй. Эту судьбу несут с собой две-три тысячи всадников на азиатских седлах и с азиатскими методами войны...

В момент этих поистине трагических размышлений в комнату 72, занимаемую бароном Сальватичи в Смольном, вошел, не постучавшись, Карикозов.

— Как вы смели? Убирайтесь к черту!

— погоди, послушай. Тебе лицо горит и мне горит...

— Что за чепуха! Не до вас мне! Убирай-

тесь!

— Имей терпение, — продолжал, не двигаясь, Карикозов. — Тугарин помнишь? Нагайка тебе ударил! Отомстить хочешь? Тугарин любовница, гражданка Алаев арестовать надо. Из Петроград увезти. Тугарин с дивизиям придет, нет душенька его. И я припомню, как меня ингуши нагайкам бил по его приказ. Давай ордер, что ли, пока есть время. Чего думать, давай! Тебе легче будет, мне легче. Обои легко будет!

Товарищ Сакс подписал ордер на предмет ареста "гражданки Алаевой за соучастие с Корниловым и за тайную связь с его агентами".

Экс-фельдшер, взяв с собой пять вооруженных матросов, помчался к Таврическому саду на мощной великокняжеской машине.

В ЧЬИ РУКИ ПОПАЛА ДИКАЯ ДИВИЗИЯ

Между знаменательным посещением ставки военным министром Савинковым в начале августа и движением на Петроград "туземной" кавказской дивизии успело состояться так называемое Московское совещание.

Это была попытка объединить правые и левые течения русской общественности, попытка найти один язык в борьбе с внешним врагом в лице австро-германцев и внутренним, еще более угрожающим и опасным, — в лице большевиков.

Съехались на это совещание министры Временного правительства во главе с Керенским, члены Государственной думы во главе с Родзянко, представители офицерского корпуса во главе с генералами Алексеевым, Корниловым и Калединым и, наконец, делегаты Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов — трудно даже сказать во главе с кем, так как "головка" благоразумно уклонилась от присутствия на совещании, боясь быть арестованной. Был слух, что к этим московским дням приурочен "генеральский переворот".

Действительно, это был весьма удобный момент для переворота и захвата власти теми, кто желал бы и мог бы, физически мог бы, остановить Россию на краю бездны.

Надеждой на переворот была насыщена вся Москва. Тысячи офицеров, патриотически

настроенная молодежь военных училищ, ударные батальоны, казаки — все в этот момент только и ждали сигнала. Москва была готова взорваться пороховым погребом. Осталось лишь поднести зажженный факел.

Имя факелу этому было Корнилов. Как национального вождя, как полубога встретила его Москва, когда, приехав из ставки, он показался на улице со своим конвоем из верных текинцев. Его забросали цветами. Юнкера иступленно кричали "ура". Одно его слово, одно лаконичное приказание, и преступно-революционная власть была бы сметена, и советские депутаты сидели бы в тюрьме в ожидании военно-полевого суда, а не сидели бы развалясь в ложах Большого театра, откуда с хамской наглостью перебивали речи и самого Корнилова, и остальных генералов. Увы! Корнилов, этот доблестный, отважный солдат и вождь, не был рожден диктатором, иначе он, шутя, овладел бы Москвой, и тогда панический красный Петроград не пришлось бы даже и брать — он сам упал бы к ногам диктатора.

И потому, что Корнилов не сумел исполь-

зовать московского момента, поход на Петроград осуществил он совсем не так, как сделал бы это диктатор "Божьей милостью".

Овладение революционной столицей требовало двух вещей — личного риска и личного авантюризма.

Чрезмерная добросовестность внушала Корнилову:

— Ввиду операций на внешнем фронте я не могу покинуть Ставки.

А именно следовало покинуть Ставку, на несколько дней доверив внешний фронт начальнику штаба, генералу Лукомскому. Лукомский отлично справился бы с этим. К тому же в это время была лишь одна видимость фронта и, хотя русские позиции были почти обнажены, немцы не предпринимали ничего, ожидая, пока русская армия не развалится окончательно. Что надлежало сделать Корнилову? Как поступил бы подлинный диктатор со вкусом и аппетитом к власти на месте этого человека с лицом китайского божка?

Надев декоративную черкеску и такую же декоративную белую папаху, Корнилов сам должен был вести наступление на Петроград,

грозное, стремительное, не дающее опомниться. Он сам — впереди всех со своими текинцами, эффектный, бьющий по воображению авангард, и тотчас за этим авангардом вся Дикая дивизия.

Можно ли сомневаться в успехе, надо ли пояснять всю его головокружительность?

Корнилов не сделал этого. Он остался в Могилеве, а себя, незаменимого, заменил князем Багратионом.

Лютый враг не подсказал бы худшего выбора. Генерал князь Дмитрий Петрович Багратион являл собой полное ничтожество и как человек, и как воин вообще, и как кавалерийский генерал в частности.

Сначала, командуя бригадой Дикой дивизии, а потом и всей дивизией, Багратион не был ни разу не только в бою, но даже и в сфере артиллерийского огня.

Дальше своего штаба он ничего не знал и не видел. Даже перспектива заслужить Георгиевский крест не могла победить его трусость.

Один из близких ему офицеров почти умолял его:

— Ваше сиятельство, только покажитесь в зоне огня, и вас ждет Георгий!

— Ну какие там пустяки! Пойдем лучше завтракать, — с улыбкой возразил высокий, стройный, красивый, с пепельной сединой Багратион.

Этот человек, в жизни своей не командовавший даже такой маленькой единицей, как эскадрон, получив дивизию, оказался совершенно беспомощным.

А когда разразилась революция, помимо трусости физической, он обнаружил еще и трусость гражданскую. Вчерашний монархист — и какой монархист! — он сразу стал подлаживаться под Керенского и под Смольный.

Будь его дивизия не "туземной" кавказской, а обыкновенной армейской, он в усердии своем насадил бы в ней комитеты, и она развалилась бы в несколько дней.

Начальник штаба дивизии, более умный и хитрый, полковник Гатовский целиком прибрал Багратиона к своим холеным, надушенным рукам. Бездушный, беспринципный карьерист Гатовский решил сыграть на револю-

ции и выдвинуться. Для этого у него имелся козырь — недавнее разжалование из полковников в рядовые. На солдатских митингах свое разжалование он объяснил так:

— Товарищи, я сам при Николае пострадал за правду! Я был разжалован им за то, что боролся за ваши солдатские нужды. Я, как вы, сидел в окопах и кормил собою вшей!

Гатовский опускал маленькую подробность: будучи несколько месяцев на солдатском положении, в окопах он ни разу не сидел, а летал в качестве наблюдателя на аэроплане. Он и под солдатской гимнастеркой носил шелковое белье, к которому никогда никакие вши не пристают. А разжалован Гатовский был вот почему и при каких условиях.

На Рижском фронте действовал на правах корпуса так называемый особый кавалерийский отряд князя Трубецкого. Князь Юрий Трубецкой — его называли Юрием Гордым, — бывший командир собственного его величества конвоя, большой сибарит и сноб, как кавалерийский генерал едва ли не уступал даже князю Багратиону. Всем ворочал наглый и самовлюбленный Гатовский. Одной из бригад

в отряде командовал принц Арсений Карагеоргиевич, брат покойного короля сербского Петра и брат благополучно здравствующего короля Александра...

Принц Арсений, отважный кавалерист, участник несколькими войн, попал в немилость к начальнику штаба. Гатовский придрался к генералу Карагеоргиевичу и давал его бригаде самые нелепые и невыполнимые задачи, посылал ее на заведомо бесславное истребление без всякой пользы для боевой обстановки.

В конце концов чаша терпения переполнилась у принца Арсения, и он наотрез отказался выполнить очередной приказ начальника штаба. Гатовский перед фронтом наговорил принцу дерзостей, а принц, горячий, самолюбивый, обозвал его трусом и несколько раз ударил его стеклом по лицу и по голове...

Гатовский убежал и спрятался.

Скандал вышел слишком громкий, чтобы его можно было замять. Принц Арсений отстранен был от командования бригадой, получив другое назначение, а Гатовский был разжалован в рядовые. Так он пострадал "за

правду при Николае". Разжалование ничего ему не принесло, кроме новых лавров. О нем заговорили. За свои наблюдательные полеты и сбрасывание бомб на безмятежно пасущихся коров, да и то в своей собственной, а не в неприятельской зоне, он получил два солдатских Георгия, а с этими Георгиями и с академическим значком щеголял на Невском проспекте в дни своих частых визитов в Петроград.

А через несколько месяцев он высочайше восстановлен был во всех правах, вновь надел полковничьи серебряные погоны свои с двумя черными полосками и устроился начальником штаба в Дикую дивизию...

Дивизия, эшелон за эшелон, двигалась на Петроград, а Гатовский и Багратион, оставаясь в глубоком тылу, заняли выжидательную позицию. Гатовский истолковывал ее так:

— Если дивизия займет Петроград, победителей не только не судят, а наоборот, возносятся. Вознесемся и мы! Если же авантюра потерпит крах, у нас будет оправдание и перед Керенским, и перед Советом рабочих депута-

тов. Мы скажем, что мы не только не шевельнули пальцем для завоевания Петрограда, а наоборот, всячески тормозили движение дивизии неопределенными и сбивчивыми приказами...

**"А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО,
ТАК БЛИЗКО..."**

Эшелоны продвигались на север. Железнодорожники не чинили препятствий. Не потому, что не хотели, а потому, что боялись этих офицеров в кавказской форме и этих всадников, таких чуждых, не говорящих по-русски.

И железнодорожники с тупой, напряженной злобой давали паровозы, пропускали поезда с товарными вагонами, где перемещались и маленькие нервные лошади, и такие же нервные, смуглые, нездешние бойцы с их непонятной гортанной речью.

В голове эшелонов двигалась бригада — Ингушский и Черкесский полки под командой князя Александра Васильевича Гагарина.

Гагарин всю свою жизнь провел в армейской кавалерии и всю жизнь был отличным строевым офицером, — чему нисколько не мешали ни его кутежи, ни его долги. Добро-

вольцем уехал на японскую войну и там отличился. А теперь это был генерал лет шестидесяти, с коричневым лицом, сизым носом и неуклюжей походкой старого кавалериста. На лошади князь преображался и молодец.

Вдоль маленькой станции, двухэтажной, деревянной, с неизменной кирпичной башней водокачки, вытянулся эшелон. Гагарин, тяжело ступая ревматическими ногами, прохаживался по платформе с несколькими офицерами. Сквозь широкие квадраты зияла внутренность товарных вагонов. Там стояли и сидели, свесив ноги наружу, всадники. Пофыркивали лошади, глухо ударяя копытами о деревянный помост.

Через час будет подан паровоз, и эшелоны один за другим будут подтягиваться к Гатчине. А еще с ночи и к самой Гатчине, и к ее флангам брошены были разъезды не только черкесов и ингушей, но и других полков дивизии... И от них, как и от разъездов своей бригады, князь Гагарин получал донесения.

И в это солнечное августовское утро приближался вдоль полотна скачущий на взмыленной лошади всадник. Напоследок огрел

коня плетью, спружинившийся конь одним броском очутился на шпалах, и всадник подлетел к остановившейся группе офицеров, с чисто горским молодечеством круто осадив коня, хищным кошачьим движением соскочил и, приложив руку к папахе, подал Гагарину клочок бумаги.

Князь вслух прочел карандашные строки:

"Доношу вашему сиятельству, что с десяти всадниками занял Гатчину и захватил артиллерию. Великого князя в Гатчинском дворце не оказалось. По слухам, его высочество отвезен в Петроград. Что делать дальше? Корнет Тлатов".

Веселым смехом встречена была эта реляция. Гатчину, с ее гарнизоном в несколько тысяч, захватил разъезд из нескольких всадников. Ясно, что о сопротивлении никто и не помышлял. С такой же легкостью должен пасть и Петроград.

Лицо Гагарина, одинаково спокойное и в бою, и в мирной обстановке, не отразило ничего. Он только сказал:

— Карандаш и бумагу.

Кто-то протянул карандаш, кто-то вырвал

из записной книжки листок, а третий кто-то подставил свою полевую сумку. И Гагарин дрожащей рукой набросал:

"Корнету Тлатову. Удерживайте Гатчину до нашего прихода. Генерал-майор князь А. Гагарин".

С такой же легкостью, с таким же приближительно количеством всадников, без потерь с обеих сторон занимали разъезды Дикой дивизии подступы к Петрограду. Блестящее начало, сулившее такой же блестящий конец. И офицеры, окружавшие князя Александра Васильевича, настроены были оптимистически, и на этом безоблачном, как ясная лазурь небес, оптимизме была единственная тучка — медлительность.

Сам Гагарин, этот поживший генерал с молодой, пылкой, крепкой душой, высказывал:

— Я кавалеристом был всю свою жизнь и умру им! А штаб дивизии делает из меня какого-то дипломата. "Продвигайтесь, внимательно считаясь с обстановкой. Соблюдайте политику с железнодорожниками". Какая обстановка? Что там еще за политика? Мне дан приказ. Я его выполняю. Если бы железнодо-

рожники вздумали мне препятствовать, я вешал бы их тут же, на станции. Потом еще Гатовский сегодня именем генерала Багратиона приказывает мне ждать в Гатчине дальнейших распоряжений. Я этот гатчинский антракт для дела считаю вредным. Только в непрерывном движении сохраняется дух для последнего решительного удара.

Все кругом возмущались штабом дивизии, из своего глубокого тыла весьма двусмысленно и сбивчиво руководившим наступлением.

— Ваше сиятельство, разрешите вам доложить, — молвил Тугарин, — эта лисица Гатовский ведет какую-то двойную игру. Следовало бы, порвав с ним всякую связь, идти без всяких антрактов, а если, судя по донесениям, за Гатчиной разобран путь, это не существенно. Сорок верст до Петрограда сделаем походным порядком.

Тугарина поддержал Баранов:

— Конечно, походным порядком! Конечно, порвать всякую связь. Надо считаться с психологией "туземцев". Они темпераментны и нервны; бездействие влияет на них сначала угнетающе, а потом разлагающе. Да и мало ли

какие могут еще выявиться вдруг внешние причины. Теперь такое время: каждый час может поднести самые неожиданные, негаданные сюрпризы.

Молча слушал Гагарин. Он был согласен и с Тугариным, и с Барановым, и с остальными, кто молча одобрял их. Разумеется, правда на их стороне, но без малого сорок лет офицерской службы впитали в плоть и кровь Гагарина подчинение прямому начальству. Он не мог понять, как это можно не выполнить приказ, и в то же время понимал, что от удачи или неудачи похода зависит судьба России.

Патриот-монархист боролся в нем с дисциплинированным солдатом и, колеблясь, не взяв еще определенного решения, он отклонил его до Гатчины. "Там будет видно", — успокаивал он себя.

А на станцию прибывали из Петрограда некоторые офицеры Дикой дивизии — офицеры, которым мучительно хотелось наступать вместе с дивизией на Петроград.

Всем легко удалось прорваться. Они сообщали свежие новости: Керенский мечется в

истерике. Ищет спасения в объятиях большевиков и наводнил Зимний дворец матросами с крейсера "Аврора", запятнавшими себя недавно чудовищными злодействами. Эти матросы забрызганы свежей, еще не успевшей высохнуть кровью, кровью своих же офицеров, поголовно вырезанных и замученных ими. Убийцы с "Авроры" несут в Зимнем дворце все внешние и внутренние караулы вместо юнкеров. Юнкера под подозрением в сочувствии Корнилову, и глава Временного правительства не доверяет и ему.

В штабе петербургского военного округа паника. Там не скрывают своей обреченности: "Придут "туземцы" и всех нас перевешают".

К сожалению, главные агенты Корнилова, получившие крупные суммы для поднятия восстания в самом Петрограде, оказались далеко не на высоте. Это генерал Шлохов и инженер Фисташкин. Их нигде нельзя было найти, и только случай помог напасть на их след. Они две ночи кутили на "Вилла Роде", для дела палец о палец не ударив. Из трусости или из каких-нибудь других соображений эти гос-

пода не вошли в соприкосновение ни с военными училищами, ни с офицерскими организациями. Они перенесли свою штаб-квартиру на "Вилла Роде". Там они проявляют большую активность.

Смольный, обыкновенно такой шумный, разгульный, вымер. Живой души нет. Депутаты похрабрее сидят на Финляндском вокзале, готовые в любой момент к бегству. К услугам их поезд, стоящий под парами. Депутаты менее храбрые уже очутились в Белоострове, на самой границе.

Оборона Петрограда более чем смехотворна. Министр земледелия Чернов руководит установкой батарей. Что можно еще прибавить? Вчерашняя подпольная крыса возомнила себя артиллерийским генералом!

Вообще вести благоприятные...

Только вечером головной эшелон со штабом бригады подходил к Гатчине, манившей и звавшей во мраке своими огоньками.

Перед самой Гатчиной стояли минут двадцать среди поля. В вагон князя вошел Тугарин и доложил через адъютанта о своем желании видеть командующего бригадой.

— Что скажете? — спросил Гагарин.

— Ваше сиятельство, разрешите мне сделать глубокую разведку.

— Что вы называете глубокой разведкой? До Пулковских высот?

— Значительно дальше, — ответил Тугарин.

— До Нарвских ворот?

— Еще дальше!

Князь понял. Тугарин, отчаянная голова, желает побывать в Петрограде еще до появления там авангардов дивизии. И побывать не как-нибудь, а в конном строю, сея панику среди левых и окрыляя надеждой девять десятых населения столицы, измученного, истерзанного безвластием керенщины и произволом засевших в Смольном бандитов. Конечно, желание Тугарина риск и безумие, но разве сам он, князь, в молодости не безумствовал, и разве вообще можно указать предел молодечеству и лихости настоящего кавалерийского офицера?..

Он только сказал:

— Не вздумайте взять с собой целую сотню.

— Никак нет, ваше сиятельство, самое большое — всадников двенадцать вместе со мной.

— И потом... потом, вы сами понимаете, Тугарин, авантюра головоломная.

Тугарин ответил с каким-то вдохновенным лицом и с ноткой неотразимо проникновенной убедительности в голосе:

— Ваше сиятельство, после отречения государя императора, после того, что вся эта сволочь сделала с Россией, уже ничего не страшно.

Князь повернулся к окну и как-то уже слишком внимательно углубился взглядом в мутные вечерние дали... Затем, фыркнув носом, достал платок...

— Черт возьми, насморк схватил! — и, вместо носа, поднес платок к глазам. — Ну, голубчик Тугарин, ступайте! Разрешить я вам не могу, но и запретить не могу! Официально я ничего не знаю. Ступайте с Богом!

ГЛУБОКАЯ РАЗВЕДКА

С Тугариным вызвались в глубокую разведку два офицера — корнет Юрочка Федосев и прапорщик Раппопорт, петербургский

помощник присяжного поверенного. Раппопорт, когда пришел его срок, выбрал Дикую дивизию. Длинная черкеска сидела на нем, как подрясник, так одевались "по-кавказски" еще разве Секира-Секирский и корнет Кухнов. Но, будучи внешне забавным, Раппопорт обнаружил совсем не адвокатскую смелость: его всегда тянуло вперед. Он сам напрашивался в разведку. Так было и в данном случае. Он так трогательно умолял взять его, что Тугарин не мог, да и не хотел отказать. Из всадников Тугарин выбрал восемь ингушей, сплошь Георгиевских кавалеров, готовых идти за ним хоть на край света. Среди них был семидесятилетний Бек-Боров, всадник еще конвоя императора Александра II, сухой, цепкий наездник с крашеной бородой.

С рассвета двинулись переменным аллюром по обочинам старого Гатчинского шоссе.

Как ни опереточно была поставлена защита Петрограда, но все же эти одиннадцать всадников шли навстречу полной неизвестности. Какая-нибудь засада какого-нибудь взвода стойкой пехоты могла, укрывшись, перестрелять их. И несмотря на это, а может

быть, именно поэтому настроение у всех было бодрое, приподнятое, охотничье. И такое же бодрое, солнечное занималось утро в ясной дали и в отчетливых контурах.

По временам Тугарин цейсовским биноклем своим ощупывал местность, а ингуши острыми глазами горцев видели то, что он видел в бинокль.

Верстах в двадцати от Гатчины, оставшейся позади, поперек шоссе — тяжелая батарея. Хоботы орудий смотрели в землю, и в момент стрельбы в землю же неминуемо должен уходить снаряд.

Офицеры хохотали над такой невиданной установкой орудий.

Подъехали вплотную, держа на всякий случай винтовки наготове. Но эта предосторожность оказалась совершенно излишней. Солдаты артиллеристы не только не проявили никаких враждебных намерений, но встретили разъезд более чем радушно. По выправке и внешности это были кадровые артиллеристы.

— Здорово, братцы! — приветствовал их Тугарин.

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — подтянуто, дружно ответили солдаты.

— Что же это ваши пушки повесили носы?

— А это уж не ваша забота, — улыбаясь, молвил бравый унтер-офицер, — начальство приказало, а нам хоть бы что.

— Какое начальство?

— Новое! Приезжал на машине вольный один, патлатый... Бог его знает, кто. Назвался, что мужицкий министр он, Чернов по фамилии. Поставьте, говорит, пушки этак. Мы и поставили. Сказывают, Корнилов идет. Разогнал бы эту сволоту. Смотреть противно, что делается.

— А сзади вас что? — спросил Тугарин.

— Да там верст за пять рота семеновцев.

И, действительно, вскоре наткнулись всадники на большую пехотную заставу. Шагов за восемьсот пехота выкинула белый флаг. Оказалась рота семеновцев, не запасной сброд, а настоящие, побывавшие в боях гвардейцы.

И здесь то же самое, что и на батарее: удовольствие, что наконец-то "разгонят эту сволоту". Теперь уже не было никаких сомнений: Петроград можно голыми руками взять.

— Счастливого пути! — пожелали семеновцы.

— Увидите, мы возьмем Петроград. Мы — разъезд конного Ингушского полка! — с каким-то мальчишеским задором похвалялся Раппопорт. — Как это дико все, в конце концов. Я, помощник присяжного поверенного, интеллигент, горожанин, трясусь на высоком азиатском седле, одетый в черкеску, которую видел раньше только на картинках, а другой, такой же, как и я, помощник присяжного поверенного, горожанин и интеллигент, сидит в Зимнем дворце, притворяясь, что властвует над Россией, и мы с ним враги.

Мы, какой-нибудь год назад уничтожавшие бутерброды в буфетной комнате окружного суда. Разве это не дико, разве не дико, что я — прапорщик Ингушского полка, а он — глава Временного правительства?

Не встретив больше на пути никаких батарей, никаких пехотных застав, разъезд, втянувшийся в предместья столицы, миновал Триумфальную арку Нарвских ворот. Отсюда началось уже соприкосновение с Петроградом.

Кучи солдат, бродивших по улицам, одуревших от безделья и лузганья семечек, завидев всадников в непривычной для глаз форме, кидались в первую попавшуюся подворотню, кидались с криком:

— Черкесы пришли!

И это "черкесы пришли" бежало вперед и назад, вправо и влево.

Через час-другой уже не было в Петрограде улицы, не было квартала, где бы "своими собственными глазами" не видели бы черкесов. Никогда не воевавшие солдаты и рабочие говорили об этом со страхом, боясь расплаты за свои безобразия и бесчинства. Обыватели, жертвы всех этих безобразий, говорили о черкесах с восторгом. Наконец-то они сметут заодно и слюнявую керенщину, и разбойно-большевистский Совет!

Но все, решительно все прятались — и те, что боялись черкесов, и те, что готовы были забросать их цветами. Первые — опасаясь расстрела на месте, вторые были запуганы и колебались, не зная, чья возьмет...

Тугарин чувствовал себя хозяином положения. Теперь уже нечего опасаться каких бы

то ни было сюрпризов. Лучший союзник одиннадцати всадников — навеянная ими паника. Она создает вокруг них мертвое пространство, она множит маленький разъезд в сотни и тысячи раз.

На Забалканском проспекте, у "Серапинской" гостиницы, решено было сделать короткий привал и подкрепиться. Офицеры и Бек-Боров вошли в ресторан, а ингуши остались коноводами. Через минуту им вынесли пирожков, холодного мяса. От водки они отказались как истые мусульмане. Отказался и Бек-Боров, но офицеры выпили по стакану очищенной.

А минут через десять все были уже на лошадях и, свернув по Фонтанке к Невскому проспекту, увидели знаменитых клодтовских коней. Гранитные цоколи их были сплошь заклеены революционными воззваниями, а одному из античных юношей вставлен был в руку красный флаг.

Тугарин хотел видеть Лару, хотел унести к Таврическому саду. Их разделяли пять-шесть минут. Но свое личное он приберег напоследок: сначала в Смольный, в этот подлый

всероссийский гнойник!

Но Смольный вымер. И там тихо, и там никто не выглядывает из окон. Только над вековыми деревьями кружатся с противным карканьем черно-синие вороны.

Депутатская мелкота разбежалась, попряталась, депутаты покрупней выжидают события, одни на Финляндском вокзале, другие почти на границе.

Между металлической оградой Таврического сада и низенькими флигельками офицерской кавалерийской школы подъехали всадники к дому Лары. У дверей стоял швейцар с густыми баками. Узнав Юрочку, он сорвал с головы обшитую галуном фуражку.

— Лариса Павловна дома? — спросил Юрочка.

— Никак нет. Ларису Павловну вчера увезли.

— Кто увез? Куда?

— Так что арестовали по ордеру Смольного...

ТАЙНА "ПОЛИТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА" НА ЗАХАРЬЕВСКОЙ

Наступление сначала остановилось, как

бы нерешительно повиснув в воздухе, и затем постепенно сошло на нет. Оно растаяло не перед хотя бы мало-мальски реальной силой — мы видели ее, эту силу! — а перед фантомом. Неудача эта была морально-политической неудачей. Был ли еще хоть один случай в истории, чтобы спаянная дисциплиной, воинственная, отлично вооруженная кавалерийская дивизия очутилась в таком же бездейственном положении перед "пустотой", в буквальном смысле слова; пустотой, где черновские орудия уперлись хоботами своими в землю и пехота весело и радостно пропускала разезды "неприятеля".

Не было, наверное, не было. И по многим причинам. Первая и сама главная — генерал Корнилов, лишенный диктаторского честолюбия, диктаторского темперамента и диктаторского тяготения к власти, не повел дивизию сам, а предоставил ее Багратиону и Гатовскому, из коих один был трусом, а другой политиканствующим прохвостом. Эти двое — трус и негодяй, — оставаясь в тылу, погубили все. Но можно было бы еще спасти положение, если бы князь Гагарин, дотянувшись до

Гатчины, посадил бы бригаду на коней и двинулся бы вслед за Тугариным, не ожидая приказа из штаба дивизии. А когда, наконец, получил приказ ожидать в Гатчине дальнейших распоряжений, не пренебрег этим и самовольно не двинулся вперед.

И еще виноват был генерал Шлохов и инженер Фисташкин, частью прокутившие, частью присвоившие миллион рублей, данных им на восстание в самом Петрограде.

Керенский успел выпустить и разослать свое "всем, всем, всем", где клеймил Корнилова изменником и контрреволюционером, желающим расправиться с "завоеваниями революции" под свист чеченских нагаек.

Барон Сальватичи успел подсказать своему другу Отто Бауэру, а тот своему другу Виктору Чернову, а Чернов своему другу Керенскому следующее:

— Навстречу дивизии надо выслать к Гатчине для уговаривания делегацию из туземцев-мусульман...

И, собрав кое-как десяток-другой мусульман, хорошенько заплатив им из государственного банка по ордеру на клочке бумаги,

выслали их на грузовике в Гатчину. Правда, Тугарин не подпустил делегацию близко, но все же отдельные члены ее успели перекинуться словом с отдельными всадниками.

Они убеждали их:

— Зачем вам, кавказским горцам, вмешиваться в дела русских? Разве мало вы навоевались, и разве не ждут вас в родных аулах ваши семьи? Довольно! Керенский отправит вас на Кавказ и еще так наградит — на всю жизнь хватит!..

Клин соблазна и раздора был умеючи вбит, а тут еще неподвижность, бездействие, могущие разложить самых твердых и стойких.

И вот тогда-то примчались на автомобилях довольные Багратион и Гатовский. Багратион мягко выговаривал князю Александру Васильевичу:

— Вот видишь же, друг мой, ведь это была нелепая авантюра! Так и должно было кончиться. Поедем-ка лучше в Петроград. Моя машина быстро, в час, нас домчит. Пообедаем в "Астории".

Из "Астории" Багратион и Гатовский по-

спешили в Зимний дворец. Керенский, благо-склонно пожурих их, дал им излиться в вер-ноподданнических чувствах. Сияющий вер-нулся Багратион в "Асторию".

— А знаешь, Александр Васильевич, Керен-ский совсем не такая фитюлька. С ним можно столкнуться. "Туземная" дивизия будет пере-именована в корпус, и мне обещано, что я прямо отсюда, не выгружаясь, поведу корпус на Северный Кавказ... Кстати, Керенский же-лает тебя видеть...

— Да? — иронически переспросил Гага-рин. — Но у меня нет никакого желания ви-деть господина Керенского.

— Напрасно, напрасно, Александр Василье-вич! Был царь-батюшка, мы служили ему, а теперь вписана уже новая страница истории, и ее никак не вырвешь!

Багратиона ждало разочарование. Несмот-ря на всю свою угодливость и гибкость, он был оттерт, и "туземный" корпус был дан ге-нералу Половцеву. Не потому, что Керенский питал к Половцеву нежные чувства, а потому, что Половцев был бесцеремонно устранен от командования петербургским военным окру-

гом и желательно было теперь его как-нибудь сплавить, но сплавить, позолотив пиллюлю.

То же самое или почти то же самое произошло и с тем корпусом, который по другому направлению вел на красную столицу генерал Крымов. Уже по дороге в казачьих частях началось брожение. Корпус разваливался в вагонах. Даже кое-кто из офицеров, самовольно оставив свои полки, поспешил в Петроград в чаянии сделать карьеру, карьеру перебежчиков.

Один из этих милостивых государей, ротмистр Данильчук, успел даже вернуться на автомобиле, и не в единственном числе, а с полковником Самариным, фаворитом Керенского.

Они уговаривали генерала Крымова:

— Ваше превосходительство, было бы безумием упорствовать! Ваш корпус может с минуты на минуту открыто взбунтоваться. Дикая дивизия застряла в Гатчине. Ставка на Корнилова бита! Спасайся, кто может! Поедем же в Петроград. Керенский уважает вашу доблесть и готов простить вас.

— Готов меня простить? Он меня? За

что? — возмутился Крымов. — Да у меня в кармане его телеграмма, вызывающая мой третий конный корпус в Петроград! И после этого он готов меня простить? Что за гнусная комедия!

В конце концов Самарин и Данильчук убедили потрясенного и надломленного Крымова поехать вместе с ними.

Говорили, что объяснение Керенского с Крымовым было бурное и что даже Крымов ударил Керенского по физиономии. Говорили, что после этого в Крымова стрелял, по одной версии, адъютант Керенского, по другой — Савинков. Раненый Крымов будто бы вынесен был в автомобиль и отвезен на Захарьевскую, 17, в так называемый политический кабинет Керенского.

Несколькими часами спустя, уже поздно вечером, к Марье Александровне Крымовой, жившей с дочерью и сыном на Лиговке в громадном доме Перцова, явился ротмистр Данильчук. Крымова знала Данильчука давно с не особенно светлых сторон, знала, что на войне Данильчук сам прострелил свою записную книжку, а после требовал боевой награ-

ды за пулю, "чудом пощадившую его жизнь".

Но Крымова почти обрадовалась Данильчуку. Офицер ее мужа! Без сомнения привез какие-нибудь новости. Крымова ничего еще не знала про бурную сцену в Зимнем.

— Где Александр Михайлович?

Данильчук сделал таинственное лицо и так же таинственно произнес:

— Александр Михайлович?.. Я как друг вашей семьи... Ну, словом, Марья Александровна, возьмите себя в руки...

— Ради бога, что с ним?!

— Видите... генерал пытался лишиться себя жизни...

— Он жив? Жив? Не мучьте меня!..

— Он был жив... то есть, я хочу сказать, что Александр Михайлович не сразу скончался. После этого... как бы вам сказать... несчастного инцидента он жил еще около четырех часов...

Обезумев от горя и бешенства, Крымова, готовая растерзать Данильчука, вцепилась в его шинель.

— Как же вы могли... как вы смели не известить меня тотчас же?

— Марья Александровна, ни слова больше! И стены имеют уши... Ничего не спрашивайте, ни о чем не допытывайтесь, ни с кем не говорите... Только при этих условиях вы можете рассчитывать на усиленную пенсию...

Крымова, не слушая, перебила Данильчука:

— Я хочу быть у его тела! Везите меня!

— Вот, ей-богу, какая вы! Я же вам сказал: надо сидеть смирно и тихо. Тогда все будет хорошо. А когда можно будет допустить вас к телу Александра Михайловича, я вас немедленно извещу. И затем еще имейте в виду: похороны без всяких демонстраций! Это желание Керенского. За гробом можете идти только вы с детьми. Больше никто! Если вы будете слушаться во всем, вы можете рассчитывать на пенсию. Могу вас утешить — узнав про самоубийство Александра Михайловича, Керенский сказал: "Он поступил как честный человек".

Допустили только через два дня в Николаевский госпиталь, где старший врач подвел ее к синему, одеревеневшему телу под грубой, с большим клеймом простыней. Врач показал

огнестрельную рану на широкой, богатырской груди покойного и, убедившись, что никого нет, объяснил шепотом:

— Странное самоубийство... очень странное. Обратите внимание — края раны не обожжены, у меня впечатление, что выстрел был произведен на расстоянии двух шагов... Да и само направление пули... Самому нельзя так застрелиться. Нельзя! Я вам говорю как жене покойного, но прошу вас, это между нами...

Столбняк охватил бедную женщину. Через несколько минут молчания она тихо спросила:

— А где же все бывшее на нем? У мужа всегда набиты карманы бумагами, записными книжками, документами...

— Ничего этого нет, — покачал головой врач, — тело доставили, как вы его сейчас видите.

На другой день ротмистр Данильчук исчез, и больше его никто никогда не встречал. В этот же самый день полковник Самарин выехал сибирским экспрессом, получив в командование Иркутский военный округ.

Тайна "политического кабинета" на Заха-

рьевской и теперь, спустя 12 лет, продолжает оставаться неразгаданной. Как именно погиб Крымов? Кто был при нем в часы его агонии? Куда девались бывшие при нем бумаги и в том числе телеграмма Керенского, вызывавшая в Петроград третий военный корпус, — все это до сих пор темно, туманно и полно одних лишь догадок...

ВО ВЛАСТИ ГОРИЛЛ

Лара изо дня в день озарялась надеждой.

Что-то должно совершиться, должно! Нет сил больше ни терпеть, ни ждать...

Солдаты и чернь громили винные склады. Нагруженные бутылками, зловещими силуэтами, какими-то двуногими шакалами двигались посреди улицы с пьяным смехом и пьяной бранью. О чугунные тумбы панелей разбивались горлышки бутылок, и громили, напившись до бесчувствия, тут же падали за мертво.

А Таврический сад шумел своими деревьями, гулял в его гуще ночной ветер, и никогда эти завывания не чудились Ларе такими безотрадно тоскливыми.

Вечерами выйти или выехать было далеко

не безопасно. Грабили с наступлением сумерек. Царила анархия. Смольный ее поощрял, а Временное правительство не могло, да и не смело ее обуздать, боясь "народного гнева".

И когда весь город насыщен был до изнеможения одним и тем же, одной и той же гипнотизирующей мыслью — они уже близко, они идут, идут! — к Ларе ворвалась банда матросов во главе с Каракозовым.

Она узнала его тотчас же, узнала, хотя он так теперь был непохож на того смешного, трусливого самозванца, которого она из жалости посадила за свой стол в киевском "Континентале".

Упоенный своей властью, он был груб и нагл, для пущей важности задирали еще выше свой нос-картофелину, и еще асимметричней казалось его лицо, перекошенное торжествующей злобой.

И здоровенные, сильные матросы, и неказистый Каракозов одинаково липкими, бесстыжими глазами смотрели на эту женщину, еще недавно такую недоступную, а теперь бывшую всецело в их власти.

— Ну што, ну што, гражданка, — сквозь зу-

бы допытывался Карикозов, — ждешь, гражданка, свой туземец? Жди, жди свой прохвост Тугарин, любовник свой!

Она молчала, бледная, беззащитная, думая об одном: только бы побороть животный страх свой, побороть мелкую дрожь лица, всего тела.

Карикозов продолжал сквозь зубы:

— Он придет, а только ты его не увидишь!

Нэт. Одевайся!

Она стояла, потеряв способность двигаться, мыслить. Что-то глухое, тупое, как столбняк, овладело ею.

Карикозов подошел вплотную, обдавая ее зловонным дыханием.

— Одевайся, слышь, тебе говорю!

И, подхлестывая свою пробудившуюся похоть, он выкрикнул исступленно: "Ты красивый блад!" И он еще несколько раз повторил это ужасное слово.

Матросы захохотали, как жеребцы, и теснее обступили Лару.

И, может быть, они все скопом бросились бы насиловать ее, вырывая друг у друга, но у Карикозова были свои особенные соображе-

ния.

— Товарищи, нельзя! Товарищи, у меня ордер! Нада закон соблюдать. Мы она арестуем. Обиск сделать нада! Нет ли оружий, докумен-ты? Это известии контрреволюционни дев-ка!..

Недолго продолжался обыск. Расхватали все драгоценности, схватили несколько зо-лотых монет, пачку царских сторублевок, вы-вели Лару на улицу и, втиснув в машину, по-мчались к набережной.

Вся эта банда на миноносце доставила Ла-ру в Кронштадт.

СУДЬБА ТРЕХ ВСАДНИКОВ

Кто-то подсказал Керенскому:

— Дикая дивизия — это единственная орга-низованная сила, все еще опасная для рево-люции, несмотря даже на неуспех под Петро-градом. Чем она будет дальше, тем будет луч-ше для завоеваний революции. Там, на Кавка-зе, полки разойдутся по своим племенам, и Дикая дивизия отойдет в историю.

"Умный" совет был подхвачен. "Туземцы" проехали эшелонами своими в северо-восточ-ном направлении все взбаламученное море

сумбурного российского лихолетья. Все это было им чуждо, как чужда была сама Россия. Ее горцы не знали и не понимали. Для них была Россия, покуда был царь, которому они присягали. И за царя они шли, и его именем творили чудеса лихости и отваги.

И когда не стало царя, рухнула власть, ко- ей они подчинялись.

Это было на руку большевикам, со дня на день готовым спихнуть жалкий комочек чего-то бесформенного, именовавшегося "Временным правительством". Большевики знали — если казаки и горцы объединятся, это будет грозная сила, и с ней не только не справиться, а она сама властно продиктует свои условия всей остальной осовеченной и оман- даченной России. И не успели ингуши вернуться к себе, на Кавказ, как тотчас же заки- пела распря.

В нее влился третий элемент — жители Курской молоканской слободки, все сплошь распропагандированные большевики. Один вид офицерских погон приводил их в остерве- нение, на ком бы эти погоны ни были — на "туземце" или на армейце.

Слобожане вместе с казаками образовали "блок" против горцев. Хотя и с казаками им было не совсем по дороге, но казаки были вооружены и организованы. Казаки были военные, бойцы, а слобожане только разбойники. Ингушам держаться в самом Владикавказе было и невыгодно, и ненужно, и опасно. Они хлынули в свое Базоркино и в Назрань, другой такой же ингушский городок, и рассыпались по аулам. Там они были у себя, и туда уже не дотянуться ни казакам, ни тем более слобожанам.

Так ингуши как боевая единица держались не только до большевистского переворота, но и значительно позже.

Своим офицерам не "туземцам" — а таких было подавляющее большинство — они объявили:

— Живите у нас. Мы вас никому не выдадим, а останетесь во Владикавказе, мы за ваши головы не отвечаем.

Но было известно, что с фронта пришел во Владикавказ какой-то полу развалившийся не то дивизион, не то полк терских казаков, занял Курскую слободку и оттуда грозился:

— Мы всех ингушей перережем!

В одно сентябрьское утро, когда, как розовый жемчуг, сияли на солнце подступившие к Владикавказу снежными вершинами своими горы, из Базоркина, этой ингушской столицы, выехал сначала последний адъютант полка с кем-то; вслед за ним корнет князь Грузинский, тоже с кем-то, а минут через пять за Грузинским поехали во Владикавказ трое — полковник Мерчуле со своим младшим братом и ротмистр-ингуш Марчиев. Зная, что казаки жестоко расправляются с ингушами, Марчиев имел на всякий случай подложное удостоверение на имя русского офицера с типичной русской фамилией.

Интересно отметить — судьба и только судьба, — что и Марчиев, и Грузинский со своими спутниками благополучно проехали во Владикавказ и так же благополучно вернулись, а братья Мерчуле, двинувшиеся почти вслед за ними, уже не вернулись.

Под самым городом, у окраины, они заметили казачий разъезд в десять всадников.

Марчиев, выросший здесь, воспитанный в недоверии к казакам, предложил:

— Господин полковник, повернем обратно, в Ба-зоркино. Не нравятся что-то мне эти казаки. Лошади у них дрянные, мы уйдем от них, как от стоячих.

— Полно, Марчиев... Они нам ничего не сделают.

Ингуш был другого мнения, но покинуть Мерчуле и спастись одному он считал бы вероломством и трусостью. Мальчишки и старухи всей Ингушетии засмеяли бы его.

Едут дальше. Сблизились.

— Кто вы такие? — спрашивают казаки.

— Русские офицеры.

— А на погонах что?

— Ингушский конный.

— Так, значит, вы ингуши?

— Нет, вовсе не значит, братцы, — спокойно молвил Мерчуле, — мы офицеры Ингушского полка, но вот мы с братом абхазцы, а этот офицер русский.

Казаки переглянулись. Тупые лица, пустые глаза, глаза людей, привыкших убивать на фронте и научившихся убивать в тылу.

— А веры какой? Мухометанской?

— Разве вы не знаете, что абхазцы право-

славные? — по-прежнему спокойно возразил Мерчуле.

Пустые казачьи глаза не верили. Тогда вскипел потерявший всякую осторожность Марчиев:

— Как вы смеете не верить господину полковнику! Он и его брат христиане, а если хотите знать, так это я, я ингуш, мусульманин. Можете меня арестовать, а их отпустите!

— Ладно, мы вас доставим к сотенному командиру, а уж он разберет... Айда! Вперед!

И, пропустив трех всадников и окружив их подковой, вместе с ними двинулись к слободке. Дорогой, перемигнувшись, казаки решили тут же покончить с ингушами. Несколько выстрелов в спину и в затылок. Так и пали братья Мерчуле и Марчиев.

Весть о подлой расправе всколыхнула все Базоркино. К сожалению, действовать по горячим следам не пришлось. Трагическая гибель братьев Мерчуле и Марчиева стала известна лишь на второй день. Опрошенные слобожане вспомнили, что один из сотенных командиров ехал на лошади убитого ингушского полковника. Слобожане же показали

огромную навозную кучу, где убийцы зарыли тела своих жертв. Трупы оказались раздетыми, обобранными...

ВЕРНЫЕ СВЯЩЕННЫМ АДДАТАМ

Во Владикавказе ингуши появлялись за получением жалованья. От имени Керенского им было обещано, что и по расформировании дивизии не прекратится выдача жалованья. Они приезжали в город в конном строю, несколькими сотнями, вооруженные до зубов и со своими офицерами-ингушами. У казначейства спешивались и выставляли пулеметы, чтобы казаки не могли атаковать врасплох.

В казначейство входили офицеры и всадники постарше с одним и тем же лаконичным приказом:

— Давай денги!

Комиссары, вначале Временного правительства, а потом, в первые месяцы, большевистские, пока еще власть не окрепла, отсчитывали по полковой ведомости целые горы пачек бумажных денег. Этими пачками набивались мешки, и с мешками поперек седел ингуши, оцетиниваясь винтовками, возвра-

щались к себе.

Следуя своим адатам, этим неписанным законам, как ингуши, так и все остальные горцы спасали у себя в аулах не только своих офицеров, но и вообще всех, кто искал у них защиты. Долг самого широкого гостеприимства — священный долг для каждого мусульманина не только по отношению к друзьям, но и к самым лютым врагам. Даже в том случае, если ищущий приюта и очага "кровник", то есть убивший кого-нибудь из той самой семьи, в которой он прячется от преследования. По адатам, каждый кровник должен быть убит кем-нибудь из потерпевшей от него семьи. И его убивают, за ним охотятся месяцами, годами. Но эти же самые охотники грудью своей будут защищать кровника, едва он переступит порог их сакли. Ему дадут ночлег, его накормят и даже проводят, охраняя, до соседнего аула. Но, если на другой день кровник попадет где-нибудь своим вчерашним благодетелям, они во имя тех же самых адатов убьют его с чистой совестью, с сознанием исполненного долга.

Так по отношению к смертельным врагам,

что же говорить о друзьях или, по крайней мере, о людях безразличных, не сделавших ни добра, ни зла?..

Неисчислимы примеры из кровавой российской междоусобицы, когда, повторяем, подолгу, очень подолгу скрывали у себя кавказские горцы преследуемых большевиками русских офицеров.

В том же самом Базоркине, вначале большевизма, был такой случай.

Старый ингуш Алиев приютил у себя в доме жандармского полковника Мартынова, местопребыванием которого, вернее головой, весьма интересовались советские комиссары Владикавказа.

Наконец красные шакалы пронюхали, где и у кого скрывается полковник Мартынов. Из Владикавказа снаряжены были два грузовика чуть ли не с полуротой красноармейцев. С грохотом и шумом ворвались в Базоркино грузовики и остановились у дома Алиева.

Навстречу им вышел из ворот старый, седобородый Алиев с двумя сыновьями, Георгиевскими кавалерами. Все трое с винтовками.

— Вам что надо?

— У тебя прячется Мартынов, — последовал ответ с грузовиков.

— Не Мартынов, а полковник Мартынов и жандармский полковник, — поправил Алиев-отец своих непрошенных гостей. — Только я вам его не выдам.

Вид трех ингушей с направленными винтовками был столь внушителен, что красноармейцы не посмели атаковать дом и, потоптавшись, сознавая глупое и смешное положение свое, умчались во Владикавказ.

Почти одновременно или немного позже приблизительно то же самое, только в более уже крупном масштабе, разыгралось в одном из черкесских аулов.

Узнав, что в этом ауле находится великий князь Борис Владимирович, большой советский отряд с пулеметами и двумя орудиями занял все подступы к аулу и объявил ультиматум:

— Или Борис Романов будет немедленно выдан, или весь аул будет разгромлен.

Великий князь явился на совещание старейших под председательством муллы. Совет быстро и единодушно вынес постановление:

— Великого князя не только не выдавать, а, вооружившись, всем защищать его до последнего человека.

Это было объявлено великому князю, на что с его стороны последовало возражение:

— Уж лучше погибну я один, чем вы погибнете все.

Ответ ему держал восьмидесятилетний мулла, семь раз побывавший в Мекке, патриарх в белой чалме с зеленой каймой:

— Ваше императорское высочество, если мы тебя выдадим и через это останемся живы, на головы наших детей, наших внуков падет несмываемое бесчестье. Мы будем хуже собак, и каждый горец будет иметь право плевать нам в лицо.

В несколько минут весь аул являл собой военный лагерь. Все черкесы вооружились поголовно, все — от стариков до подростков включительно. В штаб отряда красных послан был парламентар с ответом на предъявленный ультиматум.

— Великий князь наш гость, и мы его не выдадим. Попробуйте взять силой...

Долго совещались между собой начальни-

ки отряда. Они знали фанатизм горцев, знали, что если даже и победят красные, то ценой больших потерь, особенно когда втянутся в самый аул, где каждую саклю придется штурмовать, как маленькую крепость. Знали еще, что в этом ауле имеется около шестидесяти всадников Черкесского полка, прошедших опыт Великой войны. Каждый такой всадник стоит десяти красноармейцев. При таких условиях бой был бы рискованной авантюрой.

Сняв осаду, советская орда ушла...

То же самое или приблизительно то же самое "имело место", как пишут в газетах, и в Кабарде, и в Чечне, и в Дагестане — повсюду, где свято соблюдались адаты кавказских горцев.

В то время большевики воевали с терскими казаками, сжигая богатые станицы их и вырезая мирное население. Часть терцев сражалась с красными, часть держалась нейтрально, часть, не имея оружия, не могла примкнуть к борьбе. А советские полчища все напирали и напирали. Несколько тысяч казаков вместе с женами и детьми были при-

тиснуты к Тереку, за которым начинались уже земли чеченцев. Еще день-другой, подойдут красные и уничтожат весь казачий табор, отобрав скот, повозки, лошадей и молодых казачек на потеху своим комиссарам... Единственное спасение, если чеченцы пустят беглецов к себе. Тогда общими силами легче отбиться, да и переправа через Терек под огнем противника была бы для большевиков совсем нелегким делом. Казаки послали к чеченцам ходоков умолять о помощи и содействии.

Чеченские старшины воспротивились.

— Ведь мы-то никого не просим о помощи, отчего же мы должны помогать терцам, от которых мы никогда ничего, кроме худого, не видели? И из-за них мы будем воевать с большевиками?

Тогда выступил бывший адъютант Чеченского полка ротмистр Тапа-Чермоев. Он пользовался громадным влиянием среди чеченцев и сам по себе, и как сын известного и уважаемого генерала-чеченца.

Он же, Тапа-Чермоев, уже успел стать во главе союза горских народов Северного Кавказа. Целью этого союза было отделение гор-

цев от большевистской России, дабы таким образом спасти от советизации свою самобытность, свою культуру, свои тысячелетние традиции.

Чермоев обратился к вождям, колебавшимся — пустить или не пустить к себе терцев:

— Пусть казаки были нашими врагами, пусть! Но разве чеченцы отказывали когда-нибудь в гостеприимстве самым неприимимым врагам своим? Наоборот, мы должны и пустить, и обласкать, и защитить казаков, раз они просят под нашу защиту. Неужели мы отдадим их на истребление подлым и кровожадным насильникам? Да это было бы величайшим торжеством для большевиков. Это показало бы им, что, во-первых, мы их боимся, а во-вторых, что под влиянием общего развала развалились и мы и растоптали все, чем до сих пор так по заслугам гордились. Нет, я не верю, не верю, чтобы чеченцы не протянули руки помощи терцам!

Слова Чермоева устыдили вождей, и ответом на его призыв было единодушное желание оказать приют терцам. А буде красные су-

нутся через Терек, — тряхнуть своей джигитской доблестью.

И мигом закипела работа. Наведено было несколько паромов, и в полдня казаки со своими семьями и своим скарбом переправлены были на чеченский берег и распределены по аулам, где получили и кров, и пищу, и заботливый уход.

А большевики уже подкатились к Тереку. Пехота начала переправляться на лодках и баржах, а конница пустилась вплавь.

Чермоев командовал обороной. Чеченцы расстреливали густившихся на реке красноармейцев. Течение Терека уносило их трупы. Численность большевиков была подавляющая, несмотря на губительный огонь чеченцев, нескольким ротам удалось достичь неприятельского берега и высадиться. Здесь чеченцы встретили их врукопашную, кололи кинжалами, рубили шашками. Разведчики дали знать, что в виде подкрепления подходят свежие части большевиков. Тогда Чермоев, не надеясь на собственные силы, решил чисто по-восточному ударить по воображению тех, кто с часу на час может высадиться. Он при-

казал обезглавить несколько сот большевистских тел и разложить их вдоль берега, а между ногами поставить отрубленные головы. И вместе с тем Чермоев оттянул на вторые позиции свой измученный и также понесший значительные потери отряд.

И когда новые подкрепления на баржах начали переплывать реку, Чермоев, вооружившись биноклем, стал наблюдать.

Вид красноармейских трупов с головами между ног так ошеломляюще подействовал на большевистское воинство, что оно, не высяживаясь, расстроенное и уstraшенное, повернуло свои суда обратно, только бы не видеть больше жуткого зрелища, полного леденящей угрозы. Обезглавленные трупы товарищей словно предупреждали:

— И с вами то же будет!

НЕДОБРЫЕ ВЕСТИ

Глубокая разведка Тугарина, разведка включительно до Смольного, получила широкую огласку, когда после ликвидации корниловского мятежа члены Совета рабочих депутатов вернулись назад с Финляндского вокзала и с границы, обменяв фальшивые паспор-

та на действительные.

И стало известно еще, что Тугарин вместе со своим маленьким отрядом переночевал в кавалергардских казармах на Шпалерной и, не дождавшись своей бригады, утром через всю столицу вернулся к Гатчине так же свободно и беспрепятственно, как и въехал в Петроград.

Совет, успевший опомниться и недавнюю трусость свою заменить прежней наглостью, рвал и метал:

— Как он смел? Это вызов всему пролетариату! Немедленно арестовать и под конвоем доставить в Смольный!

Но арестовать Тугарина было не так легко.

Ингушский полк, хотя уже и не опасный "завоеваниям революции", готовый с часу на час двинуться к себе на Кавказ, все же являл собою реальную силу, стойкую и вооруженную. Депутация членов Совета напрасно расточала свое митинговое красноречие перед старыми всадниками — юнкерами и прапорщиками милиции, лет тридцать назад получившими свои юнкерские нашивки и прапорщицьи погоны.

Они твердили одно:

— У туземцы нет такой закон выдавать свои офицер.

— Но почему вы сами решаете за весь полк? — допытывались делегаты с красными бантами на кожаных куртках.

— Потому что полк — это мы! Молодые всадники слушают нас, стариков.

Так и вернулись делегаты ни с чем. И эшелоны с "туземцами", задерживаясь в пути, медленно двинулись на Кавказ.

Тяжело было на душе у Тугарина. Мелькала мысль, перейдя на нелегальное положение, пробраться в Петроград на поиски исчезнувшей Лары. Это подсказывало ему чувство, а долг, долг подсказывал не оставлять ингушей, так благородно защитивших его от суда и расправы Смольного. Да и, кроме того, Тугарин, как и все офицеры, тешил себя мечтою о возобновлении борьбы с керенщиной и Советами уже оттуда, с Кавказа, где можно будет объединить всех горцев.

Юрочка утешал и подбадривал своего друга:

— Я понимаю тебя, но я верю, что с ней, с

Ларой, ничего дурного не будет. Подержат и выпустят. Даже с их товарищеской точки зрения Лара ни в чем не виновата. В сущности, против нее нет никаких улик. Схватили ее в момент паники, когда зря хватали очень многих. Я уверен, мы встретимся с нею и встреча эта не за горами.

Во Владикавказе Юрочка и Тугарин заняли комнату в гостинице "Россия". В этой гостинице жили почти все русские офицеры Ингушского полка.

Положение создалось неопределенное и тревожное. Бурлил котел ненависти между ингушами, казаками, осетинами и жителями трех слободок, почти сплошь большевизированных.

Ингуши добровольно ставили свой караул как возле гостиницы "Россия", так и внутри. Офицеры спали, не раздеваясь, имея под рукой оружие, готовые в любой момент не только к защите, но, если бы это понадобилось, и к нападению. В этой напряженной атмосфере отсчитывались дни за днями, недели за неделями.

Новости из России черпались из газет и

еще больше и полнее из уст офицеров, прибывавших с каждым днем во Владикавказ либо в штатском, либо в солдатских беспогонных шинелях.

Новости — одна другой безотраднее.

Керенский под давлением Смольного посадил "мятежного генерала Корнилова" в Быхов, этот маленький белорусский городок. В корниловскую тюрьму превращена старая иезуитская семинария. Участь Корнилова разделило еще несколько мятежных генералов. Над всей этой группой назначен суд, но с минуты на минуту ожидается самосуд. Смольный ведет остервенелую кампанию против контрреволюционных генералов. Солдатские орды пытались наводнить Быхов и растерзать узников иезуитской семинарии. Но Корнилова охраняют две сотни верных текинцев, и, кроме того, в Быхове стоит эскадрон польских улан вновь сформированного польского корпуса под командой генерала Довбор-Мусницкого. Штаб корпуса находится в Бобруйске. Оттуда генерал Довбор-Мусницкий прислал в Быхов одного из своих адъютантов, поручика Понсилиуса. На словах поручик Пон-

силиус сообщил приказание Довбора командующему эскадроном быховских гусар:

— Охранять генерала Корнилова от каких бы то ни было покушений!

Уланы блестяще выполнили приказ.

В Быхов из Бердичева прибыл эшелон с целым батальоном солдат-бунтарей. Они еще из вагонов кричали:

— Мы всю эту корниловскую банду разорвем на куски и бросим собакам на съеденье!

Комендант станции, польский офицер, позвонил в эскадрон. Не прошло и десяти минут, не успели еще выгрузиться солдаты, а уж эскадрон был тут как тут с наведенными на эшелон пулеметами.

— Или убирайтесь назад, к себе, или всех до одного выкосим!

Перетрусившая солдатня поспешила отвалить восвояси в Бердичев.

А дальше события замелькали быстрее, и пришло то, что не могло не прийти. Большевики с ничтожными силами свергли керенщину, а сам Керенский бежал, переодевшись бабой. Зверски убит был матросами генерал Духонин. В Быхов снаряжалась уже целая ка-

рательная экспедиция для расправы с корниловцами. Горсточка польских улан и текинцев уже не могла бы защитить быховских узников от большевистских полчищ, стягивающих мощную артиллерию.

Нельзя было упустить момента. Генералы Деникин, Лукомский, Романовский, Эрдели, Эльснер и полковник Пронин, переодевшись в штатское, бежали, рассыпавшись по всему уезду. Генерал Корнилов со своими текинцами в конном строю двинулся к югу через Могилевскую губернию, выдерживая бои с большевистскими отрядами и бронепоездами, что пытались окружить его, захватить...

Таковы были последние вести.

Великая смута и новый кровавый хаос удушливыми газами окутывали русскую землю.

ОСАЖДАЮЩИЕ И ОСАЖДЕННЫЕ

Обоз Ингушского полка, опоздавший со своим расформированием, помещался в доме купца Симонова в самом центре Владикавказа. Этот каменный дом, с обширным двором, хозяйственными постройками, глубокими подвалами, обнесен был высокой каменной

стеной с прорезом для массивных, окованных железом ворот и такой же массивной калитки.

Обоз с частью полкового добра, с несколькими десятками лошадей и несколькими повозками охранялся двадцатью ингушами. Во дворе стоял денежный ящик. Но хотя от денег не осталось даже воспоминаний, по слободкам и по казачьим станицам пущен был слух, что денежный ящик ингушей таит в себе несметные сокровища. Этот слух весьма укрепился и поддерживался Карикозовым. Эксфельдшер, очутившийся на Кавказе, скрывался в молоканской слободке. Он-то и разжигал аппетиты и грабительские инстинкты слободской и казачьей вольницы.

— Сам видел! Сам знаю! Денежный ящик! Много золота, много пачка сотенные царска бумажка! А бриллианта? Ва, сколько бриллианта!

— Откуда бриллианты? — недоумевали распаленные слушатели.

— Какой разговор? Откуда? Знаем, откуда! Мало эти свинья ингуши в Галичи польски помещик воровал?

Карикозов сам верил в несметные богатства денежного ящика.

Тугарин и Юрочка едва ли не каждый день навещали в обоз. Во-первых, там стояли их лошади, во-вторых, их тянуло к всадникам, к той горсточке, уцелевшей от распяленного полка, полка, в рядах коего они воевали три года...

И в этот холодный осенний вечер они были в усадьбе купца Симонова, в знакомой, ставшей близкой обстановке: с запахом лошадей, запахом седел, пучками прислоненных к стене пик, с гортанной речью "туземцев", с Георгиевскими крестами на черкесках ингушей — все это притягивающе напоминало недавние подвиги, недавнюю славу Дикой дивизии.

Из темной впадины конюшенных ворот доносилось пофыркивание лошадей вперемежку с похрустывающими звуками жевания. Среди двора, под звездным небом, поднимался на колесах легендарный денежный ящик — предмет стольких хищнических вожделений. Бесшумно скользили силуэты в черкесках, и как-то особенно уже по-ночному

звучала ингушская и русская речь.

Кроме ингушей, из русских было двое при обозе: вахмистр Алексеенко, в прошлом своем бывалый лихой пограничник, и вольноопределяющийся Волковский, маленький сорокалетний бородач, по натуре своей неугомонный бродяга, участник нескольких войн.

Хотя обоз не ожидал нападения, но, по смутному времени, ингуши были начеку и ворота всегда держали на запоре.

Тугарин и Юрочка уже собирались вернуться к себе в гостиницу, уже Тугарин, перекинувшись несколькими словами с бравым, подтянутым Алексеенко, двинулся к воротам, как один из ингушей преградил ему путь:

— Постой, постой немного, ваше высокородие...

И все другие ингуши как-то насторожились вдруг, словно учуяв что-то своим горским звериным инстинктом.

А так по внешности все было спокойно и тихо. Ничего подозрительного, ничего не доносилось извне.

Настроение ингушей передалось офицерам. А еще минута, и через высокую камен-

ную ограду начал проникать гул каких-то задушенных коротких слов и выкриков.

Опасность, неясная пока, смутная, но все же опасность. Ингуши бросились к винтовкам. Тутарин, Юрочка и Алексеенко потянулись к своим револьверам у пояса. Волковский, метнувшись к калитке, откинул засов и выглянул на улицу. И тотчас же щелкнуло несколько выстрелов, и послышалось падение тела. Алексеенко втащил Волковского за ноги во двор и запер калитку. Опасность придвинулась уже вплотную. Двое ингушей подбежало стене. Один цепким, хищным движением вскочил другому на плечи, осмотрелся кругом и тотчас же спрыгнул на землю и быстро заговорил по-ингушки.

Старый всадник на ломаном русском языке переводил:

— Казаки. Много казак! Пятьсот казак будет. С винтовкам! Один с буркам, другие с черкескам. На нас атакам идут!

До сих пор терцы нападали на одиноких ингушей, на маленькие группы их, а теперь, пользуясь тем, что обоз Ингушского полка отрезан от Базоркина и остальных аулов, реши-

ли расправиться с ним.

И действительно, если не пятьсот казаков, то, во всяком случае, не меньше трех сотен пешей, нестройной ватагой, выслав, однако, дозоры, медленно приближались к усадьбе купца Симонова. И потому ли, что казаки успели разложиться, потому ли, что не на воинское, доблестное дело шли они, а на темное и грабительское, против горсточки какой-нибудь по сравнению с собой, а только вид у них был — вид банды, и свои винтовки несли они нащупывающе, дулом вперед, как абреки.

Нападающие не знали в точности, сколько именно затаилось ингушей за каменными стенами. Догадки были разные, но все эти догадки преувеличивали отряд, охранявший обоз. Кто говорил 60, а кто называл и более внушительную цифру — 100. И еще не знали терцы, что у ингушей было немного патронов, по тридцати приблизительно на человека.

Попытка внезапно ворваться в симоновскую усадьбу отпала после того, как вахмистр Алексеенко втащил во двор Волковского и за-

пер калитку.

Из казачьей гущи понеслись недовольные выкрики:

— Ишь, черти! Закрыться успели! Придется измором брать!..

Карикозов, в лохматой бурке и тоже с винтовкой, благоразумно державшийся в самом тылу, подбадривал соседей своим хриплым, сдавленным голосом:

— Не бойсь, товарищ, не бойсь! Мы их все возьмем тепленьки! Только до ящик добрать-ся! Все будем богачи! А только вы мене на расправу дайте полковник Тугарин. Она там сидит, полковник Тугарин! Мы ему будем припомним ногайкам в морда!..

Казачи, подошедшие вплотную к дому Симонова, предлагали:

— Эй, вы, ингуши! Вяжите своих офицеров да сами выходите! Целы останетесь! Всех выпустим!

В ответ брошено было несколько ручных гранат. Оглушительные разрывы, бешеные крики, брань. Кое-кого перекалечило. Отхлынувшая толпа осыпала и дом, и стены градом пуль. Со звоном посыпались разбитые стекла

оконных рам.

Темпераментные горцы хотели ввязаться в поединок такими же залпами. Но Тугарин приказал беречь патроны и стрелять лишь наверняка, по видимой цели. И приказал он еще всем спуститься в подвал и увести с собой лошадей, чтобы не иметь лишних потерь от гранат, коими в свою очередь забрасывали нападающие симоновский двор.

Сам же Тугарин снаружи, вместе с Алексеенко и старым всадником, занял надежное прикрытие.

Наиболее предприимчивые терцы ворвались в соседние большие, двухэтажные дома и оттуда, из верхних окон, начали обстреливать и забрасывать гранатами опустевший двор...

Тугарин и бывшие с ним медленно и спокойно брали смельчаков на мушку и снимали их одного за другим...

А у осажденных была пока только одна потеря — Волковский, снесенный в подвал бездыханным.

Целую ночь продолжалась осада. А в это время весь Владикавказ жил своей нормаль-

ной жизнью, если вообще могло быть что-либо нормальное в эти сумасшедшие дни. Все, что было вне кварталов, прилегающих к си-моновскому дому, ходило, гуляло, под музыку ело и пило в ресторанах и кофейнях.

И никого не смущали доносившиеся разрывы гранат и выстрелы. Никто не интересовался этим, и лишь самые любопытные задавали вопрос:

— Что это? Где? Кто с кем?

В ответ равнодушное:

— Терцы с ингушами задрались у дома Си-монова.

— А! Да ну их. Нам-то что?..

И официанту заказывалась новая бутылка вина, а музыкантам — "На солнце оружием сверкая" или "Шарабан".

На утро и на день осажденные и осаждающие как-то затаились. Ингуши совсем молчали, казаки же лениво постреливали.

Тугарин, не смыкавший глаз, как-то почерневший за ночь, решительный, выяснил личность патронов. На каждого всадника осталось по одной обойме. Можно еще держаться. Но красноречивее этих обойм для Ту-

гарина было настроение ингушей, бодрое, приподнятое. Он пытливо всматривался в смуглые, как и у него, почерневшие лица — ни уныния, ни подавленности, ни отчаяния. А ведь положение всех этих людей почти безнадежное. На исходе патроны, на исходе вода, весь хлеб съеден.

Тугарин со старым ингушем и Алексеенко держал военный совет.

— Единственное спасение, — сказал Тугарин, — это дать знать в Базоркино. Ингуши сейчас же примчатся на выручку. Алексеенко, ты лихой старый пограничник. Можешь сделать вылазку, когда стемнеет?

— Так что, ваше высокоблагородь, тут в подвалах есть вольная одежда симоновских приказчиков — зипуны, тулупы. Переодеюсь — и айда! В Базоркино восемь верст. Живо смотаюсь. Сотни шашек довольно разогнать эту шатию.

Алексеенко, сняв с себя черкеску и оставшись в одном бешмете, надел сверху мещанский зипун и был готов к вылазке. Чтобы возможно лучше обеспечить ему вылазку, Тугарин приказал бросить в осаждающих

несколько ручных гранат и сделать из слуховых окон чердака пять-шесть выстрелов.

Терцы отхлынули, очистив на значительное расстояние улицу и унося с собою раненых. И вот тогда-то, воспользовавшись этим, выпущенный из симоновского дома вахмистр пополз в темноте. Но, увы, находившиеся в сотне-другой шагов осаждающие заметили его и открыли огонь. Раненный пулей в ногу Алексеенко все же переполз улицу и, уже очутившись под прикрытием домов, побежал вдоль пустынных кварталов; и только на самой окраине города он сошел к журчавшему Тереку, промыл и перевязал свою, хоть и неопасную, но стоившую немалой потери крови, глубокую царапину...

А в симоновском доме ничего этого не знали и были уверены, что Алексеенко убит и погиб и ждать спасения неоткуда. Если же оно и придет когда-нибудь, то будет уже поздно и все защитники маленькой импровизированной крепости успеют превратиться в собственные тени от голода, нечеловеческого переутомления, бессонницы, голода и жажды...

МАЛЕНЬКАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ В

БОЛЬШОМ СВЕТЕ

Прошло десять лет.

В чудовищном вихре метались и кружились события.

Давным-давно успели отгореть последние огни белого освободительного движения. Горсть добровольцев и казаков согнулась, но не сломалась в непосильной, титанической борьбе с неисчерпаемым пушечным мясом Третьего Интернационала.

Врангель вывез из Крыма остатки русской армии. А через несколько лет сам Врангель, все еще опасный большевикам, опасный даже в изгнании, был тонко и сложно отравлен ими.

Несчастливая Россия пережила за это время эпоху военного коммунизма, когда матери, голодные, обезумевшие, пожирали своих младенцев и когда в застенках ЧК расстреливались тысячи русских людей, тысячи, неумолимо выраставшие в миллионы.

И за все десять лет два, только два одиноких выстрела прозвучали в ответ на миллионы подлых убийств. Да, только два выстрела в эмиграции. Один в Женеве — по Воровско-

му; другой в Варшаве — по свирепому палачу царской семьи Войкову. На два миллиона русской эмиграции только и нашлось двое энтузиастов-мстителей — Конради и Коверда.

Первый был оправдан швейцарским судом, второй, юноша, даже мальчик, угодливо-трусливым польским судом приговорен был к пожизненной каторге.

А за это время, и даже не за это время, а в течение двух лет, армянская молодежь успела перебить в разных городах Европы весь турецкий кабинет министров, повинных в резне турецких армян.

Зато советские министры и дипломаты свободно разъезжали по всему свету, вручали верительные грамоты свои королям и президентам, участвовали в международных конференциях, и никто, никто не покушался на их драгоценную жизнь.

Русская эмиграция разбрелась по всему миру, но главное ядро ее осело во Франции, преимущественно в Париже. Одним удалось вывезти с собой много ценностей. Приумножая их, они стали богаты. Другим посчастливилось разбогатеть из ничего, но как те, так и

другие позабыли родину и, не давая ни гроша на русское дело, допытывались:

— Когда же мы вернемся? Когда же все это кончится?

А те, кто свое здоровье и молодость отдали сначала Великой, потом Гражданской войне, работали у заводских станков, разъезжали шоферами в такси, дежурили ночными сторожами и, помня о России, из скудных грошей своих уделяли на террористические организации внутри Совдепии, и на русский Красный Крест, и на русских инвалидов.

В Париже очутились наши старые знакомые, связанные и прямо, и косвенно с Дикой дивизией.

Всплыл, и довольно видной фигурой всплыл, барон Сальватичи. Годы сказались. Еще более помятым было лицо его с ястребиным профилем и голым черепом. Фигуру же сохранил бодрую, крепкую. Не мог разрушить ее кокаин, к которому он прибегал все чаще и чаще.

Жил Сальватичи в комфортабельной квартире возле парка Монсо, но значительную часть дня проводил в особняке на другом бе-

регу Сены.

Этот особняк, снятый им у одной герцогини, он отвел под лечебницу для желающих похудеть. Пациенток своих, полных аргентинок, египтянок, главным образом представительниц экзотических стран, Сальватичи принимал в белоснежном халате, имея ассистентками двух дам врачей и нескольких сестер милосердия.

В русских кругах говорили, что эту лечебницу Сальватичи создал для отвода глаз, дабы вместе с нею создать и свое собственное положение в столице мира. Лечебница — это официально, неофициально же доктор Сальватичи — видный агент Москвы и получает громадные суммы на предмет сыска и разложения эмиграции. Преследуя обе эти цели, он субсидирует некоторые ночные рестораны и одну кинофабрику.

Жил, и широко жил, бывший адъютант Чеченского полка Тапа-Чермоев. Под свои нефтеносные земли на Северном Кавказе он получил большие миллионы от английских трестов, ждавших, что после падения советской власти Чермоев будет вновь фактическим

собственником своих участков, фонтанами брызжущих в воздух "жидким золотом".

Одно время "отец чеченского народа" нанимал в Пасси "исторический" особняк, принадлежавший знаменитой танцовщице Дели-Габи, знаменитой тем, что она была подружкой Мануэля, короля португальского, из-за нее поплатившегося своим тронном. Это она, Дели-Габи, ввела в свое время в моду "танец медведя", прообраз много позже воцарившегося чарльстона. Миллионы не задерживались у Чермоева. На его счет жило около восьмидесяти родственников, и он раздавал деньги всем, кто к нему обращался за помощью.

Адъютант Черкесского полка Верига-Даревский занимал хорошее место в одном из банков, потом его перевели в Лондон, а затем он уехал в Варшаву.

Адъютант Ингушского полка Баранов, Георгиевский кавалер, в нескольких войнах получивший несколько ран и контузий, служил ночным сторожем в большом доме на Елисейских Полях, где помещается контора газеты "Пти Паризьен".

Принц Наполеон Мюрат, в Карпатах отмо-

розивший себе ноги, потерял их окончательно и передвигался в тележке. И Мюрата, и его тележку знала вся Ницца. Он жил переводом книг с русского на французский. Так утомонила судьба этого силача, наездника, бретера и доблестного боевого офицера.

Забросило в Париж еще целую фалангу офицеров славной Дикой дивизии: князя Бековича-Черкасского, двух князей Амилахвари — Алика и Гиви.

Насаждали цыганское пение на берегах Сены ротмистр Багрецов и поручик Миша Толстой, сын великого писателя земли русской.

А племянник этого писателя, Андрей Берс, служивший в Чеченском полку, держал ночной ресторан "Кунак". Весь Монмартр знал и рослую фигуру Берса, и его лицо Чингисхана, и его неизменную черкеску, и рыжую папаху. На фоне Монмартра описал его Жозеф Кесель в своих "Княжеских ночах".

Романист-балетоман Светлов, весь седой, но крепкий и бодрый, несмотря на жестокую контузию, уже несколько лет был администратором балетной школы знаменитой балерины императорских театров Трефиловой.

Вынырнул в Париже, много лет спустя после владикавказских событий и осады обоза ингушей в симоновском доме, экс-фельдшер Карикозов. Теперь на его визитных карточках стояло уже "доктор медицины".

То же самое асимметричное лицо с носом-картофелиною, та же подчеркнутая жестикуляция, та же самая хриплая речь с более чем выразительной мимикой. Но теперь этот самозванный доктор медицины одет был с иголочки, на его коротких пальцах сверкали крупные бриллианты, и такими же бриллиантами усеян был массивный портсигар. Теперь Карикозов жил в дорогом отеле, спекулировал драгоценностями, кутил в ресторанах и много тратил на женщин.

По словам Карикозова, он приехал из Персии, где был лейб-медиком его величества шаха Персидского. Шах осыпал его милостями, и Карикозов был при нем едва ли не первым человеком, но Персия ему надоела — захотелось повидать большой свет.

Этот большой свет встретил его маленькой неприятностью.

Однажды на русском благотворительном

балу, после нескольких бокалов шампанского, господин Карикозов пришел в игривое настроение и начал по-своему резвиться. Приставал к дамам, хватал их за ноги и многообещающе обмахивал свою возбужденную, вспотевшую физиономию веером из тысячефранковых билетов. Затем его внимание привлек оркестр, исполнявший модные танцы. Подойдя вплотную, Карикозов начал приставать к музыкантам:

— Скажи, пожалуйста, играть не умеете! Вот я вам покажу! — И он полез на эстраду.

Но не успел еще занести ногу, как вдруг, взмахнув руками, отпрянул назад и, неудержимо пронесшись несколько шагов, влип в группу танцующих пар. Он что-то дико орал, и его лицо украсилось громадным вздувшимся желваком.

Никто ничего не понимал, и все думали, что, пожалуй, это какое-нибудь забавное колленце подвыпившего субъекта. Его усадили на стул. Бессмысленно вращая глазами, сам не понимая, что произошло, он бормотал:

— Ва... ва... что смотришь, дурак? Ва... что смотришь?

Желвак выросстал, вспухал, закрывая глаз, а публика неудержимо хохотала над этим "аттракционом" вне программы.

Удар был нанесен с такой непостижимой и ловкой стремительностью — даже музыканты ничего не успели заметить.

Джаз-бандист, бледный, стискивая зубы, сдерживая свое волнение, продолжал звенеть медными тарелками и ударять обтянутой замшей болванкой о туго натянутую кожу барабана.

Этот джаз-бандист и был виновником забавного происшествия. Лишь только лейб-медик его величества шаха попытался взобраться на эстраду, Виктор Ревич, в прошлом кавалерийский офицер, а теперь джаз-бандист, тотчас же узнал Карикозова, хотя с первой и последней встречи их минуло уже около десяти лет. Воспоминания были так отвратительны, что Ревич, боксер и спортсмен, с молниеносной быстротой свел свои счета с подвыпившим нахалом.

...Это было в Константинополе, тотчас же после эвакуации Крыма войсками Врангеля. Английская разведка ревниво следила, чтобы

русские офицеры не продавали оружия эмиссарам Кемалю-паши. В этих целях агенты англичан широко занимались провокацией.

Ревич из Крыма вывез в двух чемоданах разобранный пулемет Максима и, когда уже нечего было есть, решил "загнать" пулемет. Карикозов, щеголявший по Константинополю в черкеске с двумя Георгиевскими крестами, подъехал к нему:

— Пулемет имеешь? Прадай пулемет! Хороши деньги получишь. Я знаю людей от Кемалю...

Ревич согласился. Карикозов предложил:

— Бунар-Хисар знаешь? Гора стоит, на горе башня. Привези пулемет завтра в три часа. Я под гора буду с верны человек... Он тысячи лир дадит. Привези пулемет!

Ревича взяло сомнение. Он захватил с собою друга.

— Я с чемоданами спрячусь на горе между деревьями, а ты спустись вниз и понаблюдай. Сообщишь мне. Если Карикозов только с рябым турком, тогда и я спущусь. А если нет, если будут посторонние еще, значит, ловушка.

Друг, сделав разведку, вернулся бледный,

ВЗВОЛНОВАННЫЙ:

— Уноси свою голову! Скорей! Скорей!

Когда они очутились вне досягаемости, друг пояснил:

— Карикозова не было, был только рябой турок, а поодаль машина с четырьмя английскими жандармами.

И тогда только понял Ревич, что ему грозило. Англичане избивали до полусмерти всех, уличенных в продаже кемалевцам револьвера или винтовки. А если это был пулемет, виновного, завязав в мешок с камнями, бросали ночью в Босфор...

ЛАРА

Лара после обыска в ее квартире отвезена была матросами на маленьком буксирном пароходе в Кронштадт. Ее посадили в военной тюрьме в одну из тех холодных, сырых, с бетонным полом камер, куда во "дни проклятого царизма" солдат и матросов сажали никак не более чем на 24 часа. А теперь, во дни демократических свобод, в каменных мешках долгими месяцами томились те, кого упрятывала в эти мешки разнузданная матросская вольница.

Лара узнала, что такое революционная тюрьма. Дважды в день вместо супа она получила какую-то зловонную бурду, четверть фунта хлеба, а вместо чая — наполненную кипятком бутылку из-под пива. Эта вода служила ей для питья и умывания. Матросы подсматривали в квадратное окошечко — "глазок", проделанный в металлической двери, — что делает Лара. Эти же матросы раз в день с хохотом выводили ее "на прогулку".

Тщетны были все попытки Лары добиться, почему и на каком основании безо всяких обвинений держат ее в сыром каземате.

Ответ был один и тот же:

— Мы моряки, мы здесь все! Никаких Временных правительств не признаем!

Лара исхудала и ослабела. И постепенно вместе с этим ею овладело тупое ко всему и ко вся безразличие...

Она сама ловила себя на этом, но ничего не могла поделать. Да, именно какое-то тупое безразличие. И в своей любви к Тугарину усомнилась, хотя головой, умом уверяла себя, что любит. Духовное уступало понемногу место внешнему, животному. Она почла бы за

невыразимое счастье как следует вымыться, сделать обычный туалет и есть, много есть, без конца, что-нибудь очень вкусное.

Совсем равнодушно отнеслась она к перевороту, когда тюремщики-матросы объявили ей:

— Наша взяла! Теперь наша советская власть!

В тюрьме воцарение большевиков сказалося в том, что матросы начали держать себя еще разнузданнее, а бурда вместо супа стала еще зловоннее. Соседние камеры наполнились арестованными офицерами. К ночи эти камеры пусты. Офицеров расстреливали. А на следующий день камеры наполнялись новыми узниками.

Так проходили месяцы.

Студент Канегиссер убил красного директора департамента полиции. Новые аресты, новые заложники, новые репрессии. Кронштадтская тюрьма наполнилась офицерами, священниками, генералами, купцами. В квадратный глазок Лара однажды увидела своих петербургских знакомых — генерала Княжевича и полковника Безака. А к утру и Княже-

вич, и Безак, и сотни всех остальных заключенных были расстреляны...

Приехал из Петрограда важный комиссар Гелер, упитанный наглец, с густой копной волос, с перхотью на пиджаке и с нероновским профилем. По крайней мере, он сам всех уверял, что у него нероновский профиль.

Гелер сделал карьеру своей жестокостью и окончательно выдвинулся тем, что в особняке великобританского посольства убил военно-морского агента капитана Кроми. Англичанин пал геройской смертью после того, как застрелил шесть красноармейцев.

Окруженный свитой из матросов и комиссарской мелкоты, Гелер обходил заключенных. Он спросил Лару:

— Вы за кем числитесь?

— Ни за кем. Я была арестована еще при Керенском.

— А... — протянул Гелер, — я разберу ваше дело.

Вечером он ее вытребовал к себе в низенькую тюремную канцелярию в одном из флигелей.

Через день Лара была у себя, у Таврическо-

го сада, и Гелер прислал ей большую корзину с вином, фруктами, холодным мясом, консервами. Для голодающей столицы это была роскошь неслыханная.

К ней часто приезжал Гелер со своими товарищами. Кутили, хохотали, пели, лилось шампанское. Нюхали кокаин. И Лара нюхала.

Так прошел год.

Комиссары посещали гражданку Алаеву, но уже без Гелера. Этот наглец, уличенный своими же в какой-то грандиозной спекуляции, был расстрелян, как до сих пор он сам расстреливал "классовых врагов".

Его заместитель предложил как-то Ларе:

— Товарищ Алаева, вы можете быть нам полезной в Европе. Вы знаете иностранные языки, и вообще вы дамочка хоть куда! Я вам устрою выгодную командировку.

У Лары все замерло внутри, а потом шибко-шибко забилося сердце. Только светская выдержка не выдала безумной радости, и, незаметно для комиссара овладев собою, она ответила спокойно и даже с каким-то снисходительным оттенком:

— Об этом можно подумать. Вы правы. Я

могу быть вам полезной именно там!

И вот она в Париже. У нее деньги, большие деньги в самой разнообразной валюте.

Тогда еще Франция не признавала советскую власть, и кремлевская шайка, не щадя затрат, посылала своих агентов в Париж.

Но Лара не оправдала надежд. Она не только не приносила пользы пославшим ее, а, наоборот, поносила большевиков в тех международных кругах, в которых за несколько лет успела сделаться своею.

Но политикой Лара не занималась. Все более и более овладевало ею безразличие, начавшееся еще в Петрограде.

Ее видели в обществе элегантных мужчин, видели всюду, где шумно, людно. И всегда Лара была со вкусом одета, низко подстрижена, с густо покрашенным ртом, с длинным мундштуком вечно дымящейся папиросы.

Русских она не то чтобы избегала, а не искала встреч с ними. Но все же случалось говорить со знакомыми. Они ей сказали, что Юрочка убит на юге России, убит в борьбе с большевиками. Юрочка... в свое время такой близкий, родной, такой друг, бескорыстный и

верный! Бедный Юрочка!

Иногда вспоминала Тугарина, думала о нем, но все сведения о Тугарине сводились к одному: и он, как и Юрочка, дрался с большевиками, командовал сводным "туземным" полком, был, как всегда, смел и отважен, и дерзок... Но врангелевская эвакуация не прибила его к константинопольским берегам. И вот уже много лет о нем ни слуху ни духу. Жив ли? Скрывается где-нибудь, или же тайну его гибели хранит какой-нибудь забрызганный кровью советский застенок?

И все реже и реже вспоминала она когда-то любимого человека.

Время, угарная жизнь, кокаин отдаляли и стирали его образ, и он бледнел и бледнел, превращаясь в подведенных глазах Лары в нечто совсем отвлеченное...

БЛИЗКИЕ — ДАЛЕКИЕ

Русские мирно завоевывали Париж на всех поприщах.

Русские мальчики и девочки первыми шли в гимназиях, колледжах и ремесленных школах. Русские певцы были первыми. Русские танцовщицы тоже.

Русский повар Корнилов, служивший двум императорам, взял первый приз на конкурсе всесветных кулинаров. В награду получил один из предметов тонкого ремесла своего, похожий на фельдмаршальский жезл. Да и в деле своем разве не был фельдмаршалом?

Небольшой ресторан его на скромной и тихой улице, на подступах к Монмартру, привлекал всех, кто любил и умел вкусно и с толком поесть.

Всегда было полно. Публика терпеливо ждала, пока освободится столик.

Особенный колорит, и колорит хорошего тона, вносила фигура самого шефа в белом колпаке, с живыми, ясными глазами под седыми пучками бровей.

Корнилов приветливо обходил своих гостей, вспоминая прошлое с теми, кто знал его по России на протяжении многих лет.

Иногда, как художник, под наитием вдохновения жадно хватаящийся за палитру и кисти, спускался Корнилов вниз, на кухню, чтобы самолично приготовить гостю-гурману одно из тех блюд своих, коими он так славился. Строгий к себе Корнилов был строг к сво-

им помощникам. Они у него часто менялись, но кто уживался долго, тот действительно мог выдержать самый требовательный экзамен.

В числе таких поваров был и полковник артиллерии Николай Владимирович, миниатюрный, с маленьким юношеским лицом и с громадными усами. Белый поварской колпак сообщал ему что-то умилительное и веселое.

Вот и сейчас сквозь приоткрытую дверь он наблюдал публику, и его громадные усы шевелились в детски-добродушной улыбке. Думал ли он пятнадцать лет тому назад, что герцог Сандро Лейхтенбергский, в штатском, такой же эмигрант, как и он, будет сидеть в нескольких шагах за столиком, а он, Николай Владимирович, командир батареи, будет печь кулебяку, варить борщ, жарить шашлыки в маленькой подвальной кухоньке?.. И видит он знакомый, примелькавшийся здесь затылок дамы. Ее прозвали здесь "дамою с длинным мундштуком". Сегодня с ней какой-то новый господин. Несмотря на дорогой костюм и бриллиантовый перстень, вид у него плебейский и неприятна его громкая, хриплая речь с

восточным акцентом. Он хлещет шампанское и ест с чудовищным аппетитом, особенно же приналег на действительно очень вкусный пломбир: уничтожив две порции, потребовал третью:

— Хорошо мороженной! Давай еще!

— Пломбир весь вышел, — ответил ему лакей.

— Как вишел? Почему вишел? Давай, говорят тебе!

Лакей, сдерживая бешенство, корректно ответил:

— Пломбира больше нет!

— Какой черт нет! Давай сюда хозяин! — уже орал лейб-медик шаха персидского на весь ресторан.

Корнилов был тут как тут. Глаза его под серыми пучками бровей с холодным презрением остановились на беспокойном и шумливом госте:

— Чем вы недовольны, сударь?

— Что за порядки? Морожени нет!

— Вам сказано, что пломбир вышел... И вообще, кому порядки наши не нравятся, тот может не ходить.

Это было так сказано, что нахал тотчас же присмирел.

— Ну, что такое, хозяин? Не сердись. Выпьем шампански?

— Нет, нет, увольте, я занят, — молвил, отходя, Корнилов.

А дама сидела, как автомат, ничего не видя и не замечая.

С герцогом Лейхтенбергским было двое. Один — жизнерадостный, улыбающийся, с умными глазами на румянном, широком лице — Тапа-Чермоев; другой — темный блондин с бородой.

Перед ними стоял кофейник — тонкий стеклянный шар, наполненный горячей густой жидкостью. Как желто-зеленый тигровый глаз, переливался в рюмочках маслянистый ароматный ликер.

Темный блондин с бородой продолжал свой рассказ:

— Большая часть ингушей уже пластом лежала от истощения и голода, уже не было никаких надежд на помощь извне, уже мы не сомневались, что Алексеенко убит, убит, переползая улицу в нескольких шагах от нас.

Уже близилась третья ночь нашей осады. Мы не отвечали на выстрелы. Винтовочные обоймы все вышли, а в револьверных барабанах осталось по два патрона. Один — для врагов, лицом к лицу, во время штурма, другой — для себя... Тапа, ты помнишь Волковского? При жизни он был такой маленький, невзрачный, а труп его раздуло, и он лежал громадный, какой-то гороподобный... Страшно было смотреть на него!

И вот, когда мы уже совсем отчаялись, внезапно пришло избавление. Мы услышали топот по крайней мере двух сотен, услышали нараставшие крики "Алла!" и выстрелы. Ингуши налетели конной атакой на терцев и, смяв их, часть порубили, часть прогнали. Вел их ротмистр Бек-Боров. Он, кажется, Тапа, родня тебе по жене? Он первым ворвался в гущу терцев и погиб, пронзенный пулями...

Собеседники внимали, затихшие. Улыбка давно сбежала с лица Чермоева. Это минувшее казалось таким трепещущим, ярким и свежим здесь, в мирной обстановке парижского ресторана.

Но как бы удивились все трое, узнав, что

через несколько столиков от них сидит спиной к ним эксфельдшер Дикой дивизии, зачинщик и подстрекатель всей этой кровавой авантюры.

Но если Карикозов сидел спиной к Тугарину, то лицо его дамы Тугарин видел в профиль, и этот профиль напоминал ему что-то знакомое. Но, будто дразня воображение и память, образ ускользал, ускользал, и только под конец какой-то прямо физический толчок в грудь подсказал Тугарину:

— Лара!

И он не мог сдержать волнения, и это выразилось чисто внешне. Безо всякого желания он выпил свой ликер, помешал ложечкой давно растаявший сахар остывшего кофе и откусил зубами кончик сигары...

Герцог и Чермоев, решив, что он весь еще во власти воспоминаний, молчали.

Через минуту он уже овладел собой. Прошлого нет. Оно умерло так же, как они умерли друг для друга. У нее своя жизнь, у него своя. Ей хорошо или она делает вид, что ей хорошо. Но не все ли равно? Их пути разные. Она останется здесь, с тем или иным мужчи-

ной, обедая, завтракая, ужиная. А он? Через день его не будет в Париже. Он вернется туда, где все время идет борьба за Россию. На одном из теплых морей он сядет на пароход с оружием и сотней таких же отчаянных голов, как и он сам. Их ждут, ждут, чтобы вместе с ними поднять восстание против красных насильников и убийц.

Бочка, насыщенная порохом, готова, надо лишь поднести зажженный фитиль...

Литературно-художественное издание
Выпускающий редактор *В.И. Кичин*

Художник *Ю.М. Юров*

Корректор *Б. С. Тучян*

Дизайн обложки *Д.В. Грушин*

Верстка *Н.В. Гришина*

ООО "Издательство "Вече"

Адрес фактического местонахождения:
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48,
корпус 1. Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213),
(499) 940-48-71.

Почтовый адрес: 129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес: 129110, г. Москва, пер.
Банный, дом 6, помещение 3, комната 1/1.

E-mail: veche@veche.ru <http://www.veche.ru>

Подписано в печать 28.06.2022. Формат
84x108^{1/32}. Гарнитура "KudrashovC". Печать оф-
сетная. Бумага газетная. Печ. л. И. Тираж
2000 экз. Заказ 0-2018.

Отпечатано в типографии филиала АО
"ТАТМЕДИА" "ПИК "Идел-Пресс".

420066, Россия, г. Казань, ул. Декабристов,
2.

E-mail: idelpress@mail.ru

Примечания

Ослах.

[^^^]

Дома.

[^^^]

Хаты.

[^^^]

Ружьём.

[^^^]

Пушки.

[^^^]

Мальчики.

[^^^]

Популярная в конце XIX века мужская прическа, названная в честь известного французского тенора Виктора Капуля.

[^^^]

Рождение ног.

[^^^]

Кожаные лапти.

[^^^]

10

Мадам, откройте дверь! (*фр.*)

[^^^]